



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Издание осуществлено в рамках
программы «Пушкин» при поддержке
Министерства Иностранных Дел Франции
и Посольства Франции в России

Programme *A Pouchkine*

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme
d'aide à la publication **Pouchkine** avec
le soutien du **Ministère des Affaires Etrangères**
français et de l'Ambassade de France en Russie

Bruno Latour

Nous n'avons jamais
été modernes

Essai d'anthropologie symétrique

EDITIONS LA DECOUVERTE
1, place Paul-Painlevé
Paris V^e
1991

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
ПОВОРОТ

БРУНО ЛАТУР
Нового Времени не было
эссе по симметричной антропологии

СПб 2006

Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии/
Пер. с фр. Д. Я. Калугина; Науч. ред. О.В. Хархордин. — СПб.: Изд-во Европ. ун-та в
С.-Петербурге, 2006. — 240 с. (Прагматический поворот; Вып. 1).

ISBN 5-94380-049-2

Книга одного из наиболее известных современных французских социологов Бруно Латура представляет собой манифест нового и быстро развивающегося направления науки, которое, наконец, объединяет физиков и лириков. Опираясь на последние достижения в социологии науки и техники, автор развивает новую теорию знания, где социальные науки не находятся в привилегированном положении по отношению к естественным (или наоборот), а люди и вещи вместе участвуют в создании мира, где мы живем.

© Европейский университет
в Санкт-Петербурге, 2006
© Editions La Découverte, Paris, 1997

ISBN 5-94380-049-2

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Перед вами — манифест, в двух смыслах этого слова. Во-первых, он являет нам что-то, делает его manifest и потому заявляет нам новое видение реальности. Во-вторых, в соответствии с латинской этимологией этого термина, он схвачен, сделан руками. При создании этого манифеста, обобщающего видение мира, сложившееся после его первых книг, Латур перенес в новый текст несколько основных выводов, пересобрал некоторые цитаты и ссылки, свел руками на столе и на экране компьютера куски нового текста воедино — и так появилась эта книга. Поэтому для того чтобы ее лучше понять, надо выяснить фон для этих операций — а именно те книги, с кусками которых играли руки Латура, готовившие этот манифест, и те практики, которые были задействованы при их написании. Поэтому я в основном сконцентрируюсь на анализе этих ранних текстов и буду отсылать к более поздним книгам, только когда они будут нужны для лучшего понимания этого манифеста о Новом Времени.¹

НАУКА УБЕЖДАТЬ

Наука — это любопытная система убеждения людей (*peculiar system of convincing*), и первоначальной задачей Латура было исследовать, как появилась эта причудливая система и в чем ее основные характеристики. Латур часто подчеркивает, что мощь науки — по сравнению, скажем, со снизившимся влиянием религии — следствие ее способности убеждать по-другому. Поэтому, например, заявленной задачей книги «Пастеризация Франции» было посмотреть, как все жители Европы постепенно поверили горстке пастеровцев^{2*}, утвер-

*SA180²

²*PF60

¹ Перевод термина *modernity* как «Новое Время», а *modern* — как «нововременной», можно обосновать по-разному. Главное, однако, в том, что он дался и научному редактору, и переводчику нелегко. Насколько удастся сохранить и утвердить это приравливание двух пар терминов, зависит от сети, в которой они уже циркулируют или будут это делать. О сетях — ниже.

² Латинские аббревиатуры на полях указывают номер страницы и название цитируемого текста Латура: LL — *Laboratory Life*, 2nd ed., 1986; SA — *Science in Action*, 1987; PF — *Pasteurization of France*, 1988; PH — *Pandora's Hope*, 1999; PN — *Politics of Nature*, 2004; RS — *Reassembling the Social*, 2005.

ждавших, что существуют некие малые существа, сильно влияющие на наши жизни, которых **пастеровцы** называли в соответствии с их размером, — микробы.

Убедить, по Латуру, — прежде всего значит: победить. Это — не произвольная игра слов. *Con-vincere* этимологически связано с *vici*. В русском языке есть похожие смысловые **связки**.³ Наука как система убеждения победно порождает веру. Но как? Латур не случайно начинает книгу о безусловных победах микробиологии с того, что сравнивает Пастера с Кутузовым из «Войны и мира». Каждый из них связал различные и разнородные силы, преследовавшие свои собственные цели по собственным планам, в одну коалицию, и им обоим приписали великие победы, принадлежащие всей коалиции*. Однако многие победы происходят именно так. Задача — связать, не дать разбежаться, и тогда противник не сможет нанести ощутимый **контрудар****. Да и сам Латур говорит, что делает то же самое. Он соединяет такие элементы в своем тексте, чтобы было трудно сделать утверждение более правдоподобное, чем то, которое делает он: это — стратегия предупреждения ударов **соперника*****. После такой победы не остается другого пути к истине, чем предлагаемый тобой. Убедить тогда означает, что все идут твоей дорогой, забывая, что есть другие **дороги******. И чем больше союзников, идущих с **тобой**, тем более убедительна твоя победа. Практика убеждения — это постепенно **укрепляющаяся** победа, в конце концов приводящая к **вере**.

Можно сказать и немного по-другому: убедить в науке — значит добиться того, чтобы твои утверждения казались наиболее вероятными, то есть таковыми, которые можно «принять» на веру, в которые можно эту веру обрести.

³ Например, древнерусское слово «беда» означало также и «нужда, **принуждение**» (Павел Черных, *Историко-этимологический словарь русского языка*, 2-е изд. Москва: Русский язык, 1994, том 2, стр. 279), а древнерусское «**бедить**» этимологически связано с греческим *peitho*, «уговариваю», греческим *reioitha* и латинским *fido*, «доверяю» (Макс Фасмер, *Этимологический словарь русского языка*, 2-е изд. Москва: Прогресс, 1986, том 1, стр. 142). Прямые связи убеждения-принуждения с *fide*, **верой**, здесь очевидны. Побеждая, **принуждаешь** к вере — то есть убеждаешь. Так, первый пример словоупотребления, который дает Срезневский (*Материалы для словаря древне-русского языка*, СПб., 1893–1912, том 1, стр. 214) на слово «бедить» в смысле «убеждать», идет из Толковой псалтыри XI века: «Беда веровати». Иными словами, первый и главный результат убеждения-победы — есть вера. Коннотации победной силы видны и в других примерах: фраза «**убеди** Иисус» в Остромировом Евангелии (Мф XIV:22) означает «Иисус повелел», а «**убедитися**» — «**быть убежденным, принужденным**» (Срезневский, *Материалы*, том 3, стр. 1120) **убедить** — значит пересилить, принудить, победить.

*PF3

**PF147

***PF148

****PF182

Конечно, чтобы другие в них поверили, надо их доказать, а сначала — просто показать. Здесь важно подчеркнуть две эти стороны процесса научного обретения веры. Во-первых, **доказать** — значит довести высказывание чего-либо до конца, так, что перед нами — уже не кажимость, а очевидность. Во-вторых, база для доказывания — первоначальное **простое** высказывание, делание чего-либо **видимым**.⁴ Если первый термин намекает на нарастающую степень очевидности, **постепенное** доведение чего-либо до статуса очевидной истины, то второй — высказывание чего-либо — говорит о простой очевидности, явленности очам. Остановимся на этих двух аспектах практик научного убеждения — **постепенной** нарастающей доказательности и простого **высказывания** для зрения — поподробнее.

Во-первых, для убедительности научного утверждения важно нарастание **реальности утверждаемого факта**. Согласно Латуру, **можно говорить о постепенно растущей** степени **выказанности** (и потому — доказанности) научного факта, о градациях возрастания его претензий на реальность. Чем больше людей в него верят, тем более он реален. Точнее, чем больше людей подтверждают для себя его достоверность, как это происходит, например, с моделью ДНК как двойной спирали, которую последовательно тестируют различные коллеги Уотсона и Крика, тем тверже эта модель заявляет о себе как научный факт*. Кроме того, прогрессирующее за-твердевание некоего предположения как элемента реальности — то есть, постепенное превращение его в научное **у-тверждение** — связано не только с научными **под-тверждениями** его достоверности, но и с убеждением людей вне науки. Например, после принятия во Франции законов о социальной гигиене в 1902 г. гигиенисты могли наконец прекратить то, чем они занимались до этого почти 40 лет: убеждали всех в достоверности существования микробов. Еще в 1893 г. им приходилось доказывать, что из-за угрозы распространения туберкулеза надо менять белье в отелях при въезде новых постояльцев. Теперь же оставалось только просветить тех, кто находился в самом низу социальной лестницы и просто не знал света истины: после 40 лет борьбы за убеждение всех микробы стали такой научной **истиной****.

*SA13

**PF139–140

⁴ Как замечает Латур, наука использует обе риторические стратегии софистов — **какаподеиктические** суждения (просто **по-казывать** состояние вещей, где вещи говорят сами за себя), так и **эпидеиктические**, где приходится добавлять слова к вещам, то есть **до-казывать**, основываясь на свидетельствах людей (PN262).

Итак, постепенно прогрессирующее убеждение создает и поддерживает **веру** в научный факт. Однако основано оно не на одних словах. Степень убедительности растет и тогда, когда практики преобразуются в соответствии с заявлениями теорий. Например, в **1864—1889** годах во Франции смертность от инфекций увеличивается, несмотря на все достижения пастеровцев. Ответ гигиенистов на подобную критику: это происходит из-за того, что не все люди моют руки, не во всех больницах капают обеззараживающее в глаза новорожденных младенцев и т. п. — один выживший микроб может погубить все! Движение гигиенистов пытается добиться повсеместного утверждения новых санитарных практик. Результат: пастеровские открытия «оказались убедительными (*convincing*)», так как гигиенисты верили в них и заставили всех провести их в **жизнь***.

Во-вторых, в процессе научного убеждения высказывание истины во многом **опирается на видимость**, очевидность происходящего. Лаборатория — это инструмент для того, чтобы сделать невидимых агентов **видимыми***, причем главный элемент здесь — записывающее устройство (*inscription device*), то есть «то, что превращает куски вещества в записанные **документы**»³, «любая установка, которая дает визуальное изображение в научном **тексте**»⁴. Записывающим устройством может быть как самописец, регистрирующий на движущейся ленте силу сокращения мышцы подопытной крысы, так и пузырьковая камера, регистрирующая движение микрочастиц, или педокомпаратор — квадратный неглубокий ящик с клеточками-секциями, куда последовательно укладываются образцы почв с разной глубины, выкопанные вдоль одной линии через определенный интервал (получающаяся цветовая гамма дает видение всего среза почвенных **слоев**⁵). Убеждать кого-либо в том, что вещи говорят сами за себя и сами по себе, надо именно перед такими устройствами: «Чтобы заставить другие силы говорить, надо лишь просто выложить их перед тем, с кем мы разговариваем. Мы должны заставить других поверить, что они расшифровывают то, что говорят сами силы, а не слушают то, что мы им **говорим**»⁶. Сила убеждения связана здесь с тем, что наблюдатель может сразу, одним взором охватить якобы всю вариацию феноменов, хотя он смотрит лишь на сведенные вместе отдельные следы.

То есть кроме прямой доступности для глаз, очевидно, увидеть важно еще и потому, что моментально схватывается глазом все разнообразие, и из-за простоты получаемой картины. Например, Пастер, пересадив микробы сибирской язвы в питательный бульон, сделал их заметными. В очищенной питательной среде, не встречая естественного сопротив-

ления своих обычных противников, те бурно размножались и становились видны как сгустки-колонии вещества. Но сделать их заметными и потом рассматривать в микроскоп было лишь полдела. Надо было также записать всю их вариацию в гомогенных терминах: посмотрите на чашки 3, 5 и 8, где размножаются микробы одной культуры, но ослабленные в разной степени, а также на чашки 7, 12 и 14, где находятся контрольные группы. Еще лучше: смотрите, какой график вариации у нас получается в целом*. Чашки с питательным бульоном в этом примере — записывающее устройство для производства графиков пастеровских текстов.

Из-за наличия многих записывающих устройств, которые гарантируют очевидность, а значит — и убедительность утверждаемого **учеными**, в лабораторной деятельности значительное время уходит на надписывание, записывание и переписывание. Важны как маркировка пробирок, клеток и экземпляров, так и записи результатов проб и экспериментов во всякого рода журналах и реестрах, а также переписи результатов и их перегруппировка и новое описание в обобщениях и статьях. Кажется, что ученые одержимы манией постоянного письма, то есть манией нанесения **литературообразных** следов и их перегруппировки, результатом которых — в конце концов — станет статья, убеждающая в реальности научного факта. Но если лабораторную деятельность можно остроумно определить как «организацию убеждения посредством литературных записей»², то основой ее все же является видимый след — штрих, надпись, оставляемые самой природой, а не литератором.

Концепцию надписи как следа Латур берет из философии Дагонье и Деррида³. Производство таких следов в науке — одно из центральных занятий. Например, чтобы записать влияние эндорфина на сокращение мускулов свинки, надо прийти в лабораторию, обезглавить свинку, вскрыть ее и найти подходящий кусок мышцы, отделить ненужные волокна, погрузить рабочий кусок в питательный раствор (чтобы мышца жила), присоединить к ней электроды от самописца и только тогда вколоть в мышцу эндорфин: после всех этих операций самописец оставит след на бумаге. Возможно, первоначальные классификации первобытных племен подразумевают поиск знания как исследования следов врага, причинившего боль или учинившего смерть: не отсюда ли происходят категории **причины и следствия**?⁵ Но современ-

*PF83

*PF54

*PF63

*LL51

*SA68

*PH49—53

*PF196

*LL88

*LL44

⁵ Эмиль Дюркгейм и Марсель Мосс, «О некоторых первобытных формах классификации», в кн.: Мосс, *Общество, обмен, личность*. Москва: Восточная литература, 1996.

ное научное исследование прежде всего направлено не на следование по уже оставленным следам, а на производство этих самых следов: внутренности крысы говорят теперь с помощью самописца*.

Ученые сводят вместе эти ставшие видимыми следы природы и представляют их в новых записях — следах второго уровня, которые упорядочивают и переносят следы природы^{2*}. Упорядочивают, так как кривые графиков или отрезки спектров задают порядок: одна точка не может быть сразу в двух местах^{3*}. Переносят, так как это базовое свойство следа: феномен перестает быть локальным, когда оставляет след, — и теперь реакции подопытной крысы можно посмотреть на расстоянии^{4*}. Перенесенные следы собираются и сводятся в одном месте — общей номенклатуре, картине или карте происходящего; картография — основа научного господства^{5*}. Научная теория — лишь средство транспортировки и увязки следов внутри этой общей карты или номенклатуры^{6*}. Безусловная претензия научной теории на связь с реальностью заключается в отслеживаемом™ ее ходов — то есть в прослеживаемости перемещений первоначальных следов и операций с ними. Однако это делает научную деятельность не более мистической, чем любой другой вид материальной деятельности: «Мы не мыслим. У нас нет идей... Скорее, все просто пишут; есть деятельность по работе с полученными записями, которую практикуют, разговаривая вместе с другими людьми, которые тоже пишут, записывают, говорят и живут в покое необычных местах; деятельность, которая убеждает или не убеждает с помощью записей»^{7*}.

Итак, научная деятельность прежде всего делает невидимое заметным, а потом делает ставшее видным прогрессирующе очевидным, так что в конце концов получается неоспоримый факт. Что же в научной деятельности особенно убеждает? Я уже упоминал некоторые из этих факторов, но вот они, сведенные вместе. Во-первых, контраст между размерами исследуемых феноменов и предлагаемых объяснений. Нобелевская премия 1976 г. по биологии была отчасти дана из-за следующего контраста, впечатлившего многих: 8 лет усилий по поиску вещества TRF и простота его найденной структуры (3 аминокислоты и амид); тонны гипоталамусов, выпрашиваемых для экспериментов директором лаборатории у мясобоен Тихоокеанского побережья США, и всего несколько микрограммов TRF, в конце концов выделенного из этих тонн^{8*}. Похожий контраст между максимальным и минимальным способствовал успеху Пастера: миллионы лет микробы убивали толпы людей, и всего за

*PF216

2*SA234

3*LL245

4*PF219

5*SA224

6*SA254

7*PF218

8*LL148

несколько лет трое ученых их победили!* Показательные эксперименты Пастера на ферме в Пуйи, цель которых была доказать, что вакцинированные коровы не умирают от сибирской язвы, планировались именно как такой театр максимально резких контрастов: отсутствие — присутствие микроба, жизнь — смерть, чистый — грязный^{2*}. Конечно, контраст важен не всегда сам по себе; убедительность идет из надежды господства — желания овладения многим с помощью малого. Так, гигиенисты стали энтузиастами пастеровского движения, когда он предложил объяснить всю необъятную вариацию скрупулезно собираемых ими данных по спонтанной заболеваемости через минимальное количество факторов: как казалось, контролируя немногие точки, становилось возможно управлять громадным множеством случаев, которые до сих пор были вне власти человека^{3*}.

Во-вторых, убедительность науки достигается за счет простоты суждений. В результате визуализации природных феноменов и записывания следов их деятельности с помощью визуализирующих устройств становится возможно достичь согласия с другими наблюдателями на основании простых суждений об ощущениях. Описание всплесков графиков самописца — это *simple perceptive judgment*, тут мало с чем можно не согласиться^{4*}. О них можно говорить с уверенностью, граничащей с верой, — ведь здесь надо лишь обсудить микро-события — сами эти записи^{5*}.⁶ Латур пишет после наблюдения за работой почвоведов с педокомпаратором, что все истины там производятся небольшой группой ученых с ручками в руках, которые могут наконец посмотреть одним взглядом на квадрат размером 2 x 2 метра, где собраны все образцы почв^{6*}.

В-третьих, убедительность проистекает из неравенства шансов убеждающих и тех, кто будет оспаривать заявления убеждающих. Феномен становится заметен из-за того, что отличается от фонового шума, который регистрирует измерительный прибор или другое записывающее устройство: именно это делает утверждение по поводу данного феномена *believable*, веро-ятым^{7*}. Задача убеждающих часто поэтому состоит в том, чтобы повысить издержки для тех, кто захотел бы сделать настолько же вероятные утверждения^{8*} и которым для этого потребуются другие более или менее достоверные следы, оставленные якобы тем же самым фе-

*PF74

2*PF86

3*PF26

4*LL58

5*PF224

6*PH53

7*LL259

8*LL241

⁶Точнее, уверенность джентльменов Бойля в достоверности того, что они видят, победила веру Гоббса в неизбежность дедуктивной логики — так началась наука Нового Времени: см. об этом текст Латура в данной книге.

номеном. Несоглашающиеся с предлагаемым утверждением должны после демонстрации зарегистрированных следов феномена либо сказать «да» — настолько непроблематична интерпретация этих следов, подобно чашкам Петри с культурами Пастера, — либо заставить искомым феноменом произвести сравнимый набор других следов, который к тому же легче прочесть и проинтерпретировать, чем уже предлагающийся набор*. А это — занятие, заведомо требующее МНОГО времени и денег.

В-четвертых, убедительность научного утверждения возрастает в зависимости от личности утверждающего. Ученому верят тем больше, чем больше ему или ей доверяли денег и оборудования, что подтверждается количеством вверенных данному ученому грантов (это качество называется *trustworthiness*); чем лучше его или ее репутация, что неоднократно проверялось на деле (*probity*); чем больше верят (*confidence*) ему другие ученые (это удостоверяется сносками и цитатами); и, наконец, чем больше *credibility*, способность ученого принять это доверие на себя^{2*}. Приведенные в книге Латура английские термины все несут коннотации веры и доверия, но только русский язык позволяет сказать это все с помощью однокоренных слов. Вера в утверждающего — результат того, что ему доверяли другие и вверяли ему ценности, что его слова и дела неоднократно проверялись, что в нем уверены другие и что за ним признается право на уверения. Пример, приводимый Латуром, — это доверие Уотсона к коллеге-химику, сидевшему с ним в одной комнате. Химик противоречил консенсусу в профессии, утверждая то, что подталкивало к модели структуры ДНК как двойной спирали. Однако Уотсон поверил ему, так как за 6 месяцев регулярных проверок сам убедился, что сосед не говорит ничего, в чем не был бы твердо уверен и чего твердо не знает. К тому же CV коллеги-соседа было блестящее^{3*}. Уотсон доверился ему, отдал свое предположение на суд коллег — и после череды блестящих подтверждений в тестах других коллег в смежных областях уверенность в том, что ДНК — это двойная спираль, стала крепнуть на глазах.

Пятый источник научной убедительности — риторика научных текстов. Как пишет Латур, отчасти повторяя здесь де Серто, вера — "не содержание, а модальность высказывания".⁷ Чем больше высказывание отсылает к условиям сво-

*PF83

2*LL194

3*SA12

⁷ Michel De Certeau, *The Practice Of Everyday Life*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1984, chapter 12.

его производства, тем слабее его претензии в том, что его надо автоматически принять на веру*. Например, вводя обороты типа «на основании серии наших наблюдений можно заключить, что...» вместо простого утверждения «*X* является результатом возгонки *A* под давлением *P*», автор ослабляет эффект порождения веры в душе читателя; с другой стороны, он страхует себя от разрушительной критики, если окажется, что другие тесты не подтвердили самое заявляемое утверждение. Риторика аргументации важна, но есть и другой способ усилить текст чисто за счет его конструирования. Заимствование авторитета у союзников усиливает самое слабое утверждение; самые сложные и кажущиеся сухими технические тексты — которые отсылают к большому количеству референций и потому замедляют чтение — наиболее социальны, так как опираются на авторитет целой толпы авторов всех цитируемых текстов^{2*}. Риторический прием по разрастанию сети, на которую опирается автор, делает его утверждение более убедительным: чем больше сеть, тем труднее противостоять суммарному авторитету такого количества людей.

Процесс поступательного — следует ли сказать, наступательного? — научного убеждения, опирающийся на все или несколько из пяти описанных факторов убедительности, заканчивается появлением нерефлексируемой повседневной веры, подобной той, которая заставляет нас отодвигаться в метро от натужно кашляющего рядом соседа. Ведь микробы — не часть верований, они — часть достоверной реальности. Однако пока феномену *X* не придан статус реальности, относительный статус претензий *X* на реальность помнят все. Почему же все так быстро забывают, как легко мог застопориться или вообще сломаться процесс постепенно наступившего убеждения (что некое *X* — есть реальность), то есть забывают, как прогрессировало подтверждение предположения в разнообразных испытаниях, когда предположение затвердевало все больше и постепенно приобретало характер истинного утверждения?

Дело в том, что есть еще одна разновидность научного убеждения, которое практикуют ученые. Латур считает, что вера в факт — это результат риторического убеждения людей в том, что их не убеждали^{3*}. Именно с этой верой он и хотел бы бороться: факт — результат удачного убеждения всех, и здесь нечего стыдиться и скрывать. Убеждать же всех в том, что не было постепенного прогресса убедительности научного предположения, а просто в один момент открыли то, что лежало под солнцем или в глубинах материи, — значит скрывать истину того, как работает наука.

*SA21

2*SA62

3*LL240

В борьбе за эту истину Латур использует все рецепты, которые он почерпнул из исследований практики прогрессирующей убедительности естественных наук. Именно за это его можно назвать «новым позитивистом».

НОВЫЙ ПОЗИТИВИЗМ

Как и позитивисты прошлого, Латур пытается в общественных науках повторить успехи естественных наук, только делает он это, не копируя то, что естественные науки рассказывают нам о своей практике (это — их рационализации и оправдания задним числом), а копируя то, что он увидел в лабораториях и в полевых экспедициях. По Латуру, между выдающимися и убеждающими практиками естественных и общественных наук нет разницы: «Не существует двух способов доказывать и убеждать»*. Например, в послесловии к своей первой книге Латур четко указывает те довольно примитивные «записывающие устройства», которыми он пользовался во время своих включенных наблюдений в биологической лаборатории в Сан-Диего; это были его дневник наблюдений и **графики**, составленные им на основе индекса цитирования статей сотрудников **лаборатории**²*. Возможно, столь примитивные устройства были простительны для первых экспериментов, но цель их — визуализация того, что делают ученые, — остается превалирующей для Латура и в более поздних трудах. Например, критерий удачности книги «Наука в действии» — дает ли она возможность постороннему наблюдателю увидеть, что наука делает на самом деле³*; задача книги «Политика природы» — «сделать видимыми опять те аппараты, которые дают возможность сказать что-либо о **природе**»⁴*.

Убедительность самого Латура, поэтому, основана на его следовании канонам убедительности ученых. Так, во-первых, он опирается на яркие контрасты между гигиенистами, быстро убежденными пастеровцами, и другими контрольными группами — например обычными врачами, долго сомневавшимися в Пастере, или военными медиками, все же поддержавшими Пастера. Он выбирает эти контрольные группы подобно тому, как Пастер в своих экспериментах опирался на четкие контрасты между контрольными группами животных. Но если Пастера интересовал микроб, чью патогенность или заразность он мог варьировать, то Латура интересует — он сам об этом пишет — **вариабельность conviction**, убеждений и убеждаемости **различных групп**⁵*. Во-вторых, сила утверждений Латура исходит из того, что он опирается на несколько простых понятий — сеть, испытание

*PF148

²*LL254—257

³*SA17

⁴*PN35

⁵*PF113

сил и т. п. (о которых мы еще будем говорить), через которые он объясняет все вариации в убедительности одних утверждений и неубедительности других. Например, он объясняет сравнительную силу ученых и слабость политиков тем, что первые делают утверждения о состоянии дел после того, как тщательно подготовили сеть элементов эксперимента и потом просто продлили — перенесли ее в публичное пространство. Они представляют свои утверждения на суд более широкой публики, но после того, как сделали миллионы мелких ошибочных решений в лаборатории, исправили ошибки и отрепетировали предсказуемый результат в рамках устоявшейся сети. Политик же обязан публично заявлять все решения о том, какую сеть связей он создает, на кого он опирается и с кем он выстраивает союзы, часто — до всякой проверки их на публике. Он не может сначала дома надежно отрепетировать создание значимых для него союзов. Поэтому его ошибки очевидны всем и сразу*. Как мы увидим, через простое понятие сети Латур экономно объясняет и очень большую вариацию явлений научной жизни.

В-третьих, Латур пытается удорожить для потенциальных соперников труд по производству правдоподобного утверждения, которое бы оспаривало его утверждения. Например, в своей книге о пастеровцах я сделал с ними то, что они сделали с микробами, пишет Латур: я тоже пытался найти союзников, заинтересовать их и указать на эмпирические данные, чтобы «убедить читателя до такой степени, что будет более сложно сделать утверждение настолько же вероятное, как и предлагаемое **здесь**»²*. В-четвертых, он пытается использовать веру читателя в проверенность и надежность говорящего — и тем самым повысить убедительность своего утверждения. Его репутацию удостоверяет во введении к первой книге (о биологической лаборатории) сам биолог Джонас Салк, а **сносочный** аппарат растет с каждой книгой, указывая тех, кто доверяет суждениям Латура и ведет свои исследования, опираясь на него или вместе с ним. Стратегия убеждения Латура не скрывается, она открыто заявлена в обращении к читателю «Науки в действии». Там, после обсуждения тезиса о том, что статус научного высказывания зависит, среди прочего, от *credibility* говорящего — насколько можно верить и доверять ему, — Латур говорит: но и сам этот тезис тоже «есть высказывание, в которое, как мне думается, ты поверишь: его судьба в твоих руках, как и судьба других **высказываний**»³*. Читателю предлагается поверить, исходя из того, что Латуру уже доверяли другие.

*PF225

²*PF147

³*SA29

В-пятых, тексты Латура выверены риторически, воспроизводя и часто превосходя риторическую силу естественнонаучных текстов. То есть, как и в текстах физиков и биологов, риторическая сила его утверждений растет за счет силы сети, на которую он якобы опирается. Как и сложные «технические» научные статьи, использующие громоздкий сносочный аппарат, Латур всегда цитирует громадное количество источников из разных областей естественно- и общественнонаучного знания. Перепроверить его сноски — под силу только энциклопедисту или человеку, которому специально заплатили **за то**, чтобы он сделал эту работу. Но иногда и чисто словесная риторика Латура достигает поразительных высот. Так, поставив вопрос книги — как несколько пастеровцев заставили всех себе поверить? — он пишет: «Первое методологическое правило, общее для истории и социологии науки, — это **убедить** нас самих, что это было не неизбежно... Можно было бы сказать — вернее, должно было бы сказать, — что эта горстка ученых была не более чем **горсткой**»*. Этот оборот повторяется несколько раз. Смена модальности верования при переходе от «можно было бы» к «должно было бы», то есть усиление уверенний в реальности заявляемого, есть прямой способ сделать латуровское утверждение более убедительным — и сделать один из шагов по пути к конечной цели: убедить себя и читателя, как он сам и заявляет в этой цитате. Пастеровцы убеждали читателя (что есть микробы), и убедили. Латур также убеждает читателя (что **пастеровцы** — виртуозы убеждения), и мобилизует все средства для этого. И с помощью чисто текстовых средств Латур иногда убеждает еще более убедительно, чем виртуозы естественнонаучного убеждения.

— **Задача** Латура — с помощью приемов и уловок убеждения **разбить** слепую веру в **Новое Время**, **то есть** в научное объяснение, в **сведение** всего к одной главной причине (**рынок, наука, природа** и т. п.), — ведь эта вера только ослабляет тех, кто мог бы в ином случае переделать **существующее****. Передельывать стоит, так как в отличие от пастеровцев, сражавшихся с патологией организмов, нам в конце XX—начале XXI века приходится сражаться с патологией научного разума: здесь, несмотря на сходные стратегии убеждения, дороги латурианцев и пастеровцев **расходятся*****.

Возможно, стоит переделывать и из-за того, что научные опыты все так же опираются на практики квазисудебной пытки. «Действительно, требуется слепая вера, чтобы не замечать испытания сил, которые идут в пыточных камерах науки»**. Многие в конце XX века писали: у природы **выпы-**

тывают истину, но последствия этих действий не просчитывают, хотя они часто осознаются потом как *unintended consequences*. Латур, писавший «Пастеризацию» в середине 80-х годов, прежде всего указывает на актуальный тогда вопрос о размещении крылатых ракет в Европе — как на признак патологии нововременного знания. Позже индикаторами ощутимых проблем становятся для него такие непредвиденные последствия прогресса науки и техники, как озоновая дыра или непросчитываемые последствия распространения геной инженерии. Латур недавно сформулировал цель размышлений о проблемах нововременного разума таким образом: надо перейти от уверенности, которая свойственна производству якобы просчитанных и потому не связанных с риском продуктов, к неуверенности, которая сопровождает еще не завершенное затвердевание научного факта. Например, к неуверенности, которой исполнены сейчас дебаты о том, вызывают ли **прионы** заболевание коровьего бешенства или влияют ли генетически модифицированные пищевые продукты на человеческий организм?*

Конечно, ослабление уверенности в Новом Времени может привести к становлению другой веры. Латур называет свою веру «ирредукционизмом», хотя он не навязывает ее всем. Даже простого ослабления веры в Новое Время хватит; далее каждый что-то сделает с этой ситуацией в индивидуальном порядке. Его собственный рассказ об эпизоде зимы 1972 г. представляет собой почти что нарратив конверсии, классический рассказ об обращении в новую веру. Латур в результате этого жизненного опыта отказался от обычного научного объяснения, сводящего одну вещь к другой. Я дал вещам возможность стоять от меня на расстоянии руки, пишет Латур, но неподручно, то есть не в ожидании объяснения или использования; стоять так, что вещь могла сбежать и сама установить дистанцию. И в первый раз в своей жизни «я увидел вещи нередуцированными и освобожденными»**. Его книги — записывающие устройства такого видения.

НАУКА В ДЕЙСТВИИ

Проведенные параллели между деятельностью естественных наук и латуровским предприятием показывают специфические сложности копирования убеждающей деятельности естествоиспытателей. Во-первых, латуровские описания растущей и трансформирующейся сети или столкновения сетей не так доступны очам, **очевидны**, как записи самописца в лаборатории. Во-вторых, можно сказать, что латуровское обра-

*PF61

*PN24

**PF210

**PF163

***PF149

***PF249

ние к читателю — политический, а не научный ход: и потому выстраиваемая сеть может провалиться, в отличие от той, которую строят ученые в лабораториях, вынося ее на публику, только хорошо выверив и отрететировав поведение ее элементов. Реакция же читателя на латуровский нарратив может быть непредсказуема, сродни реакции электората на заявления политика. В-третьих, оказалось, что главное в победе той или иной сети в деле затвердевания определенного предположения и превращения его в утверждение о фактах — это не попытка убедить аудиторию выбрать одну из конкурирующих теорий, а несколько другое. Дело в том, что ситуация, о которой чаще всего рассказывают научные учебники — столкновение теорий по интерпретации феномена **X** при прочих равных характеристиках сетей, в которых эти теории сформулированы, — есть лишь одна малая часть спектра возможных ситуаций в реальной жизни науки. На одном полюсе этого спектра идет жесткая борьба между сетями с разными характеристиками — убеждение здесь не играет роли, важна стойкость или протяженность сети. На другом полюсе война закончена и одна сеть победила: здесь нет вызова господствующей реальности. Получается, что чистая игра в слова, в убеждение — где-то посередине этого спектра возможных ситуаций*. Как это подытоживает «Наука в действии»: наука — не матч по боксу. Равная сила сетей делает такой матч между теориями возможным, но это бывает редко. Когда же силы сетей неравны, то можно выиграть с помощью других ресурсов, а не только с помощью статей или лабораторий**.

Оказывается, что из пяти стадий типичной научной деятельности **убеждение** — лишь одна. Другие не менее важны в **формировании научного представления** о реальности. Однако в своих первых трудах Латур сконцентрировал свое внимание — как и большинство трудов по социологии и антропологии науки до него — только на одной, третьей, стадии, детально описав, как в результате успешной деятельности ученых создается общая **уверенность** в наличии определенной причинно-следственной связи. Предыдущий раздел предисловия уже дал примерное описание логики действий этой стадии. Сначала надо создать легко читаемый след^{3*}. Для этого производится много операций по сортировке материалов и пробирок, подборке нужных или ярких образцов и отделения их в особую область (холодильник, комнату, клетку, подставку с пробирками, где отобраны образцы успешных реакций). Переставлять все эти пробирки и отделять успешные образы, перепроверяя успешность операций десятки раз, — дорогое занятие. Поэтому буду-

*PF183

**SA103—104

***LL245—247

щая предсказуемость результатов подобного типа перемешивания и перемещения — не колдовство, а следствие элементарной ловкости, хороших навыков и наличия денег*. Успех приходит, когда вы много раз переставили много малых элементов, успешно записали все эти микрособытия, перенесли записанные следы в другое место (комнату, класс, журнал) и прочли записи микрособытий — то есть перенесенные следы — вместе с другими коллегами или зрителями: уверенность согласия возникает за счет несложности интерпретации простых перцептивных ситуаций.

Когда вы уверились, что в ваших опытах есть действительно некая повторяющаяся регулярность, отличающаяся от базового шума приборов и не порожденная случайно за счет недомытых пробирок или неправильно сделанных записей, надо сравнить эту регулярность, видимую в повторяющихся следах, со следами уже известного феномена (**вещества, организма и т. п.**)^{2*}. Задача — показать вариацию эффектов между уже известным и искомым феноменом, а потом раскрыть внутреннюю структуру искомого. В случае биохимии, исследуемой в «Лабораторной жизни», первая подзадача — расщепить исследуемое вещество на фракции, вторая — очистить каждую из них. Третья подзадача — это анализ химического состава полученных фракций, четвертая — искусственное воспроизводство искомого вещества в соответствии с предполагаемой формулой и проверка его эффектов: насколько воспроизведенное вещество дает те же следы в экспериментальных условиях, что и его эмпирически зарегистрированный прообраз. Финальный этап всех этих операций — это приписывание агента: в результате переворота интерпретации эмпирически найденные первоначальные регулярности описываются как результат действия вещества определенного химического состава, которое только что было воспроизведено. То есть устойчивые регулярности следов интерпретируются как следствие действия определенной причины — вещи, которая якобы и была там все это время^{3*}.

Описанный детектив регистрации следов и поиска злоумышленника, а потом и приписывания ему стабильной идентичности придает науке многие ее захватывающие черты. Ясно, что любые из этапов или под-стадий этого процесса могут длиться годами: например, трудно, оказывается, не только выделить очищенные фракции, но и сделать анализ их состава или воспроизвести их. Однако вся эта сложная деятельность — часть еще более сложной совокупности, которая и есть деятельность науки, проанализированная полностью. Все, что мы пока рассматривали, — лишь третья

*PF223

**LL58

***LL177

стадия всего процесса, как показывает уже изложение Латура в книге о Пастере*. Например, до того как начать играть в лаборатории со следами неизвестного злоумышленника, пастеровцы должны были съездить на фермы, забрать и привезти надежные образцы заразной культуры к себе в лабораторию. Только потом они могли делать свои опыты с привезенной культурой, пытаясь выделить устойчивую причинно-следственную связь и демонстрируя публике результаты проверенных регулярностей. Так же даже построение серии экспериментальных ситуаций для выявления причинно-следственной связи и приписывание всей вариации следствий одной причине — бацилле сибирской язвы — не означало окончание научной деятельности.

Следующим обязательным этапом было продление сети из лаборатории в реальную жизнь. После сбора материала в поле и переделки его в лаборатории надо было снова вернуться в поле и провести сеть лабораторных элементов туда — то есть переделать поле по модели лаборатории. Так, на ферме в Пуйи-ле-Фор, где Пастер провел решающие публичные эксперименты по вакцинации коров против сибирской язвы, коровы были разбиты на контрольные группы и либо рассортированы в разные загонь, либо помечены в зависимости от того, были они вакцинированы или нет. Задача этой, четвертой стадии научной деятельности — не только воспроизвести результаты лабораторных экспериментов в реальной жизни, но и объяснить всю видимую вариацию явлений. Только на ферме надо объяснять, как микробы антракса передаются коровам. Например, так: через съеданные колючки, поражающие стенки желудка, а те, в свою очередь, доставляются на колючки почвенными червями, переносящими заразу с трупов умерших животных. Вынесение сети за стены лаборатории вместе с тотальным объяснением всей видимой реальности ведет к ощущению предсказуемости и потому господства над реальностью.

Эффект, достигаемый подобными операциями по продлению и растягиванию экспериментальной сети в пространстве, часто описывался как загадка *adequatio rei et intellectus*, непонятно как случающегося соответствия вещи и разума, ее познающего^{2*}. Особенно это непостижимо в рамках картезианской эпистемологии, разбившей вселенную на несводимые друг к другу две части — *res extensa* и *res cogitans*. Латур видит в этом соответствии, однако, не загадку или тайну, а следствие элементарного расширения сети. Законы природы воспроизводятся теперь и в Тимбукту, так как туда завезено лабораторное оборудование, проверяющее эти законы, — так же, как французский сыр про-

*PF63

2*PF226

изводится в Калифорнии, после того, как туда завезли сыроваренные методики и культуры из Франции. Элементы успеха расширения сети — следующие*. Во-первых, все просто повторяют одни и те же операции, но в разных местах. Во-вторых, так как сеть вынесена за пределы лаборатории, то есть ощущение, что происходит репрезентация реального мира. В-третьих, очевидная успешность происходящего связана с тем, что каждый может легко повторить достигаемые всеми эффекты с помощью новых установок, которые вывозятся из лаборатории и устанавливаются в реальном мире или создаются в нем при наладочных работах по продлению сети: это — машины.

Здесь важно отметить две основные задачи при построении первоначальной сети и ее последующем продлении: это *enrol* — поставить кого-либо или что-либо под свои знамена, и *control* — контролировать поведение построенных в сеть элементов^{2*}. Вербовка достигается за счет заинтересовывания потенциальных союзников по сети-коалиции, причем Латур приводит такие странные для нас примеры, как «заинтересовывание» Пастером микробов, когда он создал для них суперблагоприятные условия для роста в чистом питательном бульоне. Более конвенциональные примеры — хотя они показывают многие трудности создания сети не хуже, чем пример с заинтересовыванием микробов, — таковы.

Например, это попытка основателя геологии Чарльза Лайеля создать эту науку в 1820-е годы. Тогда в Англии в той сфере знания, которая позже станет геологией, господствовали естественнонаучная история и теология. Конечно, тысячи людей, путешествуя, собирают камни и привозят их обратно в Британию. Но этого мало. Получается порочный круг: чтобы заинтересовать государство, надо, разложив камни, убедить чиновников, что есть новые полезные факты. Но чтобы эти камни собрать, надо послать целую армию коллег их собирать. А как это сделаешь без денег государства? Конечно, можно опубликовать «Принципы геологии» — основной труд, принесший Лайелю славу, но если его делать бестселлером, он должен быть понятным, почти что беллетристичкой, а это есть принижение знания до уровня его популяризации, что не дает шансов выиграть соревнование с теологией или другими науками. Если же делать его четко научной книгой, то она будет написана техническим языком, который мало кого привлечет на сторону только еще предлагаемой новой науки. Кого и как заинтересовать — основной вопрос выведения науки из лаборатории или пыльного кабинета ученого в мир^{3*}. Пастеру было легче. Гигиенисты заинтересовались его изобретениями в один

*PF227

2*SA108

3*SA149

момент, так как пастеровская методика обещала сделать цель гигиенистов наконец достижимой путем минимизации их усилий, трансформации их деятельности прежде всего в усиленный контроль над микробами*. Врачи, традиционная практика которых ставилась под вопрос пастеровскими достижениями, недоумевали — как можно так верить Пастеру, если лекарств еще нет? Однако Пастер заинтересовал не только гигиенистов, но и растущую армию городских инженеров, которым должны были поручить реконструкцию канализации и другие меры по общему улучшению санитарной обстановки^{2*}.

Тем не менее заинтересовать других — это лишь полдела. Создав сеть, то есть заинтересовав составляющие ее элементы вступить в нее, надо поддерживать ее в устойчивом состоянии, чтобы сеть не распалась от минимального напряжения, чтобы ни одно слабое звено не предало общие интересы при малейшей угрозе, — то есть ее надо контролировать. Контроль достигается за счет того, что заинтересованные группы удерживаются вместе за счет скрепляющих коалицию новых жестких элементов типа неоспоримых фактов или надежных вещей или устойчивого равновесного противодействия сил внутри сети, — того, что Латур называет *machination*, махинацией или машинерией сил,⁸ или просто — машиной^{3*}.

Жесткие факты особенно нужны, когда хочешь убедить кого-либо в чем-то неочевидном. И поэтому факты, поддерживающие сети, тем жестче, чем больше элементов хочет связать строящий сеть, чем больше угол столкновения этой сети с другими сетями, чем больше людей он хочет убедить^{4*}. Надежные вещи также помогают удерживать сеть под контролем. Например, до Эдисона все экспериментировали со спиралями низкого накаливания, так как другие спирали быстро перегорали. Эдисон подсчитал, что спирали из меди, с которыми работало тогда большинство исследователей, экономически нецелесообразны, — из-за издержек на медь нельзя было выиграть конкуренцию у сетей газового освещения. Его решение установило и закрепило сеть, основанную на новом элементе, — это была лампочка высокого накаливания, заполненная инертным газом и потому долго не перегоравшая, а также существенно снижавшая издержки

⁸ По-русски слово «махинация» несет отрицательные коннотации, хотя также указывает на перемещения, перестановки, альянсы и комбинации. Поэтому, переводя термин *machination*, мы будем чаще говорить именно о комбинации сил.

*PF26

2*PF56

3*SA124

4*SA210

из-за сокращения расходов на медь*. Сходным образом Кодак смог создать сеть и убедить всех американцев, что им необходима фотокамера для запечатления памятных моментов жизни, оперевшись на свойство целлулоидной пленки держать нанесенное на нее серебро, а корпорация Белл^{2*} не стала бы национальным гигантом, если бы не был изобретен триод, позволивший донести телефонный сигнал с одного берега США до другого^{3*}.

Когда заинтересованные группы оказываются связанными новым надежным союзником — то есть начинают освещать улицы лампочкой Эдисона, звонить друг другу через океан, делать фотографии каждый уикэнд, — остается опасение: а не разбегутся ли они при очередной поломке или угрозе? Для того чтобы их закрепить, надо заставить силы действовать на силы: сделать так, чтобы «позаимствованные силы держали друг друга под контролем, чтобы ни одна из них не могла отколоться от группы»^{4*}. Эта комбинация сил, сдерживающих друг друга и заставляющая их работать предсказуемым образом, и называется — в своей технической версии — машиной, или «черным ящиком». Черный ящик появляется, когда множество элементов работают как один, и настолько предсказуемо, что нам необязательно знать принцип их сборки или сцепки.

Жесткий факт, надежная вещь, исправно работающая машина скрепляют созданную сеть. Дальнейшее расширение сети без утери контроля внутри сети становится возможным чаще всего в результате создания еще одной особой печи — центра калькуляции — когда в одно место сводятся следы-знаки первого уровня и создается общий след второго уровня. Так, например, Менделеев смог увидеть свою таблицу в виде рядов и колонок, только когда он разложил на одном столе описания элементов, то есть следы первого уровня^{5*}. После создания подобной таблицы контроль внутри сети осуществляется гораздо легче. Завершение такой контролирующей деятельности — задача метрологии: надо разметить внешний мир в соответствии с таблицами и другими центрами калькуляции — картами, схемами, номенклатурами, реестрами и т. п. — так, чтобы по нему могли предсказуемым образом циркулировать факты и машины. Метрология — это необходимое условие для выживания машин: надо разметить все пространство так, чтобы опытные образцы оставались в сетях квазилабораторий, вынесенных за границы лабораторий. Не зря США расходуют ежегодно 6 % ВВП на поддержание системы мер и весов, то есть на то, чтобы физические константы были константами^{6*}. Без размеченной территории сеть не продлить; метро-

*SA239

2*ATT

3*SA124–125

4*SA128

5*SA235

6*SA251

логия — основа расширения сетей; с помощью метрологии научная сборка и сцепка фактов и машин работает в самых дальних областях: реальность преобразована.

Теория, как и метрология, — это лишь способ контролировать действие на расстоянии. Теоретическая абстракция, в полном соответствии с латинской этимологией этого слова, — это процесс вытягивания одного из элементов n -го уровня, чтобы представить все множество элементов этого уровня на $(n+1)$ -м уровне*. Поэтому след $(n+1)$ -го уровня привязан ко всем следам предыдущего, из которого он и был извлечен, чтобы играть на следующем уровне роль представителя всех. Абстрактные формулы поэтому суперсоциальны: они связывают воедино супердлинны сети, хотя являются всего лишь материальными надписями. Люди, контролирующие центры, производящие эти формы форм, наиболее отдалены от мира повседневности, но они связывают воедино максимум сетей и потому влияют на реальность больше, чем те, кто полностью вписан только в повседневность^{2*}. В результате подобных простых материальных операций — во-первых, продления сетей по переносу следов на одном уровне; во-вторых, вытягивания некоторых следов на более высокий уровень; в-третьих, рекомбинации абстрагированных (вытянутых туда) следов для создания новых следов, которые становятся основой теории, — мы получаем следующий результат: когда рядом с тобой довольно урчит мотор, что может быть более жестким и ощутимым доказательством правильности теоретических законов физики?

В целом, если взять Пастера за модель, картина практических стадий научной деятельности выглядит так^{3*}. Первая стадия — это решение начать что-то новое или по-новому и соответственно трансляция чего-либо куда-либо: перенос старых навыков в новое поле, перевод старой проблемы в новые термины и т. п. Так, Пастер сначала занимался заболеваниями шелковичного червя, используя для этого свои лабораторные техники анализа ферментов. Когда он перешел к анализу заболеваемости коров сибирской язвой, он взял в свои новые исследования только те лабораторные техники, которые были значимы для микробов. Вторую стадию можно назвать стадией «челночной дипломатии» — собирая различные заразные и незаразные культуры, пастеровцы непрестанно ездят между фермами, пивоваренными и сыроваренными заводами, с одной стороны, и лабораторией — с другой. В обмен за согласие сотрудничать с ними дипломаты-пастеровцы обещают поделиться результатами. Третью стадию мы уже описали наиболее подробно: задачи этой стадии сводятся к тому, чтобы увидеть,

*SA241

2*SA245

3*PF76—78

очистить, описать и воспроизвести увиденное. Четвертая стадия — вынесение многократно проверенной сети устойчивых взаимодействий и элементов за пределы лаборатории, то есть продление сети в реальную жизнь. Впервые это делается в ситуациях, подобных ферме Пуйи-ле-Фор, или (для физики или химии) в опытно-конструкторских разработках. Пятая, последняя стадия — это переделка макрокосмоса, чтобы туда вошли элементы сети по детекции и трансформации микрокосмоса: каждый молокозавод, сыроварня или пивзавод должен иметь мини-лабораторию и оборудование по пастеризации; каждая больница — лабораторию для анализов пациентов, и т. п.

СИЛЫ И ИСПЫТАНИЯ СИЛ

Черный ящик сначала определялся Латуром очень обыденно — это устройство, которое стоит перед нами как предмет мебели: все операции, приведшие к его созданию, забыты и показания его кажутся непрерываемо истинными*. Позже это определение было расширено, чтобы включить в него и нетехнические черные ящики, такие как статья — машина по установлению и поддержанию кредитоспособности ученого^{2*}. Машина, подобная мотору или прибору, как уже упоминалось выше в цитате из «Науки в действии», есть лишь один из вариантов комбинации сил.

Есть два этапа становления этой комбинации. Во-первых, в сеть добавляется новый элемент, который служит ей несколько более верным образом, чем уже существующие, и тем самым заставляет другие элементы быть более верными тоже: «...Он создает градиент, который заставляет других союзников оформиться в какую-либо форму и сохранять ее, хотя бы на время»^{3*}. Если прибор заставляет природу оставить след, часто — в виде черты, то список черт, разрастающийся с добавлением приборов или теоретических объяснений зарегистрированного, дает нам набор свойств искомого X — его очертания. Добавление черт заставляет искомое стать более реальным, более очерченным. Поэтому мы ищем что-то более твердое, чтобы придать форму более мягкому: чтобы измерить уровень эндорфина в крови, нужна хорошая биопроба; чтобы описать распространение микроба убедительным образом, нужно опереться на более твердый элемент — уже познанные свойства языка коровы, и т. п.

Во-вторых, добавление нового элемента в сеть приводит к тому, что сеть замыкается сама на себя, она становится устойчивой комбинацией сил. Новая сила позволяет сбалан-

*LL150

2*PF101

3*PF199

сировать существующие силы так, что можно **долгосрочным** образом зафиксировать ряды других сил, которые будут работать предсказуемым образом — например так, как **зна-**менитая система сдержек и противовесов. Мы **иногда** называем такие комбинации сил «механизмами», пишет **Латур**, хотя это неудачный термин. Произнося его, мы часто **подра-**зумеваем, что все силы — механические, **хотя** это не так; что железки более важны, чем мягкие силы, хотя и это не так; и что механизмы сделаны только людьми, хотя и это надо поставить под вопрос. Вообще, «техника» — неудачный термин, так как слишком долго применялась для **обозначе-**ния только тех линий сил, которые завершаются в форме болтов и гаек*. Мотор, работающий под кожухом, — **толь-**ко одна из форм, которую может принять заговор сил.

*PF 199–200

Например, французская колония в Африке тоже **мо-**жет рассматриваться как устойчивая комбинация сил, как целая их машинерия. Действительно, как колонизаторы смогли захватить Мадагаскар, когда их карты не работали, лекарства были не лучше средств местных **шаманов**, **техни-**ка постоянно ломалась, а навязываемые населению законы были неприменимы к родо-племенной структуре? **Посколь-**ку колония была устойчивой комбинацией разнородных сил. Каждая сила действовала **по-своему**, не **смешиваясь** с другими, в своем мире: священники опирались на силу **бо-**жьего слова, администраторы — на силу **цивилизаторской** миссии, географы — на силу науки, коммерсанты — **на силу** денег. Солдаты повиновались приказам для усиления мощи своей Родины, а инженеры строили ради **прогресса**. Каж-дый считал свою цель главной, и все конкурировали, и час-то даже сталкивались с друг с другом. Но если бы они **со-**единили все средства своей мощи воедино, то удар по одному означал бы крушение всех. Если бы они приехали поодиночке, их бы раздавили. Однако, приехав **вместе**, они создали комбинацию сил, которой мало что **могло** противос-тоять, — машину, которая покорила остров без больших проблем**.

**PF202

Машину, или черный ящик, тем не менее не надо **рас-**сматривать как некую скрытую под оболочкой **интериори-**зацию сил, как некое устройство, «внутри» которого рабо-тают силы, приведшие к его созданию. Как пишет **Латур**, мы всегда не понимаем, почему сильные сильные: **ты** приписы-ваем всю силу сети последнему по времени элементу, **при-**соединившемуся или **присоединенному** к сети. Но только если мы игнорируем все остальные силы, к которым **присо-**единился в последний момент черный ящик, мы можем го-ворить о нем, как о чистой «технике», не зависящей ни от

чего. Чаше **всего** черный ящик — это лишь завершение сети, **сбалансировавшее** ее силы, но не ее полная интериориза-ция; он — ее последний элемент, который дает ей устойчи-вость и возможность **само-стоять***.

*PF200

Что же это за **силы**, которые затевают махинации или вступают в странные комбинации и конфигурации? Как и у Делеза, у которого, **он, по-видимому**, заимствовал это ос-новное понятие, «сила» у Натура не определяется и неопре-делима вне столкновения, вне испытания сил. Французский термин ***epreuve de force***, переведенный на английский как ***trial of strength***, несет коннотации ордалии, средневеково-го суда, когда столкновение сторон в судебном поединке решало, на чьей стороне Бог и потому — истина. Поэтому испытание это — прежде всего столкновение, хотя есть и другая сторона — проверка **истинности**, доказательство испытанием. Вторая, **философская** часть «Пастеризации Франции» открывается тезисом «Существуют только **испы-**тания сил (или **слабостей**)», поэтому сами силы — это то, что определяется и деформируется в данном и последующих **испытаниях****. Их можно еще назвать аристотелевскими эн-телехиями, **лейбницевскими** монадами или, в терминах се-миотики **Греймаса**, — актантами. Все, что о них можно ска-зать, это что их столкновение дает форму происходящему: «очертания (***shape***) — это передовая линия испытания сил». Например, последовательные испытания вещества в науч-ных опытах, когда в результате столкновений его заста-вляют **сопротивляться**, дает опытным путем нарастающий список характеристик этого вещества, то есть придает фор-му-очертание искомому **Х**: «Реально **то**, что сопротивляет-ся в **испытании**»***.

**PF158–159

***PF158

В описании **главного** свойства объектов науки — воз-ражать (***object***), противостоять силе, испытывающей их, — **Латур** опирается на концепцию ***Widerstandvisio***, базового феномена научного **опыта**, как об этом писал наиболее ин-тересный методолог науки XX века Людвик Флек.⁹ Этот не-мецкий термин **Флека** означает сигнал о сопротивлении, о

⁹Ludwik Fleck, *Genesis and Development of a Scientific Fact*. Chicago: University of Chicago Press, 1979. Фраза «*objectsubject*» — у Бруно Латура («Когда вещи дают сдачи», *Вестник МГУ*, серия «Философия», 2003, № 3). По-русски передать эту фразу, сохранив игру корней, почти невозможно. Наиболее близко можно сказать так: «Основное свойство **пред-мета** это **от-метать фантазии ученых**». Но разница русских приставок показывает, насколько **случайно** совпадение пары однокоренных терминов в английском языке: во французском эту фразу тоже нелегко выразить с помощью удачных однокоренных слов.

твердой опоре, на которую можно опереться во время исследования, подобно тому как рука альпиниста ищет скалу под слоями снега.¹⁰ Сначала новые объекты существуют лишь как списки устойчивых реакций сопротивления подобного типа: список умножается за счет все большего количества подтвержденных регулярностей поведения того, что пока является всего лишь то ли красным осадком на дне пробирки, то ли бурым сгустком на ее поверхности или просто продуктом скисания чего-то в ней. После все реакции из этого списка интерпретируются как следствия поведения только что «найденного», а на самом деле приписанного объекта. По крайней мере, с точки зрения простой прагматики научных операций, приписывание объекта, якобы их и вызывавшего с самого начала, — есть лишь последний шаг в развитии сети устойчивых тестов.

Однако сначала мы во время испытаний просто встречаем некий градиент сопротивления. Это не значит обязательно, что сопротивляется некая вещь. Градиент сопротивления — результат столкновения неких сил, который делает претензию каждой из них на реальность более значимой, но это не значит, что эта претензия будет реализована. До появления «вещи», «предмета», «вещества» все еще далеко, так как для этого надо выстроить сеть эквивалентностей или связок-ассоциаций между силами; а это тоже требует сил. Если взять радикально-номиналистический тезис — ничто не идентично ничему другому, все происходит один раз и в одном месте, — то становится ясно: «...если существуют

¹⁰ Соответственно ненаучными объектами являются такие, которые сопротивляются людям вне сетей науки и которых внутри этих сетей пока не просили говорить; или такие, что пытавшийся зарегистрировать их сопротивление (например, Бога или аспектов внутренней жизни отдельной личности) внутри научных сетей оказывался на очень слабой позиции с точки зрения научной проверки (PF230). Иными словами, необъекты — это либо невидные (или невизуализуемые) существа, то есть по их поводу не прийти к согласию на основании простого визуального наблюдения; либо они не реагируют в научных испытаниях как объекты, то есть не проявляют себя в ситуациях повторяющегося однотипного противостояния, на которое можно опираться в процессе затвердевания утверждений.

Монашеский опыт — хороший пример этого необъектного типа бытия. Поводом для ухода в монастырь у многих послужил опыт нисхождения на них благодати Господней, однако вызвать подобный опыт второй раз собственными усилиями невозможно (кроме виртуозов, кому это дано самим Богом, типа Серафима Саровского в описании Мотовилова). Отсюда все сомнения монашеского призвания — опыт явления Богаче всего единичен в течение жизни монаха, и хотя сила этого опыта (и сладкая надежда на хотя бы еще одно его повторение) переворачивает жизнь, этот опыт проигрывает в испытании на устойчивое предсказуемое сопротивление, которого требует наука.

эквивалентности, это потому, что они были собраны из мелких кусочков с помощью большого труда и пота, и потому, что их поддерживают силой». То есть выводы о двух элементах — что они «одно и то же» или «отличаются», — это результат усилия по проведению или поддержанию сравнения. Вообще, в делезовской философии Латура более мощная та сила, которая устанавливает механизмы измерения других, хочет стать мерой других и потому занимается актами приравнивания или различения других сил². (Правда, в отличие от концептуализации воли к власти у Ницше, замечает он, не все силы стремятся к этой роли: многие из них индифферентны, или слишком счастливы, или слишком горды, чтобы командовать другими.) «Можно сказать, что энтелихи, желающие стать сильнее, создают линии сил, они заставляют других следовать этой линии» (*they keep others in line*³). Другими словами, установив линии связки между другими силами — линии, которые помогают их сравнивать, уравнивать или отличать, — желающие быть сильнее выстраивают всех остальных в линию, как на линейке, и заставляют следовать общему вектору, как линии партии. Причем силой, связывающей и размеряющей другие, может здесь быть как социальный институт, так и микросхема, машина, театр или привычка, — заранее невозможно сказать, какая сила выиграет испытание и какой из них поэтому все станут потом приписывать суммарный эффект действий других элементов сети, состоящей из таким трудом выстроенных связей и эквивалентностей.

Истина в науке постепенно утверждается за счет этого пересиливания комбинаций одних сил другими. Когда Пастер привез микробы к себе в лабораторию, не удивительно, что он победил их, — он выиграл на своем поле. Микробы остались без своих естественных союзников, а сила ассоциации «пастеровцы—питательный бульон—нагревание до разных температур—пронумерованные пробирки и чашки, и т. п.» превзошла силу одинокой колонии микробов, хотя обычно бывает наоборот: микробы безнаказанно убивают массы людей⁴. Также поэтому — из-за меняющегося баланса сил — для науки так значимы якобы безобидные процедуры записей. Феномен, неподвластный человеку, когда он существует сам по себе, так сказать, на воле, — феномен, который даже иногда не вычленишь из окружающей среды, или трудно уловимый и замечаемый, — превращается в лаборатории в надпись, которую легко прочесть, да еще можно и поместить рядом с другими надписями, — усилив охват множества феноменов за счет этого совмещения. На одном листе сразу видно много. Человек может те-

*PF162

2*PF167

3*PF171

4*PF61

перь контролировать многих других, хотя до этого не мог схватить и одного из них*.

Эта онтология испытания сил как главного, что устанавливает реальность, может звучать странно для не читавших Делеза, но она хорошо схватывает определенную концепцию опыта, распространенную в повседневной деятельности ученых. В нововременной цивилизации именно научные испытания дают каким-либо предположениям нарастающую претензию на реальность; истинный опыт — результат не судебных пыток, а лабораторных попыток столкнуть силы, испытаний их на сопротивление друг другу. В результате испытаний-экспериментов мы получаем списки черт-характеристик тестируемого вещества. В начале этого процесса ученые вряд ли знают о нем больше, чем «красный осадок, выпадающий при нагревании жидкости ABC до 35 градусов». Спустя некоторое время, через несколько тестов-испытаний, это вещество уже характеризуется серией устойчиво повторяющихся реакций, так что его можно описать как вождя североамериканских индейцев — «Быстрые ноги», «Твердая рука» и т. п. Иногда эти временные названия попадают и в финальное название того, что приобрело характер проверенной в множественных испытаниях, а значит, достоверной реальности. Например, анаэробные бактерии — это те, которые размножаются в отсутствии воздуха*. Но поменяйте 10 % элементов театра доказательств, и вы поменяете то, что предлагается на звание причины наблюдаемых регулярностей: «очертания микроба есть лишь относительно стабильный фронт испытаний, которым он подвергается»^{3*}.

Если меняются пипетки, инкубаторы, чистота и частота испытаний, то микробы меняют свои черты — вернее, меняется тот список черт, который существовал до сих пор. Силы, сводящие эти элементы экспериментальной ситуации вместе, и есть те, что гарантируют наличие устойчивого фронта, общую форму. Конечно, новый элемент реальности *X* возникает только тогда, когда начинают уверять, что за всеми этими сведенными вместе чертами есть одна порождающая их всех причина, одна проявляющаяся по-разному сущность. В конце концов, словно следуя Ницше в «Генеалогии морали», деятель вчитывается «в» наблюдаемое действие, описывается как его причина. В отличие от Ницше, конечно, это вчитывание становится возможным, так как полученный искусственным образом *X* производит те же реакции, что и ранее регистрируемые. Но это совпадение — следствие продления существующих испытаний сил и сетей их элементов: за их пределами сказать что-то об *X* невоз-

*PF77

*SA87-88

*PF93

можно. Это и есть появление нового элемента реальности, признаваемого всеми, хотя незадолго до этого он существует — как «протеин» в начале 1920-х годов, до анализа его внутренней структуры, — как непонятное вещество, про которое мы знали одно: оно остается после дифференциации клеток на центрифуге.

Испытания сил не только создают образ, очертания, форму нового претендента на звание элемента реальности. Такие испытания сил идут внутри одной сети. Более сложные испытания сил происходят между сетями. Война между лабораториями — это часто война сетей: выигрывают те, кто сильнее, то есть собрали больше актантов вокруг себя*. Научная статья, таким образом, не парит возвышенно над столкновениями сил: она — часть механизма, или комбинации сил, устанавливающих репутацию ученых и лабораторий*. Но конец подобных столкновений — это превращение ученых из релятивистов («где вы взяли такие результаты? почему мы должны им доверять?») в жестких реалистов («такова природа»). Причина перехода — устойчивый результат испытания сил, когда с помощью одной финальной силы удалось выстроить другие в узнаваемый образ, чьи очертания принимаются теперь всеми: сила, необходимая, чтобы поставить под вопрос всю эту констелляцию сил, слишком велика — цена вопрошания стала безумно высока^{3*}.

Например, Фома неверующий, пытающийся заставить профессора объяснить, почему тот убежден, что эндорфин влияет на сокращения мышцы, получает следующий ответ: данный эндорфин, который я только что вколол в экспериментально-препарированную мышцу на ваших глазах, получен путем проверки экстракта гипоталамуса на хроматографе. К тому же только реакции мышцы на такой экстракт повторяют реакции мышцы на морфин. Опыт был сделан 32 раза: что вы еще хотите? Несоглашающийся должен не только иметь деньги, чтобы нарезать мышцы крыс для эксперимента соответствующим образом и поместить их в питательный раствор, но должен быть также уверен, что его эндорфин, на который приготовленная им мышца не реагирует, — чист. Если из-за этого он начнет оспаривать показания хроматографа, свидетельствующего об обратном, то он должен сражаться со всеми, кто создал этот стандартный и теперь индустриально производимый черный ящик, — и такая констелляция сил обрекает несоглашающегося на поражение^{4*}.

Но, как пишет Латур, испытания сил редко превращаются в подобную демонстрацию силы (он так сам себя вел

*SA91

*PF101

*SA100

*SA74

во время исследований в лаборатории в Сан-Диего, но безрассудно не соглашающиеся **редки!**). Чаще всего испытания сил являются в других формах. На одном полюсе — где линии сил уже выстроены и завершены работающими черными ящиками, все выглядит как вечный мир: испытывавшие мощь друг друга силы скрылись на заднем плане и выглядят на переднем, как квазиавтоматическое функционирование природных процессов. На другом полюсе, где силы только еще сталкиваются и не оформлены в стабилизированные фронты испытаний, царит война без ритуалов, правил и подготовки. Тем не менее большинство случаев научной деятельности — это столкновение оформленных в узнаваемые очертания сетей. Очень редко, когда силы сетей равны, среди этих случаев появляется ситуация, так знакомая по трактатам об эпистемологии: война только слов, война на убеждение — то, что первоначально так занимало Латура, — то есть убедительность науки*. Поэтому уже в «Пастеризации» Латур открыто интерпретирует свои цели не только как убеждение читателя, но и как сооружение более сильной сети. Он хочет сделать то же, что сделал Пастер, который переиначил битву сил в биологии, поставив под свои знамена нетренированные, но очень важные войска: баночки с агаром, сливы и отжимы, армию гигиенистов и полчища цыплят^{2*}. Задача Латура — поменять баланс сил между естествоведами и обществоиспытателями: первые пока лучше экипированы в утверждении картины мира как набора элементов, извечно лежавших и тихо ждавших, пока их откроют, чем вторые — в постановке этой картины под вопрос. Но рекомбинация сил в сети Латура может отнять это нынешнее превосходство у физиков и химиков, и тогда при очередном испытании сил двух сетей баланс сил изменится^{3*}.

Почему вся эта картина мира, основанного на постоянном испытании и столкновении сил, кажется такой неочевидной и странной, если именно в нем повседневно обитают ученые? Дело в том, что для описания онтологии испытаний сил, пишет Латур, нужен особый язык. Здесь не подойдут ни антропология, ни социология, ни история, из-за того что среди сил есть и нечеловеки, которым не отводится никакой активной роли в этих науках^{4*}. Конечно, возможно поэтическое описание — но это про те силы, которые не хотят быть сильнее других по какой-либо причине. Философский язык схватывает более знакомую ситуацию: силы, имеющие волю к мощи^{5*}. Поэтому наша следующая задача — более подробно посмотреть, как, по Латуру, формируются сети из чело-
веков и нечеловеков в результате испытания сил.

*PF183

2*PF147

3*LL282

4*PF149

5*PF167

СЕТИ И РОСТ СЕТЕЙ

В «Лабораторной жизни» сеть определялась почти по-структуралист-

ски — как «набор позиций, внутри которого объект типа TRF имеет значение»*. Имелось в виду, что претензия вещества TRF на то, чтобы считаться фактом, имеет относительную силу в зависимости от того, в сети каких операций мы его рассматриваем. В лаборатории, где работал Латур, TRF имел свойства героя драмы и очевидного нового кандидата на звание элемента реальности; за воротами же лаборатории он сразу превращался в белый порошок с неопределимыми в повседневной жизни свойствами, но зачем-то получаемый в результате беготни десятков людей в белых халатах, после обработки в пробирках и центрифугах тонн гипоталамусов. «Пастеризация» предложила термин «ассоциация» как более удачный для описания процедур связки операций, в рамках которых объект, подобный TRF, мог бы иметь смысл. Про эти ассоциации разнородных элементов «...нельзя было сказать... являются ли они человеческими или природными, сделаны из микробов или прибавочной стоимости, но только можно сказать, являются ли они сильными или слабыми»^{2*}. В другом месте, описывая характер сборки сети, Латур подчеркивает ту же мысль: не надо спрашивать, какие элементы сети социальные, а какие — природные или технические. Для успеха сети более важно, какие звенья сети выдержат столкновение в испытании сил: умрут ли лабораторные крысы или уйдет спонсор экспериментов — последствия для сети одинаковы^{3*}. Поэтому затвердевание сети, превращающее предположение в научное утверждение, — это укрепление сети приравниванием одного к другому и связок между этими элементами, включая связки между приборами и спонсорами. Спонсорам говорят: вы хотите этого? Тогда смотрите, как можно реализовать эти интересы с помощью наших приборов. «Сделать научное открытие — то же самое, что стать господином над сетью приравниваний (*commanding a network of equivalencies*). В этом отношении Пастер открыл свои микробы так же, как Эдисон открыл свое электричество... Другими словами, сначала микробы и электричество мало что собой представляли. Только после того как они добавили себе достаточно атрибутов, чтобы заинтересовать всех и сделать лаборатории совершенно необходимыми для существования микробов и электричества, только после того как они сражались, как черти, чтобы выиграть в испытаниях по приписыванию каузальности, оказалось, что Пастер и Эдисон открыли что-то»^{4*}. Сеть — это «многоярусный

*LL150

2*PF40

3*SA176

4*PF261–262

набор слабостей», так как очень сложно связать и удерживать разнородные элементы вместе. Но слабость — оборотная сторона силы: связав слабости воедино, получаем ассоциации, которые сильны своими связками, хотя отдельные элементы не выдержат большого напряжения сил. Модель сети — макраме, пишет Латур в середине 80-х годов. «Каждая сеть прорежена и пуста, хрупка и гетерогенна. Она усиливается, только если она расширяется и собирает в строй слабых союзников»^{2*}.

Что можно сказать об этих сетях приравниваний, устраивающих ассоциации разнородных элементов? Если не устанавливать иерархию, которая расставляет приоритеты (ребенок — взрослый, примитивный — цивилизованный, донаучный — научный), то можно определить «только следующее: сколько узлов связано, силу и длину связей и природу препятствий», выявившихся при испытании сил. Препятствия — это точки сопротивления, на которые мы будем теперь опираться для построения более жесткой сети^{3*}. Иерархии вообще часто не имеют смысла: ребенок слабее родителя, но если он задействует более длинную сеть, то он становится сильнее — как, например, ребенок, чьи крики боли беспокоят соседей, и те вызывают полицию для проверки того, что делают родители; или как приснопамятный Павлик Морозов. Сходным образом знания путешественника и картографа Лаперуза не более «научны», чем знания местных китайцев, которые на пальцах объяснили ему, сколько требуется времени для плавания и каковы ориентиры между Сахалином и материком. Но эти знания, нанесенные на карту и посланные через всю Сибирь в Париж, оказываются вписанными в более длинную сеть и потому обладают большей силой^{4*}. По карте Лаперуза из Европы теперь можно доставить пушки, которые быстро докажут, чья сеть связей обширнее, а значит, и чьи знания важнее.

Разную длину сетей можно увидеть при их контакте или столкновении, как в данном случае. Но как удлиняется отдельная сеть, какова динамика ее роста? Пожалуй, наиболее важный критерий трансформации сети есть появление *obligatory points of passage*, «обязательных пропускных пунктов», или точек перехода в новое состояние, после которых уже не повернуть назад. Примером подобной точки могут служить микробы. После появления их как элемента реальности гигиенисты смогли сражаться не на всех границах, а только в отдельных пропускных пунктах. Вместо битвы на всех фронтах — вместо того чтобы собирать информацию о связях заболеваемости с проветриванием, зданиями, погодой, наследственностью и т. п. — стало возмож-

*PF201

2*PF206

3*SA201

4*SA208

ным сконцентрироваться на борьбе с одним злостным врагом — микробами. Аналогичным образом хирурги — после того как Листер, продлевая пастеровские практики в новые области, изобрел антисептики — смогли успешно оперировать внутри живого тела. После таких переворотов медицина уже не могла быть такой, какой она была до Пастера. Без пастеровских лабораторий невозможно представить себе ни одну больницу: время не повернуть вспять. Микроб стал точкой необратимого перехода к новому состоянию: то, что было раньше, — это досовременная медицина*. До Пастера ветеринария не имела никаких связей с биологией; теперь невозможно помыслить их в разрыве^{2*}. То же самое можно сказать и о триоде: после изобретения Милликена радио и телефония не могли оставаться в том же виде, как до этого: электронная лампа (а потом кремниевый транзистор и микросхема) — неизбежный элемент радиоэлектроники.¹¹

Как мы уже показали в предыдущей секции, сеть растет за счет нового жесткого факта, надежной вещи, исправной машины. Некоторые из них могут стать неизбежными пропускными пунктами, которые не обойти, если собираешься двигаться по линиям сил новой сети: поэтому они в буквальном смысле становятся не-обходимы. Машины — как черные ящики — завершают расширение сети, делают комбинацию сил сети устойчивой, но на этом усложнение сети не кончается. Дело в том, что ни одно устройство не защищено от непредусмотренных факторов (новых сил, вторгающихся в ситуацию и грозящих переделать сеть) или некомпетентного потребителя: поэтому требуются сети ремонта и наладки произведенных машин^{3*}. Поздние книги Латура подытоживают; действие — свойство такой сети, а не отдельных ее элементов. Например, летают не отдельные Б-52, а ВВС США^{4*}.

Поэтому и научный факт, новый элемент реальности — не порождение отдельной лаборатории или группы ге-

*PF44

2*SA127

3*SA137

4*PH182

¹¹ Однако некоторые технические инновации, дававшие надежду на полную реконфигурацию сети, так и не становятся обязательными точками перехода при отсутствии продления их сети другими необходимыми элементами. Так, параллельно с разработками японцев, бразильцы проектировали свой микрочип MOS, основанный, однако, на других принципах. Бразильские военные не поддержали эти разработки (как бесперспективные), один из ученых уехал в Бельгию, а второй остался в одиночестве — а один, как известно, в поле не воин. Без ресурсов и научной группы, которая поддерживала бы его, он не смог бороться, и в результате мы имеем только один вариант базового принципа микрочипа (SA152).

роических ученых, а всей сети, которая проходит 5 стадий у в процессе затвердевания слабой гипотезы и превращения, ее в разделяемое всеми научное утверждение. Во-первых, надо мобилизовать мир — заставить реактор работать, послать экспедицию в леса Амазонки собрать образцы почв, провести социологический опрос. Во-вторых, надо автономизировать сферу научного дискурса — надо убедить коллег, что твои утверждения научны, даже если и опровергаемы, и удерживать поддерживающих тебя в созданных для этого институтах — рабочих группах, интернет-листах, летних школах и т. п. В-третьих, надо создать союзников вне науки — военных, бизнес, политиков, — чтобы полет научной мысли не свелся к одиноким мечтаниям в кресле, а привел к тому, «что новые нечеловеки оказались связанными с существованием миллионов людей». В-четвертых, надо создать положительный образ своей деятельности в общественном мнении: надо убедить массы, что объект исследования важен для всех и что надо учиться говорить о нем. Только в результате доверия общества, судов и газет к новому феномену или их веры в него можно поменять наш язык о мире. В-пятых, все это надо увязать воедино и удерживать вместе. Понятия, которые удерживают всю сеть вместе, есть сердце всей системы кровообращения науки. Естественным наукам приходится иметь более жесткие понятия, чем общественным, так как им надо удерживать вместе более обширные системы элементов, — и технические машины, в которых якобы воплощена работа этих понятий, сильно помогают жесткости всей конструкции. Факт есть результат действия всей этой сети, а не результат первого, второго, третьего, четвертого или пятого цикла*.

Теперь становится ясно, почему сама латуровская программа оказалась не настолько действенной, как казалось сначала. Говоря традиционным научным языком, — в котором вся сила достижения приписывается одному агенту, последнему в сети, — можно сказать, что эта программа трансформировала мир науки, предложив новое описание лаборатории. Она автономизировала подобный дискурс — введя направление, называемое теперь *Actor-Network Theory (ANT)* или — в более широком варианте — *Science and Technology Studies*, на последнем съезде которого в августе 2004 года было представлено около 400 докладов. Эта программа пыталась повлиять на политиков — Латур написал книгу о Государственном Совете Франции, и даже опубликовал передовицу в *Le Monde*, — и бизнес: коллега Латура Мишель Каллон продает *ANT* как метод исследований таким корпорациям, как *France Telecom*. Она пытается

*PH99—108

популяризовать себя и в общественном мнении. Но главного не достает: латуровская программа не завершилась созданием черного ящика, который работал бы так же не проблематично, как мотор Дизеля.

Попытки визуализации латурианской реальности есть: под его руководством в Музее современного искусства Карлсруэ прошли две выставки: *Iconoclash* (2002) и *Making Things Public* (2005). Попадая туда, человек вписывался в вещи выставки, которые давали визуальный и телесный опыт латурианской реальности. Но не созданы комбинации сил — которые завершились бы в машинах, в черных ящиках. Сердце системы есть — Латур публикует словари новых понятий своей концептуальной системы в конце каждой последней книги, — а кровеносных сосудов нет. Казалось бы, понятия сработают и так — ведь Фрейд, как считают многие, построил свою успешную квазинауку только на системе понятий, актуализировавших супермощных союзников — силы подсознания — и потому повсеместно использовавшихся в практике психоаналитиков*. Но видимо, фрейдовские канале оказались успешной и дешевой инфраструктурой для комбинации сил типа трансфера и контртрансфера, которые функционируют в машинах психоанализа. Латурианских черных ящиков еще нет. Может быть, они просто дороже? Или настолько дороги, что их невозможно создать?

*PF 40

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ

Согласно Латуру, все пять циклов по созданию и поддержанию этой сложной сети стоят усилий и времени. Приравнивание одной ситуации к другой, перевод одного интереса в другой, установление устойчивой связки между ними не случаются сами по себе. Они или устанавливаются силой, или должны быть оплачены. Теорию Латура в этом отношении можно назвать концепцией истины как честной игры, по аналогии с Джоном Ролзом, который предложил теорию справедливости как честной игры (*justice as fairness*). Согласно Ролзу, справедливое общество — это то, которое примет новые условия общественного договора (при условии наличия «вуали незнания» в специальной «первоначальной ситуации») как честной игры, дающей равные шансы всем. Согласно Латуру, честные правила игры в истину тоже должны давать равные шансы всем и честно указывать затраты, необходимые на производство истинных суждений. Например, пептид из Калифорнии работает в Саудовской Аравии сходным образом, потому что туда были перенесены не только пептид, но и лаборатории,

которые производят его и регистрируют его работу. В этом нет ничего удивительного. Паровой мотор из Ньюкасла породил железную дорогу, но никто не ожидал, что паровозы будут ездить без рельсов. Поэтому зачем восхищаться тем, что факт верифицируется и в Саудовской Аравии, ведь сеть верификации была продлена туда, как железная дорога. Однако популярные книги по науке настаивают, что факты летают, как бестелесные духи, — и счастливо забывают о затратах на прокладку рельсов, по которым ездят факты*.

*LL183

Как мы уже знаем, по Латуру, открытие нового элемента реальности идет постепенно — это прогрессирующее затвердевание определенного предположения и превращение его в разделяемое всеми утверждение. Поэтому степень затвердевания зависит от протяженности и прочности сети, в рамках которой новый элемент существует как набор характеристик, найденных в испытаниях сил. Рост и упрочение сети, таким образом, постепенно делают элемент более реальным. «С этой точки зрения, Пастер открывает микробы подобно тому, как электричество вытеснило газовое освещение»^{2*}. То есть он постепенно вытеснил конкурирующие сети, в рамках которых являлись совершенно другие феномены — например спонтанное зарождение жизни, как в экспериментах Пуше^{3*}. Дело в том, что «феномены являются, пока их держат внутри (строго определенных. — О.Х.) испытаний сил. Бацилла присутствует, только если есть набор жестов, который гарантирует ее чистоту, так же как телефонное сообщение существует только внутри провода»^{4*}. Если поменять эти экспериментальные манипуляции, то нашему взору явится совершенно другой набор характеристик — очертания другого феномена. Поэтому, чтобы пастеровская вакцина путешествовала по миру, практики его лаборатории должны быть повторены на новом месте почти на 100 %.

*PF262

*PH127, 137

*PF93

Конечно, продление сети стоит денег, пота и крови. Установление связей с новыми элементами сети, вовлечение их в сеть — тоже. Не все новые связи поэтому возможны: «...болтовня о возможностях — иллюзия тех, кто хочет двигаться, но забывает о стоимости транспортировки»^{5*}. Между тождеством и установлением тождественности — такое же отношение, как между законченной поездкой и строительством шоссе: второе — это предварительная работа, которая подготавливает почву для первого. И эта работа дорога стоит: можно говорить о чисто интеллектуальной логике тождественных идей или феноменов, но если помнить о предварительно проложенных или выстроенных путях и площадках для их сравнения, то становится ясно, что

*PF173

эта логика — подраздел дорожного строительства*. Те, кто говорят о чистых идеях, символах и других сущностях, соединяющихся в некоем специальном идеальном мире, «...пытаются проехать, не заплатив. Они хотят доехать, не покидая дома, связать два аканта без всяких грузовиков, бензина и шоссе»^{2*}. Наоборот, концепция сетей Латура — честная игра, она полностью указывает на стоимость выстраивания и продления сетей и проезда по ним. Она строит необширные сети и отказывается от метатеорий: «Да, она недалеко нас увозит», но, по крайней мере, «когда она движется, она оплачивает все, что причитается»^{3*}.

*PF171

*PF187

*PF189

Как мы помним, что-то перестает быть локальным, когда оно оставляет след. Тогда след можно перемещать, соединять с другими следами, строить на основании этих следов обобщающие их следы более высокого уровня. Когда ученые строят обобщения, они перемещают следы. Но это не более и не менее сложно, чем построить железную дорогу. Идея не может переехать с одного стола на другой с помощью понятия «стол». Чтобы она могла переехать, требуется поддерживать инфраструктуру, дорогу, как железная дорога: лаборатории, аудитории и амфитеатры для лекций, библиотеки и т. п. Идеи якобы бесплатны, но национальный бюджет должен за все это заплатить^{4*}. Кроме того, установление связей между следами второго уровня — когда обобщения группируются в теории — тоже не бесплатно. «Когда некоторый набор позиций освоен и связан в сеть, то можно перемещаться с одной позиции на другую, не замечая работы, которая связывает их воедино... Я готов называть тот жаргон, с помощью которого перемещаются внутри этой сети, 'теорией', если признается, что она подобна указателям и табличкам, с помощью которых мы можем найти дорогу обратно»^{5*}.

*PF220

*PF220

В свою очередь, разметка физического, а не теоретического мира — дело метрологии, как мы помним. Константы и универсалии — обыденная реальность, так как время синхронизируется по всему миру, а штаб ВВС РФ может планировать полеты своих бомбардировщиков по всему миру, смотря на карту размером всего 3 x 4 метра. Но — чтобы все было честно — стоимость создания этих универсалий и тех узких каналов, по которым они циркулируют, надо добавить к общему счету. Всегда надо спросить: кто и на каком экране показывает эту константу или универсалию, какого она размера, сколько людей нужно для ее поддержки в качестве универсалии и какова их зарплата? Кроме того, если отдаешь себе отчет обо всем труде по созданию и поддержанию универсалий, пропадает удивление от со-

впадения математики и физического мира. То, что моя кредитная карточка работает только внутри сети датчиков, ее считающих, и бесполезна вне ее, никого не удивляет. Я утверждаю о науке «не более этого, но и не менее», пишет Латур: вынесите научное утверждение за пределы сети, которая способна его прочесть и проверить, — и оно бесполезно*.

*PF221

НОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Задача Латура, как она неоднократно формулируется, — Новое, или

Другое, Просвещение. Надо спасти знание от науки, подобно тому, как Вольтер спас любовь к божественному от религии. Латур пишет: «Я хочу быть настолько агностиком и настолько честным (*fait*), насколько это возможно»^{2*}. Честность знания должна всемерно поддерживаться; цена познания должна быть четко установлена и оплачена. Что это означает?

*PF235—236

Во-первых, как и в проекте Просвещения, надо вывести вещи на свет. Вещи здесь, однако, часто понимаются не как дела человеческие — выводимые из мрака незнания на свет истины и потому анализируемые в истинном свете, — а как вещи сами по себе. Мы уже отмечали проект Латура, появившийся после его переживания 1972 года: освободить вещи, увидеть их вне сведения их к человеку^{3*}. Вывести вещи на свет в их свободе — значит увидеть в этом свете деятельность ученых по-новому. «Когда сеть скрывает принцип своей сборки, я говорю, что она показывает нам свои потенциалы». Однако это сокрытие — механизм магии науки — надо поставить под вопрос с помощью света латуровского ирредукционизма, и тогда мы увидим, что сеть собрана из слабостей, сцепленных вместе силой. «Когда видишь ряд слабостей, которые вместе и составляют сеть, я говорю, что она показывает нам теперь свою силу»^{4*}. Новый рационализм Латура — это про-свещение, так как он бросает свет на скрытые испытания сил, которые только и делают ученых сильными. Ученые, проводя в этих испытаниях все свое время в лабораториях, выходят оттуда на свет божий и лукаво говорят всем снаружи, что их единственная сила — это сила аргумента. Однако честность требует признать, что мощь сети, а не сила аргументации чаще всего определяет успех ученого. Они чаще побеждают силой, чем убеждают словами. Признав это, мы только наконец и освободим разум от пут веры в науку^{5*}. Повторим еще раз: «Требуется слепота веры ученых, чтобы игнорировать все испытания сил, которые идут в пыточных камерах науки»^{6*}.

*PF158

*PF213

*PF233

*PF224

Иногда Латур формулирует подобный аргумент не только как просвещенческий, но и как ницшеанский: в горном мире разряженных сетей легче дышать! Если мир современной науки — это мир столкновения и испытания сил, то ясно, что попытки свести один феномен к другому или приравнять две ситуации как тождественные — это материальные операции, для которых требуются усилия: «...больше не существует никаких эквивалентностей, редукций или источников власти, пока не заплачена своя цена и работа по поддержанию господства не признана открыто (*the work of domination is made public*)». Господство должно быть выведено на свет истины — это классический аргумент атаки света разума на власть тьмы. Но кроме этого, есть другой аргумент. В мире без редукции, то есть без автоматической интерпретации одного элемента как причины, следствия или эквивалента другого, много пустого пространства. Ведь в таком мире связи сетей между элементами редки и сами сети имеют огромные дыры между своими тонкими нитями — они прорежены. Да и те, кто устанавливают эти нити-связки, не занимают много места: здесь много простора. «Мне кажется, что жить так — лучше»*. Здесь можно свободно дышать. Самый конец книги «Наука в действии» постулирует: эта книга была написана, чтобы дать отдушину (*breathing space*) — место, где смогут подышать и передохнуть те, кого душит мир непрерывно размножающихся и расплзающихся научных сетей.

*PF190-191

В поздних текстах Латур поясняет, что освободить знание от науки означает: мы против института науки, который утверждает, что он абсолютно объективен и несмешиваем с человеческим миром, но мы — не против исследований. Как раз исследования мы и признаем за безусловно значимые, так как здесь разворачивается коллективное экспериментирование по поводу того, что человеки и нечеловеки могут вместе сделать, поддержать и выдержать^{2*}. Задача Другого Просвещения теперь — это свести человеков и нечеловеков вместе, но сделать это не подспудно, как это постоянно делает современная наука, а «открыто, при полном свете дня и в соответствии с должной процедурой»^{3*}.

*PF20

*PF52

АКТАНТЫ

Так что же делают человеки вместе с нечеловеками? Актант — термин

семиотики Греймаса — был взят Латуром для обозначения любого действующего лица в истории построения и развития сети. Как мы помним, в тексте «Пастеризации» это — синоним силы, энтелехии или монады. Актантом может быть

человек, организация, микроб, теорема, пробирка — любое действующее **лицо**, чье действие значимо для сети. Поэтому от подсчитывающего зависит, сколько всего актантов вовлечено в действие, — тот, кто проводит подсчет, уравнивает сеть с чем-то другим, и за счет этого уравнивания **ограничивается** количество действующих лиц*. «Наука в действии» уточняет: актант — это что-либо или кто-либо, кого **представляют****. То есть тот, кто попал в текст или нарратив, — есть актант, независимо от своей природы.

Вещь или феномен сначала являются нашему взору именно как актант, то есть когда их реакция в испытаниях силы заставляет учитывать их роль в сети. Сначала есть некий сигнал сопротивления, который свидетельствует о том, что что-то есть. Появляется предположение о том, что есть. Актант — тот, кто или что изменяет других в серии испытаний сил, которые могут быть описаны с помощью какого-либо экспериментального протокола^{3*}. Потом создается список характеристик того, что является нам в разных испытаниях сил. И параллельно с ростом все большей определенности в чертах испытываемого феномена он превращается из предположения во что-то стабильное, можно сказать, уложенное — как в термине «Соборное уложение». Однако предположение — лишь пролог к реальности, которая не обязательно материализуется^{4*}. Если это все же случилось, то мы уже точно знаем, что уложилось и успокоилось как новый элемент реальности. Все актанты и проходят эти градации претензии на реальность — от про-лога (предположения) до уложения. Уложившись в некоторую стабильную форму, зафиксированную с помощью других элементов сети или черного ящика, актанты получают идентичность и превращаются в узнаваемых акторов или агентов.

Что же делают актанты вместе с людьми на пути из жалкого бытия слабой гипотезы, простого предположения, к состоянию уложенного и жестко упакованного элемента реальности? В самом начале этого пути они просто становятся заметны для нас в наших записывающих устройствах, в которых они оставляют следы, и благодаря этим инструментам — значимы для того, что мы можем сказать о них^{5*}. Потом они выходят на сцены ристалищ, подготовленные нами для них. Например, Латур еще в «Пастеризации» писал, что микробы сражались, как черти, в боях за приписывание каузальности^{6*}. Последние книги уточняют: метафора подготовки сцены для актантов, на которой они появятся, но будут действовать сами, независимо от подготовщика сцены, хороша тем, что показывает: микробы не зависят от Пастера, но это отношение независимости не по-

*PF163

**SA84

*PN75

*PH141

*PN63, 67

*PF78

хоже на отношения между машиной и ее инженерами. Тут нет логики само-стояния, запуска вещи в абсолютно автономное плавание. Чем больше и лучше работают пастеровцы, тем больше и лучше действуют микробы: лучше подготовленная сцена или чаще проводимая смена декораций дает больше возможностей микробам лучше явить себя. Поэтому приписывать все действия только микробам — наивный реализм; только Пастеру — не менее наивный конструктивизм. Метафора подготовки сцены позволяет избежать обеих наивных перспектив. Тем не менее и она не совсем удачна, так как эстетизирует науку, а мы в науке ищем истины, а не красоты*.

После таких театров испытаний, являясь в уже более стабилизированном виде, прото-вещи могут удерживать целые ассоциации актантов: поток электронов в триоде делает возможной телефонную связь на большой дистанции, газы в клапане определенной формы делают дизель накопец **возможным****. Далее, став стабилизированными и уложившимися в конечную и общепризнанную форму, вещи и феномены усложняют мир: люди привыкают к новому и тем самым **меняются**^{3*}. Например, когда появились микробы, стало ясно: хотите чисто экономических отношений? Пастеризуйте пиво, чтобы оно не скисло. Хотите чистой материнской любви? Пастеризуйте **молоко**^{4*}. Кроме того, когда мы делаем с новыми вещами что-то действительно новое — строим, пишем эссе, разведываем новое лекарство, то они, как мы говорим, захватывают нас^{5*}: феноменология отношений с вещами здесь — не господство над ними и не господство их над нами, а наше удивление от захваченности миром.

Эта захваченность — не следствие наивной поэтизации или примитивной антропоморфизации неодушевленных вещей, а результат того, что Латур — следуя концепции складки у Делеза? — называет вложенностью в складки нечеловеков (*folded into non-humans*), которым делегированы некоторые свойства **людей**^{6*}. Устоявшиеся вещи, которые поддерживают стабилизированные линии сил в хорошо уложенных сетях, как мы помним, есть завершение сети сил. Некоторые из этих сил — человеческие (слишком человеческие!), и поэтому кажется, что вещам эти силы неправильно приписываются. На самом деле, самолет или встроенные надолбы на дороге — «лежачий полицейский», — которые многие европейские, а теперь и некоторые российские города устанавливают для снижения скорости на определенных улицах, — не только «воплощают» замысел инженера, не есть только его мысль в материальной плоти. Кроме

*PH132–136

**SA124

*PN87

*PF35–39

*PH281

*PH186

этого, они соединяют отсутствующих создателей и пользователя, появляющегося время от времени. Самолету или надолбам делегированы некоторые человеческие свойства сети, создавшей их, эти свойства в них завершены, уложились в стабильной форме — отсюда особенности этой координации людей с помощью вещей или координация вещей с помощью людей: вещи имеют человеческие силы, уложенные в них (как часть сети, нашедшей в данной вещи в свое завершение), а люди вложены в складки нечеловеков. Задача — открыто признать наличие этих качеств друг у друга.

Если присмотреться, как предлагает Латур, к переплетениям людей и вещей, то окажется, что обмен свойствами между ними и так является нашей обычной реальностью. Во-первых, устойчивость и жесткость наших социальных институтов идет от тех вещей, которые мы задействовали, чтобы придать этим институтам жесткость. Во-вторых, мы к тому же постоянно рекрутируем нечеловеков в свои дела и переделываем их — не только для того, чтобы воплотить в них свои замыслы или социальные отношения, но также чтобы создать новые вещи как завершение новых сетей и тем самым получить «новые и непредвиденные источники действия», которые будут захватывать нас неожиданным способом и переделывать эти самые отношения*. Однако идеология Нового Времени строго требует приписывать свободное действие только людям, а автоматические законы — природным вещам.

Так, «техническая» проблема возникает, как мы говорим, когда субъект не может осуществить свои интенциональные намерения и должен заняться починкой чего-то малого и неважного, но абсолютно необходимого, без чего он не может быть обычным субъектом. Черный ящик сломался, остановился и приоткрыл на секунду внутренности сети, нашедшей свое завершение в нем. Пока мы не перепакуюем сеть, пока мы не решим техническую проблему, наша чистая субъективность не возродится: только когда машины работают, субъект может вернуться от мелких, но насущных проблем к рассмотрению своих сущностных целей, якобы очищенных от всего технического и машинодобного^{2*}.

Пока мы живем в сетях, интерпретируемых так, в соответствии с принципами Нового Времени, соединять механистически функционирующие вещи и свободно принимающих решения людей в одном собрании или одном месте — бесполезно. Свести их воедино без обмена их свойствами, добавить вещи к человеческим дебатам, как равноправных

*PH197

^{2*}PH191

*PN57—61

участников, — смехотворно, если не абсурдно*. Например, попытка дать вещам наравне с людьми право голоса в национальных собраниях приведет к появлению шарлатанов, говорящих от их имени (вместо нынешних монопольных представителей вещей — ученых, вещающих от их имени при их молчаливом согласии). После цунами в Индийском океане летом 2004 года проблема изменения климата — на повестке дня большинства европейских парламентов, но просто дать озоновой дыре сказать что-либо невозможно, не переделав сам механизм говорения от ее имени, то есть сам механизм ее научной репрезентации (как ученые говорят за нее и о ней) и политической репрезентации (оценив политические импликации, которые несет новая климатическая ситуация, не имеющая права голоса в традиционном парламенте, где представлены только люди).

Реформа репрезентации, предлагаемая Латуром, вкратце такова^{2*}. Представительная ассамблея теперь будет рассматривать всех претендентов на значимое действие, не только людей. Переделанные механизмы репрезентации должны функционировать как в верхней палате первичного предложения новых элементов реальности, так и в нижней палате уложения — которая будет обладать финальной властью приписывать статус реальности предлагаемым сущностям. Верхняя палата этого нового собрания рассматривает претендентов на то, чтобы стать стабильными и общепризнанными элементами реальности, и задает им вопрос: каким испытаниям сил надо подвергнуть себя и вас, чтобы дать вам слово и понять вас? Кто может представлять вас наиболее верно? Это — власть пред-уложения: она рассматривает то, что Уайтхед называл *propositions* — заявки на реальность. Нижняя палата этого нового собрания людей и вещей будет заниматься другим вопросом: как упорядочить все это в единой иерархии? Какие законы из предлагаемых надо принять как *foedera naturae* — законы природы, и на кого повесить причинно-следственную ответственность за действие в соответствии с этими законами? Это — власть упорядочивания, уложения в финальную форму, которая принимает естественные законы и ранжирует их. Плюс эта власть исключает элементы, чьи претензии на реальность оказались недостаточными, из рассмотрения (хотя бы на время). Иначе говоря, эта власть распространяет тезисы Карла Шмита на природу: она производит не только друзей (признанных за элементы нашего реального мира), но и врагов — тех, кто отвергнут. Кроме этих двух властей пред-лагать и у-лагать, надо учредить еще и третью власть — власть дипломатов (а не судей, как в классической модели Монтескье), опосре-

^{2*}PN166—180

дующих отношения между ними. Эта власть смотрит за тем, чтобы первая, предлагая новые элементы реальности, не все поставила под вопрос, не совсем разложила существующий мир на кусочки, но также смотрит, чтобы вторая власть не все уложила и не все жестко упорядочила раз и навсегда*.

Новизна заключается в том, что если раньше научно-экспериментальные сети бились в пересиливании друг друга (а ученые вещали, что происходит только мирный спор аргументов), то теперь это скрытое соревнование без правил будет поставлено в фокус публичного внимания и будет производиться в соответствии с должной процедурой. Другое Просвещение наконец завершится своей революцией: двухпалатный парламент даст возможность ввести честную процедуру для придания статуса реальности научным и политическим — или, лучше сказать, научно-политическим — проблемам.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Латур давно писал, что лучшей моделью для мышления о науке является политика. Еще в «Лабораторной жизни» он охарактеризовал науку как «отчаянную борьбу за конструирование реальности»^{2*}, так как «переговоры о том, что считается доказательством или что принять за хорошую биопробу, не более и не менее беспорядочны, чем споры между юристами или политиками»^{3*}. Столкновение ученых происходит в агонистическом поле, представляющем собой сумму конкурирующих операций с высказываниями, которые могут привести к появлению стабильного факта; в этом поле важно занять господствующие **высоты**^{4*}. «Пастеризация» утверждает: мы презираем политиков с их политиканством, но только среди них испытания сил идут открыто. Ученые же просто скрывают эти испытания и столкновения, когда говорят о ясности видения, академической строгости, незаинтересованности профессионала, вкусе творца или здравом смысле человека из **толпы**^{5*}. Другими словами, политика здесь рассматривается как полезная модель для описания взаимоотношений между учеными. Это первый фактор значения модели политики для науки.

Во-вторых, политика — хорошая модель для науки еще и потому, что адекватно описывает построение союзов между элементами научной сети, между нечеловеками — и, таким образом, исходит из возможного, а не идеального. Макиавелли и Спиноза были реалистами как в политике, так и в науке: «У тех, кто верит, что можно достичь чего-то луч-

*PN200

2*LL243

3*LL237

4*LL212

5*PF210

шего, чем плохо собранный компромисс между слабо связанными силами, всегда получается еще **хуже**»*. Те, кто утверждают, что научная интуиция, квазирелигиозное прозрение, теплая эмпатия к природным процессам может дать нам знание, лучшее, чем то, которое получается от многообразных перестановок пробирок и всегда не до конца уверенного квалифицирования разнородных ситуаций и феноменов как эквивалентных, пытаются навязать ученым возвышенный химерический идеал. «Не мета-физика, а инфра-физика. Мы никогда не сможем подняться выше не подчиняющегося правилам **политиканства**»^{2*}. В-третьих, политика есть адекватная модель и для описания взаимодействий между людьми и нечеловеками. Научная репрезентация может и должна рассматриваться по модели политической. Именно когда мы встречаем исследователя, говорящего от имени молчащих толп атомов, микробов или звезд, то перед нами — «исполнительная, законодательная и судебная власти, которые очень долго избегали даже самых элементарных форм демократии»^{3*}. Ученый говорит от имени своих веществ или существ, но те не могут повлиять на него, как избиратели, — и переизбрать его или отозвать. Здесь уже содержится радикальная заявка, получившая полное развитие только 20 лет спустя, в книге «Политика природы».

Традиционно, репрезентация в науке и политике рассматривается как ситуация, когда одна инстанция вещает от имени **другой**^{4*}. Ученый стоит рядом с приборами, где факты говорят якобы сами за себя — так как влияют на показания прибора. Однако факты не имеют голоса, и ученый интерпретирует для нас то, что говорят факты. Сходная ситуация и в представительстве социальной группы: она тоже не имеет голоса и требуется представитель, который скажет слова от ее имени. Конечно, слова представителя должны быть проверены: атомы должны повести себя так, как говорит ученый, а группа — подтвердить, что она хочет того, чего от ее имени требовал представитель. Решающий тест, конечно, происходит в отсутствие ученого или профсоюзного лидера: атомы должны повести себя сходным образом и в чужой лаборатории, а в профсоюзе не должны появиться **штрейкбрехеры**, соглашающиеся на предложения менеджеров^{5*}.

В таких ситуациях выясняется, что представитель — всегда предатель: он говорил то, что представляемые или не говорили, или даже не в состоянии сказать, так как либо нумы, либо многочисленны. Поэтому уравнивание того, что творит представитель, и того, что якобы хотят сказать представляемые им, — как и любая операция уравнива-

*PF211

2*PF232

3*PF232

4*SA72

5*SA79

ния — подвержено тому, чтобы быть оспоренным. Менеджеры говорят профсоюзному лидеру, что он не выражает интересов рабочих, а просто заставил их себя поддержать («смотри — как только твои ребята-мафиози уехали из пикетов, половина вышла на **работу**»). Конкуренты говорят ученому, что видимое сокращение мышц крысы — не результат условного рефлекса, а искусственный артефакт самой экспериментальной ситуации (уставшие крысы, незаметный удар током и т. п.). То есть другие силы пытаются заставить силы, уже включенные в сеть, предать своего представителя*. Поэтому-то представители и расширяют свои ассоциации: больше союзников делает ассоциацию более сопротивляющейся, особенно если туда введены более устойчивые элементы^{2*}.

Однако расширение сетей за счет добавки новых элементов ведет, по крайней мере в науке, к тому, что регистрируемые изменения ферментов Либиха, с одной стороны, и изменение осадка в пробирках у Пастера — с другой, теперь «представляют» совершенно разные природные агенты, а не одну и ту же вещь в разных интерпретациях. Добавка разных операций и разных элементов к их первоначально сходным сетям дала разные списки наблюдаемых черт искомого, а значит, его разные очертания, разную форму сущего. «Субстанции», от имени которых теперь говорят Либих и Пастер, — это последняя добавка к сети экспериментальных жестов и установок, которая стабилизирует всю сеть^{3*}. Так как их сети разные, то эти субстанции несравнимы; они не являются разными интерпретациями одного и того же. Сравнимы только сети разной протяженности и силы, частями которых эти субстанции являются.

Ученый представляет природу в своих текстах не как описание или отражение происходящего — а **вчитывая** единого агента за все примеры видимого сопротивления, зарегистрированного в испытании сил. Он предполагает существование какого-то нового феномена, от имени которого он якобы говорит, с самого начала, но превращает его в бесспорную реальность, в законченное уложение только в самый последний момент. Претензия этого феномена на существование заключается не в зеркальном отражении его структуры ученым, а в том, что он связывает действие многих актантов воедино и закрепляет всю сеть^{4*}. Поэтому мы можем говорить о репрезентации только в смысле театрального представления или в смысле политического говорения за других — но не в смысле отражения уже существующего. «Мы можем перформировать, трансформировать, де-

*PF196

2*PF198

3*PH151

4*PH141

формировать и тем самым формировать и информировать нас самих, но мы не можем ничего **описать**»*.

*PF228

Однако если научная репрезентация — это всегда сначала пред-полагание, а потом финальное вкладывание в реальность того, что хорошо уложилось во все известные испытания сил, то это действие должно происходить открыто и под публичным контролем, а не в результате стихийного столкновения сил сетей полагаателей феноменов реальности. Именно этого требовало иное просвещение Латура; именно на это нацелена реформа политики природы. Надо увидеть сети в ясном свете дня, надо регулировать их столкновения с помощью квазипарламентской процедуры, отказавшись от войны всех против **всех**.¹²

ПЕРЕВОД И ФОН

Казалось бы, все ясно.

Но в последней книге, «Пересобирая социаль-

ное», Латур утверждает, что термин *network* был неудачен. Да, задачей книги «Наука в действии» было продумать все последствия определения технауки как сети. Например, наука сравнивалась тогда Латуром с телефонной сетью — все ее ресурсы сконцентрированы в узлах, контакты между которыми хрупки и тонки, как провода, но тем не менее связывают всю нацию^{2*}. То есть если есть узлы, писал Латур, то есть и дыры, обрамленные связками проводов. Встает вопрос: кто живет в этих обширных пространствах, вне хрупких путепроводов науки? Другой вопрос был: если эти связки установлены недавно, то каким образом все обходились так долго — а многие обходятся и сейчас — без этой причудливой системы процессов циркулирующего убеждения?

2*SA180

В результате подобных вопросов все теперь думают о сетях как о какой-то всемирной паутине, по модели Интернета, пишет Латур, хотя главное в термине — это элемент *work*, работа по становлению связок и эквивалентностей между узлами сети, а не сама получающаяся паутина. Лучше было бы подчеркнуть, что плетение сети элементов с помощью этих связок — свойство описания, а не самой вещи,

¹² Возможно, проблемы научной репрезентации надо решать не путем переустройства ее по модели парламентской репрезентации, а путем отказа от механизма репрезентации как такового? Тогда не сможет ли общий мир людей и вещей жить как в классических республиках, где нет представительных механизмов, а есть *res publica* — то, что в Ефремовой Кормчей переводится как «градские вещи»? В этом, возможно, заключается более перспективный подход: не Парламент **вещей**, как это предлагает Латуром, а вече, где вещают и люди, и вещи.

которую описываем*. Эта переинтерпретация термина *network* появилась у Латура после книги Болтански и Кьяпелло о современном капитализме, который недавно превратил идеологию сети и децентрализации в новый изощренный способ поддержания эксплуатации.¹³ Возвеличение горизонтальных сетей, которые якобы противостоят вертикальным иерархиям, — модный опиум для эксплуатируемых. Поэтому Латур теперь подчеркивает, что элемент сети, понимаемой в смысле *worknet*, а не *network*, — это след, оставленный движущимся агентом, выстраивающим связку или сцепку приравнивания между разнородными феноменами, по которой должны потом проехать другие. Поэтому термин «сеть» здесь уже не очень удачен: рыболов может повесить свою сеть сушиться, а латурианец — нет. Он существует лишь в акте своего исполнения, в акте связывания и плетения.

И все же в трех своих аспектах «сеть», упоминающаяся в его нынешних текстах, сходна с рыболовной, пишет Латур в 2005 году*. Во-первых, в обеих существует «связь одного узла с другим, которую можно физически проследить и поэтому эмпирически зарегистрировать»; во-вторых, работа по установлению этой связи не бесплатна, что знает каждый рыболов, чинящий свою сеть, или любой ученый, пытающийся квалифицировать две ситуации как сходные; в-третьих, между нитями сети зияет пустота, или, как называет ее теперь Латур, «плазма». Плазма — это то, что не оформлено никем и образом; что осталось незамеченным или незамеченным, не циркулирует по проводам сетей науки. Провод позволяет переводить с одного места в другое, это — инфраструктура действия по переводу; плазма — это фон, не попадающий в сети перевода. Рассмотрим эти два понятия.

Латур говорит в последней книге, что в англоязычном мире термин «социология перевода» не прижился, а жаль*. «Перевод» рассматривается как центральный термин уже в «Пастеризации Франции». Мишель Каллон взял его из философии Мишеля Сёрра, чтобы связать научные программы и интересы акторов более тесным образом (излагаю в переводе Латура). Во-первых, перевод — это всегда попытка установить связь приравнивания между двумя неэквивалентными феноменами или терминами: начинаем с нетождественного, но переводим одно в другое (фраза «этот осадок

*RS131

*RS132

*RS106

в пробирке — энзим» подразумевает, что осадок мог бы быть и другим веществом, иначе зачем было бы их уравнивать?). Во-вторых, перевод — это стратегический термин. Он означает, что кто-то так расположил свою позицию, что движущиеся рядом должны переводить свои действия в его термины или проводить свои действия на его территории, что способствует реализации его интересов. (Пример — следующая ситуация: «Вы хотите, чтобы дредноуты плавали, а громадная масса металла мешает работе компаса? Вложите деньги в исследование гироскопа». После этого флот обязан ждать конца опытно-конструкторских работ по гироскопам; иначе дредноуты не смогут ориентироваться в море.) В-третьих, перевод означает языковую игру следующего типа: «Все, что вы только что сказали, означает X»*.

Перевод — основной способ построения сети. Во-первых, с этого начинается и так осуществляется научное открытие. Пастер переводит свои старые навыки в новые или переводит их в новое поле*. Далее, его задача — перевести свои предположения в статус разделяемых всеми утверждений, что достигается за счет расширения сети союзников и построения черного ящика. Однако, чтобы всем было интересно играть, надо отдать свое предположение им, и тогда каждый новый союзник сделает что-то свое с первоначальной пастеровской гипотезой. Это — как регби, но где каждый игрок, получая мяч, его трансформирует, переводит в новое состояние*. Тождественность не сохраняется, а устанавливается каждый раз; существует только перевод одного в другое, ведь все происходит только один раз и в одном месте*. Главное — смотреть не на внутренние свойства каждого тезиса или феномена, а на те трансформации, которые он претерпевает в руках других*. Результат — появление списка черт некоего объекта X после того, как его испытали силой в многих руках. Он уже принадлежит всем, а не только Пастеру, и его свойства твердо установлены в результате передач друг другу и последовательных испытаний. Он затвердел. Его коллективно перевели в новое состояние — испытанного, а потому познанного утверждения о состоянии дел в реальном мире. «Ничто, само по себе, не является познаваемым или непознаваемым... Все переводится»*.

Во-вторых, открытие закрепляется с помощью перевода. Для того чтобы все сказали, что микробы являются причиной заболеваний, они должны себя вести как причина не только в лаборатории Пастера, но и на фермах. Для этого надо их перевезти на фермы и превратить фермы в мини-

*PF253

*PF78

*SA104

*PF162

*SA59

*PF166

¹³ См.: Люк Болтански и Эв Кьяпелло, «О каком освобождении идет речь?», *Неприкосновенный запас*, 2003, № 29.

лаборатории — то есть приравнять ферму к лаборатории, а результаты вакцинации на ферме — к результатам, показанным в лаборатории. Только при таком **переводе-приравнивании** Французская Академия провозгласит: вот, что все эти годы скрывалось под названием сибирской язвы! «Открытие всегда ретроспективно и зависит от контроля над сетью трансляций»*. И если самого переводившего переводят дальше, в новые программы исследований, якобы **производные** от его программы, а не просто **переводные** — что случилось с Пастером, — то его программа закрепляется как слово истины. Так, когда Мечников стал производить сыворотки (исследуя иммунные реакции организма на появление микробов), то авторитет Пастера был принят практикующими докторами. Мечников перевел пастеровскую программу в новую дисциплину, иммунологию, а доктора наконец перевели достижения Пастера в свои интересы: лечить, а не заниматься **профилактикой****.

! В-третьих, перевод интересов потенциальных союзников в бизнесе, политике, обществе в термины новой теории помогает заинтересовать и рекрутировать их и превращает твоё открытие в нужное всем. В терминах латуровской онтологии испытания сил это будет звучать так: одна сила делает другие пассивными, переводя их интересы на свой язык, выстраивает единую линию силы и теперь с помощью них, по их путепроводам, может переехать в те места, которые ей до сих пор не принадлежали^{3*}. Реальные примеры: сместить существующие цели группы, переведя их в новые (Сциллард, объясняющий генералам, что им нужна атомная бомба и поэтому они заинтересованы в его научной программе); перевести собственные цели в цели только создаваемой группы (Кодак, объясняющий американцам от 6 до 96 лет, что им нужна фотокамера); перевести сильные интересы в признание необходимости временного обходного маневра. Например: нужны мощные батареи для автомобилей на водороде? Значит, надо пока приостановить разработку автомобилей, а инвестировать в исследования электроники элементов питания. Будущее автомобилестроения **переводится** в пространство между порами **электродов**^{4*}.

! В-четвертых, сама теория — это тоже перевод. «Уравнения — это подвид перевода». Символы, собранные вместе в одной формуле, позволяют перевести, скажем, эмпирические следы всех ситуаций турбулентности в единую формулу Рейнольдса. То есть эмпирические следы переводятся в след более высокого уровня, приравниваются к нему (хотя он отличается от всех них), и таким образом удается связать вместе все эмпирические ситуации и построить бо-

*PF262

**PF127—131

*PF171

**SA117

лее длинную сеть*. При составлении рисунка разреза почв для исследовательского отчета этот механизм используется несколько раз: куски почвы выкапываются на определенной дистанции и глубине (так что они становятся упорядоченными представителями всего почвенного слоя), затем переносятся в ящик со специальными клеточками; клеточки перемещаются для создания более последовательного паттерна и более логичной картины, в зависимости от цвета; цвета анализируются и переводятся в типовые показатели в соответствии со стандартной шкалой цветности, налагаемой на них; типовые цвета из клеточек стандартизированной шкалы переводятся на бумагу. Мы видим сеть переводов, где один материальный элемент уровня *n* переносится на более высокий уровень *n+1*, чтобы представить предыдущий: абстракция достигается за счет многократного вытягивания и переноса элементов с одного уровня на **более высокий**^{2*}.

Во всех этих ситуациях переводящие и переносящие устанавливают тождество, но искомая эквивалентность нужна и возможна из-за разницы приравниваемых или переносимых элементов. Нужно подчеркнуть несколько аспектов, которые несет само слово «перевод», *translation*. Во-первых, перевод **переводит**, **передает**, но потому всегда и неизбежно **предает**^{3*}. Сам термин содержит в себе идею инаковости: перевод никогда не является передачей того же самого, иначе в переводе не было бы необходимости. Во-вторых, можно серьезно подумать о социологии перевода, переноса, пере-ношения как альтернативе классической социологии отношений: *translation* отличается от *relation*, как пере-ношение от от-ношения. В современном обществоведении «отношение» выглядит непроблематичной категорией, используемой как наиболее нейтральная для обозначения связи между людьми. Однако еще в шекспировское время слово «отношение» означало послание, передачу, подобно одностороннему подношению новостей, а не постоянному и двустороннему обмену. Так, «Отелло» завершается фразой: «*To the state... relate*». Говорящий это прямо указывает: надо рассказать (*relate*) венецианскому государству, что произошло с мавром. То же, что мы бы назвали сейчас «отношениями» Отелло и Дездемоны, еще не подпадает под этот термин. Постепенно коннотация единоразовой связи, когда что-либо куда-либо взяли и перенесли с одного места на другое, вытесняется в термине «отношение» другими: идеей, что отношение — это устойчивая двух- или многосторонняя связь. Все как бы опутаны нитями отношений: тот, кто тянет за одну нить, влияет на положение дру-

*SA239

**PH56

*PN64—65

гого, которое через ту же или другую нить оказывает обратное влияние на первого агента, и т. п.

Интересно, что перевод как пере-ношение обычно не имеет коннотации такого возвратного действия или коннотации устойчивой реципрокной связи: социология пере-ношении концептуализирует жизнь вместе не как жизнь в постоянной привязке действия и контрдействия. Эта социология плоскостная, как метафора поля игры в регби. Мяч, посланный одному, очень редко возвращается обратно; скорее последует еще одна пере-дача дальше, вперед, причем, как мы помним, мяч меняется при каждой передаче, переводится в новое состояние. Социология перевода — это социология пере-дачи силы по цепи, это социология жизни вместе, понимаемой как жизни в месте, как выстраивание ряда передач или линии движения в определенном месте, а не обмен импульсами в связи взаимной соотнесенности.¹⁴

Перейдем к другой категории, важной для самой последней латуровской концептуализации сети. Переводя что-то куда-то, мы постоянно делаем это внутри некоторых проводов или путепроводов, по которым бежит оформленный сигнал, заряд или феномен. Между нитями этих проводов и путепроводов лежит пустота, или бесформенная плазма, как ее теперь называет Латур, которая не оформлена еще ни во что. Она — фон для переводящегося.

Фон — одна из любимых категорий Латура. Он, например, занимался детальным описанием конструирования одного научного факта, *TRF*, на фоне (*against the backc/oth*)

¹⁴ Метафора переноса, трансляции, лежащая в основе этой концептуализации, конечно, лучше помогает увидеть специфику сети — в ней сигнал циркулирует, а не последовательно перепасовывается между двумя точками, как в стабилизированном бинарном отношении. Иначе говоря, модная метафора сети основывается на образе трансляции, передачи. Если, однако, заменить этот базовый образ линии электропередач с ее проводами, последовательно передающими заряд, на образ сети ретрансляционных вышек сотовой связи — предпосылку самого бурно растущего способа координации жизни вместе сегодня, — насколько поменяется социология трансляции? Надо ли нам задуматься о социологии ретрансляции, то есть не о социологии отношений и социологии отличающихся от них переносов-переводов-проводов, а о социологии зон покрытия? Если не покрыт — значит недоступен: какие возможности концептуализации социального несет в себе эта метафора? Вернее, не метафора (в соответствии с его греческой этимологией, этот термин сам означает «пере-движение», «транспорт»), а, логичнее сказать, зона покрытия-крыши-колпака для реальности, то есть зона строго определенного типа доступа к бытию? Правда, и «доступ» есть метафора: к бытию никак не подступиться в фундаментально чистом, еще не оформленном виде.

всей совокупности лабораторной деятельности*. Все материальные операции по конструированию этого фона — например биопробы — выносятся за скобки при обсуждении фигур, появляющихся на переднем плане, в показаниях датчиков приборов^{2*}. Фон вещей, установок и операций лаборатории — *material background* — только и позволяет правильно понять ведущиеся дебаты и поступки ученых, но как условие этого понимания он сам не должен попадать в свет рассмотрения^{3*}. Фон необходим и для нового открытия, хотя новое изобретение кажется часто лишь следствием случайности. Шамберлен забыл питательную среду с культурой микробов, которые в результате этого были ослаблены, а Пастер все равно инфицировал этой культурой подопытных животных и получил эффект вакцины. Однако этого не случилось бы, если бы не было материального фона, целого поля для сравнения — лаборатории с чашками, в которых находятся контролируемые заразные культуры^{4*}. Пастер, активно подвергающий микробов испытаниям сил, здесь мало чем отличается от почвоведов, бережно собирающих образцы почв. У последних сопоставление фразы и ситуации тоже никогда не становится возможным само по себе, как это представляется в эпистемологических трактатах, а всегда только на фоне практик сбора, привоза, упорядочения материалов исследования^{5*}. Результат подобных перемещений — создание заднего плана, на фоне которого можно увидеть: «Скрытые в лесу чисто из-за своего количества, феномены наконец смогут явиться, то есть выступить из задних планов (*stand out against the backgrounds*), которые мы ловко сконструировали для них»^{6*}. Так и Пастер в эксперименте «выносит некоторые аспекты эксперимента на передний план, отправляя на задний (*back-grounding*) другие — подальше от света прожекторов»^{7*}.

Отличие этой концепции фона от обычной концепции фоновых практик¹⁵ заключается в активном конструировании фона руками ученых. Если фон повседневной жизни построен сменяющимися поколениями и потому часто неподвластен никому, отдельно взятому, то фон научной репрезентации собран руками самих ученых — медленно или быстро, тщательно или наспех. Поэтому научная группа

¹⁵ См.: Вадим Волков, «О концепции практик в социальных науках», *Социологические исследования*, 1997, № 6; Олег Хархордин, «Фуко и теория фоновых практик», в кн.: Хархордин, ред., *Мишель Фуко и Россия*. С.-Петербург; Москва: Европейский ун-т в С.-Петербурге: Летний Сад, 2001.

может его пересобрать, насколько это позволяют деньги, время и имеющиеся приборы: расширение сети и есть конструирование материального фона за счет выстраивания эквивалентностей. Первоначально увидят на этом фоне что-то осмысленное только те, кто вписан в подобные сети. А все остальные — только после всех 5 циклов производства нового элемента реальности, когда фон станет неподвластен даже лабораторным ученым и сеть затвердеет на уровне черных ящиков, доступных всем. Плазма — последний термин Латура — это то, что не заметно на этом фоне, то что не оформлено сетями в ряд заметных очертаний — форм. Именно неоформленная, но потенциально формуемая плазма дает возможности для пересборки заднего плана и появления новых феноменов на переднем плане*: без нее жизнь сводилась бы к движению по уже установленным путям, по циркуляции в уже протянутых проводах.

Латур сам занимается операциями по подготовке фона. Так, когда он писал «Лабораторную жизнь», он готовил специальный фон для описания того, что делают ученые в лаборатории, хотя сами ученые так никогда не описали бы свою деятельность^{2*}. Его аналогии и риторические приемы — «малые, но радикальные модификации фона», как он сам называл свои манипуляции^{3*}. Как я уже отмечал, можно сказать, что его текущая и более амбициозная задача — расширить сеть подобных практик фонообразования и с помощью черных ящиков сделать свое описание научной деятельности наиболее реалистичным, если не реально, очевидно для всех.

Философы лишь различным способом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы перевести его.

Олег Хархордин

БРУНО ЛАТУР Нового Времени не было эссе по симметричной антропологии

Элизабет и Люку

*RS244

^{2*}LL89

^{3*}LL251, 260

УМНОЖЕНИЕ ГИБРИДОВ

На четвертой странице моей ежедневной газеты читаю: в этом году меры, предпринимавшиеся над Антарктикой, не привели к положительным результатам: дыра в озоновом слое угрожающе растет. Продолжая чтение, перехожу от химиков, занимающихся проблемами высших слоев атмосферы, к генеральным директорам компаний «Атошем» и «Монсанто», занятым реконструкцией своих поточных линий, что должно помочь им избавиться от ни в чем не повинных хлорофлюорокарбонатов, обвиняемых в преступлениях против экосферы. Несколько абзацами ниже речь идет о лидерах развитых индустриальных стран, вмешивающихся в химическое производство, холодильную промышленность, производство аэрозолей и инертного газа. Однако внизу колонки обнаруживаю: метеорологи больше не соглашались с химиками, а говорят о циклических колебаниях. Теперь уже производители не знают, что им делать. Главы правительств также находятся в недоумении. Надо ли продолжать ждать? Или уже слишком поздно? А дальше — страны третьего мира и экологи добавляют свою ложку дегтя и говорят о международных договорах, правах будущих поколений, праве на развитие и мораториях.

Таким образом, в одной и той же статье смешиваются химические и политические реакции. Одна и та же нить связывает самую эзотерическую науку и самую низменную политику, бесконечно далекое небо и завод в пригороде Лиона, глобальную опасность, ближайшие выборы или грядущий административный совет. Масштабы, ставки, сроки, акторы здесь не сопоставимы друг с другом, и тем не менее они вовлечены в одну и ту же историю.

На шестой странице я узнаю, что парижский вирус СПИДа заразил вирус, полученный в лаборатории профессора Галло, и что, несмотря на это, господа Ширак и Рейган торжественно поклялись не ставить под сомнение историческое значение этого открытия, что химическая промышленность не торопится выпускать на рынок медикаменты, которых возмущенно требуют объединившиеся в воинствующие ассоциации больные СПИДом, что эпидемия распро-

страняется по черной Африке. И вновь главы правительств, химики, биологи, отчаявшиеся пациенты, промышленники оказываются вовлеченными в одну и ту же историю, в которой многие вопросы не имеют прямых ответов.

На восьмой странице речь идет о компьютерах и микросхемах, производство которых контролируется японцами, на девятой — о замороженных эмбрионах, на десятой — о лесных пожарах и о том, что расширяющееся дымовое облако грозит уничтожить редкие виды животных, на защиту которых уже встали некоторые натуралисты; на одиннадцатой странице читаю о китах, снабженных кольцами с прикрепленными к ним радиомаяками; там же выясняется, что отработанный террикон в северной Франции (вечный символ эксплуатации рабочих) теперь считается экологическим заповедником благодаря появлению там редкой флоры. На двенадцатой странице — Папа, епископы, **«Руссель-ю-клаф»**, фаллопиевы трубы, техасские фундаменталисты сгрудились вокруг противозачаточного средства. Страница четырнадцать: несколько строчек о телевидении с высокой степенью разрешения соединяют господина Делора, компанию **«Томсон»**, ЕЭС, комиссии по стандартизации, опять же японцев и продюсеров **телефильмов**. Немного измените стандартные параметры экрана — и вокруг вас закрутятся миллиарды франков, миллионы телевизоров, тысячи часов телефильмов, сотни инженеров, десятки директоров компаний.

К счастью, в газете можно найти и несколько успокаивающих страниц, где говорится о чистой политике (о съезде радикальной партии), а также книжное приложение, где романы поведают мне о волнующих приключениях глубокого внутреннего я (я тебя люблю, я тебя тоже нет).¹ Если бы не было этих безмятежных страниц, голова могла бы попросту закружиться. Дело в том, что количество этих статей-гибридов, говорящих нам о всякого рода запутанностях, статей, где переплелись науки, политики, экономики, права, религии, техники, литературы, постоянно увеличивается. И если чтение газеты — это молитва современного человека, то в таком случае очень странный человек возносит сегодня свои молитвы, читая обо всех этих запутанных делах. Вся культура и вся природа ежедневно перемешиваются на этих страницах.

¹ Имеется в виду знаменитая песня Сержа Генсбура «Je t'aime moi non plus». — Примеч. науч. ред.

Однако никого это не заботит. Разделы «Экономика», «Политика», «Науки», «Книги», «Культура», «Религия», «Происшествия» как ни в чем не бывало занимают свое место на газетном развороте. Мельчайший вирус СПИДа заставляет вас двигаться от секса к бессознательному, Африке, клеточным культурам, ДНК, Сан-Франциско, но исследователи, мыслители, журналисты и руководители разных уровней расчлняют тонкую сеть, прочерченную вирусом, на маленькие изолированные друг от друга сегменты, где мы найдем существующие по отдельности различные науки, экономику, социальные представления, происшествия, отдельно сострадание и отдельно секс. Нажмите кнопку самого невинного аэрозоля — и вы окажетесь в Антарктике, а оттуда попадете в калифорнийский Университет Ирвайн, на поточные линии Лиона, к химии инертного газа, а после, возможно, перенесетесь в ООН, но эта непрочная нить будет поделена на такое количество сегментов, сколько существует чистых дисциплин: не надо смешивать знание, интересы, справедливость и власть. Не надо смешивать небо и землю, глобальное и локальное, человека и нечеловеков. «Но, — скажете вы, — не сами ли эти запутанности создают подобное смешение и не из них ли соткан наш мир?» — «Пусть все будет так, словно бы их не существовало», — отвечают исследователи. Они просто взяли и разрубили Гордиев узел остро заточенным мечом. Связи распались: с левой стороны оказалось знание о вещах, с правой — интересы, власть и политика.

ВНОВЬ ЗАВЯЗЫВАЯ ГОРДИЕВ УЗЕЛ

Вот уже двадцать лет, как мои друзья и я изучаем эти странные ситуации, которые не в состоянии классифицировать та среда интеллектуалов, где мы обитаем. За неимением лучшей терминологии, мы называем себя социологами, историками, экономистами, политологами, философами и антропологами. Но к названиям всех этих почтенных дисциплин мы всякий раз добавляем стоящие в родительном падеже слова «наука» и «техника». В английском языке существует словосочетание *science studies*, или есть еще, например, довольно громоздкая вокабула «Наука, техника, общество». Каков бы ни был ярлык, речь всегда идет о том, чтобы столько раз, сколько потребуется, вновь завязать Гордиев узел, преодолевая разрыв, разделяющий точные знания и механизмы власти — пусть это называется природой и культурой. Мы сами являемся гибридами, кое-как обосновавшими-

ся внутри научных институций, мы — полуинженеры, полуфилософы, третье сословие ученого мира, никогда не стремившееся к исполнению этой роли, — сделали свой выбор: описывать запутанности везде, где бы их ни находили. Нашим вожатым является понятие перевода или сети. Это понятие — более гибкое, чем понятие «система», более историческое, чем понятие «структура», более эмпирическое, чем понятие «сложность», — становится нитью Ариадны для всех наших запутанных историй.

Однако наши работы, поскольку их делят на три области в соответствии с тремя обычными критическими категориями, остаются непонятными. Их превращают в исследования о природе, политике или дискурсе.

Когда Маккензи описывает инерционную систему наведения межконтинентальных баллистических ракет (MacKenzie, 1990), когда Каллон описывает электроды в топливном элементе (Callon, 1989), когда Хьюз описывает спираль лампы накаливания Эдиссона (Hughes, 1983a), когда я описываю бактерию сибирской язвы, ослабленную Пастером (Latour, 1984), или изучаю пептиды мозга Гиллемена (Latour, 1988a), наши критики воображают, что мы говорим о науке и технике. Поскольку все эти темы являются, на их взгляд, маргинальными или в лучшем случае демонстрируют только чисто инструментальное и калькулирующее мышление, на них могут не обращать внимания те, кто интересуется политикой или человеческими душами. Однако в этих исследованиях рассматривается не природа или знание, не вещи-в-себе, но то, как эти вещи вовлечены в наши коллективы и в наши субъекты. Мы ведем речь не об инструментальном мышлении, но о самой материи наших обществ. Говоря о системе наведения, Маккензи привлекает для этого весь американский флот, и даже говорит о некоторых депутатах; чтобы понять обмен ионов, происходящий на конце электрода, Каллон задействует «Электрисите де Франс» и «Рено», а также великие планы французской энергетической политики; исследуя нити накаливания эдисоновой лампы, Хьюз воссоздает всю Америку; когда речь идет о выведении бактерии Пастера, в поле зрения попадает все французское общество XIX века, и оказывается, что невозможно понять пептиды мозга, если не связать их с научным сообществом, инструментами, практиками, всевозможным оборудованием, очень мало напоминающими серое вещество и умственные операции подсчета.

«Но тогда вы, наверное, говорите о политике? Вы сводите научную истину к политическим интересам, а техническую эффектив-

ность к маневрам политиканов?» Вот второе недопонимание. Если факты не занимают того одновременно маргинального и сакрального места, которое им отводит наше почитание, их сразу же низводят до чисто локальных случайностей и видят в них какие-то жалкие махинации. Тем не менее мы говорим не о социальном контексте и не об интересах власти, а об их вовлеченности в коллективы и объекты. Такая организация, как военно-морской флот, переживает глубокие изменения благодаря взаимодействию, существующему между ее офисами и бомбами; «Электрисите де Франс» и «Рено» становятся качественно иными в зависимости от того, производят они инвестиции в топливные элементы или в двигатели внутреннего сгорания; Америка до и после появления электричества — это две разные страны; социальный контекст XIX века, который конституируется просто бедняками, и контекст, который конституируется бедняками, инфицированными микробами, — два разных контекста; что касается растянувшегося на кушетке субъекта бессознательного, то он может быть описан совершенно различным образом в зависимости от того, считаем ли мы, что сухой мозг пациента при этом испускает нейромедиаторы, или исходим из того, что его влажный мозг выделяет гормоны. Ни одно из наших исследований не может использовать то, что социологи, психологи или экономисты говорят нам о социальном контексте или о субъекте, чтобы применить это к конкретным вещам. Каждый раз контекст, как и человеческая личность, оказываются заново определенными. Так же как эпистемологи не признают больше в коллективизированных вещах, которые мы предлагаем их вниманию, идеи, понятия и теории, существовавшие во времена юности их дисциплины, так и гуманитарные науки не смогли бы признать в этих коллективах, разворачиваемых нами в поле зрения гуманитариев и наполненных вещами, властные игры своей некогда воинственной юности. Как слева, так и справа хрупкие сети, брошенные тонкой рукой Ариадны, остаются еще более невидимыми, чем прозрачная паутина.

«Но если вы не говорите ни о вещах-в-себе, ни о людях-между-собой, то, значит, вы говорите просто о дискурсе, репрезентациях, языке, текстах». Таково третье недопонимание. Тем, кто выносит за скобки внешний референт — природу вещей — и говорящего — прагматический или социальный контекст, — действительно остается говорить только о структурах смысла и языковых играх. Однако, когда Маккензи исследует эволюцию систем наведе-

дения, он говорит о таких устройствах, которые могут убить нас всех; когда Каллон изучает научные статьи, то, кроме промышленной стратегии, он говорит еще и о риторике (Callon, Law, 1986); когда Хьюз анализирует записные книжки Эдисона, то внутренний мир Менло Парка, о котором идет речь, вскоре должен стать внешним миром всей Америки; когда я описываю приручение микробов Пастером, то задействую все общество XIX века, а не только прибегаю к семиотическому анализу текстов великого человека; когда я описываю изобретение-открытие пептидов мозга, я действительно говорю о самих пептидах, а не просто об их репрезентации в лаборатории профессора Гиллемена. Тем не менее речь действительно идет о риторике, текстовой стратегии, письме, сценарии, семиотике, но только уже в новой форме, которая оказывает влияние одновременно на природу вещей и на общественный контекст, не сводясь при этом ни к тому ни к другому.

Действительно, наша интеллектуальная жизнь очень плохо устроена. Эпистемология, социология, науки о тексте могут рассчитывать получить место под солнцем только при условии, что будут оставаться обособленными друг от друга. Но если то, что вы исследуете, проходит сразу через три эти области, вас уже больше не понимают. Предложите вниманию уже укоренившихся дисциплин развернутую социотехническую сеть, наблюдаемые воочию переводы одного в другое — и первая группа — эпистемологи — извлечет оттуда все соответствующие понятия и вырвет с корнем все то, что могло бы соединить их с социальным контекстом или с риторикой; вторая группа извлечет социальное и политическое измерение и очистит сеть от какого бы то ни было объекта; наконец, третья сохранит дискурс, но очистит его от всяких неподобающих связей с реальностью и — *страшно сказать!* — с властными играми. Озоновая дыра над нашими головами, нравственный закон внутри нас, автономный текст — все это по отдельности еще может интересовать наших критиков. Но то, что тонкий челнок должен был связать воедино небо, индустрию, тексты, души и нравственный закон, остается невысказанным, неподобающим, неслыханным.

КРИЗИС КРИТИКИ

Для того чтобы говорить о нашем мире, критика разработала три различных подхода: натурализацию, социализацию и деконструкцию. Назовем лишь, даже если это будет не совсем справедливо, Шанже, Бурдьё, Деррида. Когда пер-

вый говорит о натурализованных фактах, то больше уже не существует ни общества, ни субъекта, никаких форм дискурса. Когда второй говорит о социологизированной власти, то уже нет ни науки, ни техники, ни текста, ни содержания. Когда третий говорит об эффектах истины, то верить в реальное существование нейронов мозга или властных игр было бы проявлением величайшей наивности. Каждая из этих форм критики могущественна сама по себе, но ее невозможно сочетать с двумя другими. Можно ли вообразить себе такое исследование, которое рассматривало бы озоновую дыру как нечто одновременно натурализованное, социологизированное или деконструированное? Такое исследование исходило бы из абсолютным образом установленной природы фактов, из предсказуемых стратегий власти, но в то же самое время речь в нем шла бы только о структурах смысла, создающих жалкие иллюзии природы и говорящего субъекта. Такая мешанина выглядела бы просто нелепо. Наша интеллектуальная жизнь будет *сохранять* свои узнаваемые формы столь же долго, сколько эпистемологи, социологи и *доконструктивисты* будут располагаться на положенном расстоянии друг от друга, питая свою критику слабостями двух других подходов. Возвеличивайте науки, разворачивайте игры власти, поднимайте на смех веру в реальность, но не смешивайте эти три едкие кислоты.

Итак, одно из двух: либо сети, которые мы развернули, не существуют на самом деле и критика имеет все основания считать исследования науки маргинальными или разделить их на три различные совокупности — факты, власть, дискурс, либо сети таковы, какими мы их описали, и они подрывают границы великих феодальных владений критики, не будучи ни объективными, ни социальными, ни простым порождением дискурса, но являясь одновременно и реальными, и коллективными, и дискурсивными. Либо это мы должны исчезнуть — мы, приносящие дурные вести, — либо это сама критика должна оказаться в кризисе из-за этих сетей, о которые она ломает себе зубы. Научные факты *конструируются*, но они не могут быть сведены к *социальному измерению*, поскольку последнее само наполнено предметами, мобилизованными для его постройки. Агент этой двойной конструкции возникает из совокупности практик, которую понятие «деконструкция» схватывает настолько плохо, насколько это только возможно сделать. Озоновая дыра слишком социальна и слишком часто выступает предметом обсуждений, чтобы представлять из себя нечто в самом деле отно-

сящееся к природе; стратегия фирм и государственных руководителей слишком наполнена химическими реакциями, чтобы быть сведенной только к власти и к интересам; дискурс экосферы слишком реален и слишком социален, чтобы быть сведенным только к эффектам смысла. Наша ли это вина, что сети являются одновременно реальными, как природа, разворачиваемыми, как дискурс, коллективными, как общество? Должны ли мы следовать логике этих сетей и отказаться от ресурсов критики или отказаться от сетей и присоединиться к здравому смыслу трех критических дисциплин? Наши бедные сети напоминают курдов, поделенных между иранцами, иракцами и турками, курдов, которые, когда наступает ночь, переходят границы, сочетаются друг с другом брачными узами и грезят об общей родине, которую надо отвоевать у трех стран, разделивших ее между собой.

Эта дилемма была бы неразрешимой, если бы антропология уже давно не приучила нас рассматривать — без всяких кризисов и без всякой критики — ткань «природа—культура», в которой отсутствуют какие бы то ни было швы. Даже наиболее рационалистически мыслящий этнограф, оказавшись за тридевять земель, вполне способен объединить в одной и той же монографии мифы, этнонауку, генеалогии, политические формы, техники, религии, эпосы и обряды тех народов, которые он изучает. Отправьте его к арапешам или ашуарам, корейцам или китайцам — и вы получите один-единственный нарратив, связывающий в одно целое небеса, предков, форму жилища, культивирование иньема, маниоки или риса, обряды инициации, формы правления и космологии. У антропологов нет ни одного элемента, который не был бы одновременно реальным, социальным и рассказанным.

Если антрополог достаточно проникателен, он прочертит вам сети, в точности напоминающие социотехнические сплетения, которые мы намечаем для наших собственных обществ, описывая микробы, баллистические ракеты или топливные элементы. Мы и сами боимся того, что небеса упадут нам на голову. Мы и сами связываем простейшее движение руки, жмушей на кнопку аэрозоля, с запретами, касающимися неба. Мы и сами должны принимать в расчет законы, власть и мораль, чтобы понимать то, что наши науки говорят нам по поводу химии высоких слоев атмосферы.

Да, но мы не дикари, и никакой антрополог не изучает нас таким образом, и с нашей собственной природой—культурой совершенно невозможно сделать то, что можно делать в другом про-

странстве, у других. Почему? Потому что мы являемся людьми Нового Времени (*modernes*). Наша ткань изначально содержит в себе швы. Увязанность анализа всего мира в единое целое становится невозможной. Для традиционных антропологов не существует, не может, не должно быть антропологии нововременного мира (Latour, 1988b). Различные этнонауки могут быть частично связаны с обществом и дискурсом, но нововременная наука не может иметь с ними никакой связи. И как раз в силу того, что мы оказываемся неспособными изучать самих себя, мы оказываемся столь проникательными и столь отстраненными, когда отправляемся в тропики изучать других. Три критических дисциплины делят мир на части, защищают нас и допускают увязанность анализа в одно целое только в отношении всех тех, кто находится в доновременном состоянии. Наша способность быть этнографами прочно основывается именно на этом триумвирате. Он придает нам отвагу.

Теперь наша дилемма приобрела другой вид: либо создать антропологию нововременного мира невозможно — и мы вправе последовательно игнорировать тех, кто претендует на то, чтобы дать прибежище социотехническим сетям; либо это все же возможно осуществить, но в таком случае само определение нововременного мира должно быть изменено. Мы переходим от ограниченной проблемы — почему сети остаются неуловимыми? — к более широкой и более классической проблеме: что такое «модерн», Новое Время? Пытаясь выяснить, откуда берется удивление наших старших поколений по поводу тех сетей, которые, как мы считаем, связывают наш мир воедино, мы открываем антропологические корни этого непонимания. К счастью, в этом нам помогают те значительные события, которые хоронят старого крота критики в его же собственной норе. И если становится возможным рассматривать нововременный мир антропологическим образом, то только потому, что с ним что-то произошло. Еще со времен салона госпожи де Германт мы знаем — необходимы катаклизмы вроде Первой мировой войны, чтобы интеллектуальная культура хотя бы немного изменила свои привычки и допустила к себе тех выскочек, которых раньше не замечала.

ЧУДЕСНЫЙ ГОД - 1989-й

Все даты условны, но дата «год 1989-й» — условна чуть меньше, нежели все остальные. Для наших современников крушение берлинской стены символизирует крушение социализма. «Торжество либерализма, капитализма, западной

демократии над тщетными надеждами марксизма» — таково победное **коммунике** тех, кто едва спасся от ленинизма. Желая искоренить эксплуатацию человека человеком, социализм безмерно ее увеличил. Эта странная диалектика, которая воскрешает эксплуататора и хоронит его могильщика, преподала миру урок крупномасштабной гражданской войны. Вытесненное возвращается и возвращается вдвойне: эксплуатируемый народ, от имени которого правил авангард пролетариата, вновь остается ни с чем; хищные элиты, власть которых, как многие надеялись, ушла в прошлое, возвращаются во всей своей силе, чтобы опять приняться за свою старую работу эксплуататоров в банках, фирмах и заводах. Либеральный Запад уже не помнит себя от радости. Он выиграл «холодную войну».

Но этот триумф оказался непродолжительным. Проведенные в том же знаменитом 1989 году в Париже, Лондоне и Амстердаме первые конференции, посвященные глобализму, символизировали для некоторых наблюдателей конец капитализма и крушение тщетных надежд на безграничное покорение природы и полное господство над ней. Желая перевести эксплуатацию человека человеком в эксплуатацию природы человеком, капитализм бесконечно усилил и то и другое. Вытесненное возвращается, и возвращается вдвойне: бесчисленное количество тех, кого хотели спасти от смерти, сотнями миллионов снова впадают в нищету; природа, которую мы хотели полностью подчинить своей власти, точно таким же глобальным образом господствует теперь над нами, источая угрозу всему миру. Это странная диалектика, превращающая раба в господина и всемогущего повелителя, диалектика, неожиданно открывающая нам, что мы изобрели экоцид, точно так же, как мы изобрели голод, поражающий миллионы.

Полная симметрия между крушением постыдной берлинской стены и исчезновением безграничной природы остается скрытой только для богатых западных демократий. Действительно, социализм в различных своих вариантах довел свои народы и свои экосистемы до бедственного состояния, тогда как политические системы Северо-Запада смогли спасти свои народы и некоторые из своих ландшафтов, разрушая весь остальной мир и ввергая другие народы в нищету. Такова двойная трагедия: бывшие социалистические общества верят, что смогут избавиться от двух зол, подражая Западу, а Запад, в свою очередь, верит, что ему удалось избежать обоих зол и что он может преподавать урок другим, в то время как

сам обрекает землю и людей на верную гибель. Он верит в то, что является единственным, кто знает хитрость, позволяющую ему выигрывать до бесконечности, тогда как, возможно, он уже все проиграл.

После того как наши благие намерения дважды увели нас в сторону с верного пути, мы, люди Нового Времени, кажется, несколько утратили доверие к самим себе. Может, не следовало пытаться прекратить эксплуатацию человека человеком? Может быть, не надо было пытаться стать хозяином и властителем природы? Наши самые высокие добродетели были поставлены на службу этой двойной задаче, одну часть которой составляет политика, другую — наука и техника. И однако, мы охотно обратились бы к нашей восторженной и здравомыслящей молодежи с тем же самым вопросом, с которым молодые немцы обращаются к своим седовласым родителям: «Каким преступным приказам мы повиновались?» «Будем ли мы говорить, что ничего не знали?»

Это сомнение в обоснованности самых лучших намерений приводит некоторых из нас к тому, чтобы стать реакционерами двух разных толков: не надо стремиться к тому, чтобы положить конец господству человека над человеком, говорят одни; не надо стремиться к тому, чтобы господствовать над природой, говорят другие. Давайте будем решительно **антинововременными**, **антимодернистами**, говорят они все вместе.

С другой стороны, расплывчатые высказывания постмодернистов — то есть **постнововременных** — подводят итог не доведенному до конца скептицизму тех, кто отвергает обе эти реакционные позиции. Неспособные полностью уверовать в двойное обещание социализма и «натурализма», люди постмодерна одновременно удерживаются и от того, чтобы полностью их отвергнуть. Ожидая конца тысячелетия, они остаются в подвешенном состоянии между верой и сомнением.

Наконец, те, кто отвергают экологический или антисоциалистический обскурантизм и кто не может удовлетвориться постмодернистским скептицизмом, решают как ни в чем не бывало продолжать быть неуклонно нововременными. Они продолжают верить либо в то, что сулит им наука, либо в то, что обещает эмансипация, либо в то и другое сразу. Однако их вера в модернизацию уже не выглядит такой искренней ни в искусстве, ни в экономике, ни в политике, ни в науке, ни в технике. В картинных галереях и концертных залах, в архитектуре фасадов и институтах экономического и

политического развития ощущается, что накал модернизаторского и нововременного порыва уже не тот. Воля к новому — воля жить в нововременном и модернизированном обществе — кажется отягощенной сомнениями и порой даже старомодной.

Какие бы позиции мы ни занимали — анти-, про- или постнововременные, все они поставлены под сомнение этим двойным крушением, произошедшим в чудесном 1989 году. Но если мы рассмотрим 1989 год именно как двойное поражение, как два урока, потрясающая симметрия которых позволяет нам иным образом подойти ко всему нашему прошлому, то наша мысль получит свое продолжение.

А что если мы так никогда и не были нововременными, никогда не жили в Новом Времени? В таком случае стала бы возможной сравнительная антропология наших обществ. Сети обрели бы свою родину.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ НОВОВРЕМЕННЫМ?

У понятия «Новое Время» — состояния модерна и модернизации — столько же значений, сколько существует мыслителей или журналистов. Однако все определения так или иначе указывают на некое движение времени. Прилагательным «нововременное» обозначают какой-то новый порядок, ускорение, разрыв, революцию в течении времени. Когда появляются слова «нововременной», «модернизация», «модерн», то мы определяем прошлое, архаичное и устойчивое по контрасту с ними. Более того, это слово всегда произносится в ходе полемики, в ссоре, где существуют выигравшие и проигравшие, «Древние» и «Новые» (Modernes).¹ Слово «нововременные» оказывается дважды асимметричным: оно обозначает разлом, образовавшийся в обычном движении времени; оно обозначает битву, в которой есть победители и побежденные. И если столько людей, живущих в настоящий момент, с сомнением используют это прилагательное, если мы сегодня уточняем его с помощью приставок «до-» «анти-» или «пост-», то происходит это потому, что мы чувствуем себя не столь уверенными в своей способности поддерживать эту двойную асимметрию: мы больше

¹ Здесь Латур отсылает к дебатам, которые в XVIII веке велись об античном наследии (см.: Спор о Древних и Новых, М.: Искусство, 1985, ред. В.Я. Бахмутский. — Примеч. науч. ред.).

не можем ни указать направление необратимого движения времени, ни присудить награду победителям. В бесчисленных столкновениях Древних и Новых первые оказываются победителями столько же раз, сколько и последние, и ничто не позволяет нам сказать наверняка, подводят ли революции черту под старыми режимами или являются их окончательным воплощением. Отсюда и скептицизм, странно называемый «пост-»-модерном, хотя этот скептицизм даже не знает, способен ли он прийти на смену нововременному состоянию.

Вернувшись на несколько шагов назад, мы должны снова продумать определение Нового Времени, интерпретировать симптом постнововременности и уяснить, почему в душе мы больше не стремимся к достижению двойной цели господства и эмансипации. Нужно ли сдвинуть со своих мест небо и землю, чтобы дать место сетям науки и техники? Да, именно, небо и землю.

Гипотеза, выдвинутая в этом эссе, — а слово *essai* здесь обозначает как гипотезу, так и попытку, — состоит в том, что слово «нововременное» обозначает две совокупности совершенно различных практик, которые, чтобы быть эффективными, должны оставаться различными, но которые не так давно перестали отличаться друг от друга. Первая совокупность практик создает посредством «перевода» (*traduction*) такие смешения, в которые входят существа совершенно нового типа, гибриды природы и культуры. Вторая совокупность посредством «очищения» создает две совершенно различные онтологические зоны, одну из которых составляют люди, другую — «нечеловеки» (*non-humains*). Без первой совокупности практики очищения были бы бесплодными или бездейственными. Без второй работа перевода была бы замедлена, ограничена или даже оказалась бы под запретом. Первая совокупность соответствует тому, что я назвал сетями, вторая — тому, что я назвал критикой. Первая, например, объединяет в непрерывной цепи химию верхних слоев атмосферы, научные и промышленные стратегии, озабоченность государственных деятелей, тревоги экологов; вторая устанавливает разделение между миром природы, который был всегда, обществом с его предсказуемыми и неизменными интересами и дискурсом, независимым как от означаемого, так и от общества.

Пока мы рассматриваем эти два типа практик отдельно, мы являемся действительно нововременными, то есть мы в полной мере признаем значимым только проект критического очищения, хотя в действительности этот проект развивается только за счет размно-

жения гибридов. Как только мы, наконец, одновременно направляем наше внимание на работу очищения и работу гибридизации, мы немедленно перестаем быть полностью нововременными и наше будущее начинает изменяться. В тот же самый момент мы перестаем быть нововременными даже в прошлом, поскольку задним числом осознаем, что две совокупности практик всегда существовали в тот исторический период, который теперь подходит к своему завершению. Наше прошлое начинает изменяться. Наконец, если мы никогда не были нововременными, по крайней мере в том виде, как нам об этом вещает критика, то мучительные отношения, поддерживаемые нами с другими **природами—культурами**, тоже окажутся трансформированы. Релятивизм, господство, империализм, нечистая совесть, синкретизм были бы объяснены другим образом, что привело бы к видоизменению сравнительной антропологии.

Какая же связь существует между работой перевода (или медиации) и работой очищения? Этот вопрос я и хотел бы прояснить. **Гипотеза**, которая носит еще слишком предварительный характер, состоит в том, что второе сделало возможным первое. Чем больше мы запрещаем себе думать о гибридах, тем больше становится возможным их скрещивание — таков парадокс Нового Времени, который, наконец, позволяет осознать ту исключительную ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Второй вопрос касается доновременного существования, других видов **природы—культуры**. Если говорить упрощенно, то гипотеза здесь заключается в том, что, направляя свою мысль на гибриды, **доновременные** миры пресекли их умножение. Возможно, именно это различие объясняет возникновение Великого Разлома между ними и нами и позволит, наконец, решить неразрешимую проблему релятивизма. Третий вопрос касается кризиса, имеющего место в настоящий момент: если Новое Время было настолько эффективно в этой своей двойной работе очищения и умножения, почему оно ослаблено сегодня и не дает нам возможности быть истинно нововременными? Отсюда и последний вопрос, который является также и самым сложным: если мы прекратили быть нововременными, если мы не можем больше отделить работу по умножению гибридов от работы по очищению, то кем же нам тогда предстоит стать? Можем ли мы желать Просвещения без или вне Нового Времени? Гипотеза, также слишком приблизительная, состоит в том, что мы должны будем замедлить, изменить направление и регулировать умножение монстров, признав их официально и дав им право официального

представительства. Потребуется ли нам другая демократия? Демократия, распространенная и на сами вещи? Чтобы ответить на все эти вопросы, я должен буду просеять и рассортировать качества до-, пост- и просто нововременного мира — качества жизнеспособные и губительные. Слишком много вопросов для эссе — я и сам это осознаю, — единственным извинением которого является **его** краткость. Ницше говорил, что великие проблемы — это как холодная ванна: туда надо быстро входить и быстро выходить.

2. КОНСТИТУЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ, или УСТРОЙСТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Новое Время часто определяют, используя понятие «гуманизм», — идет ли речь о том, чтобы приветствовать рождение нового человека или чтобы возвестить о его смерти. Но привычка поступать таким образом сама по себе является нововременной, поскольку носит асимметричный характер. При этом забывают, что вместе с рождением человека на свет появляется и «не-человечество» — вещи, объекты или звери и не менее странный, отграниченный от нас и находящийся вне игры Бог. Сначала Новое Время представляет собой результат совместного проявления этих трех общностей, затем — сокрытия их совместного рождения и попытки трактовать каждую из них по отдельности, в то время как под всеми этими общностями гибриды, как следствие такого способа объяснять все по отдельности, продолжают умножаться. Нам предстоит восстановить, с одной стороны, это разделение на «верх» и «низ», а с другой — разделение между людьми и нечеловеками.

Эти два типа разделения можно сопоставить с тем, как отличаются друг от друга две ветви власти — судебная и исполнительная. Положение о разделении властей не в состоянии описать многочисленные связи, перекрещивающиеся влияния, постоянный торг, который ведут между собой судьи и политики. И однако, тот, кто стал бы отрицать эффективность этого разделения, совершил бы ошибку. Нововременное деление мира на природу и общество имеет тот же самый основополагающий характер, с тем только отличием, что до сих пор никто не взял на себя задачу изучить политиков и ученых в их симметричном соотношении друг с другом, поскольку казалось, что между ними не существует никакого общего знаменателя. В некотором смысле статьи основного закона, касающиеся двух типов деления мира надвое, были составлены настолько хорошо, что результаты такого разделения стали рассматриваться как имеющие сущностное, онтологическое различие. Но стоит только кому-нибудь очертить это симметричное пространство и таким образом восстановить общее понимание мира, которое задает его

деление на природу и политику, как он сразу же перестает быть нововременным.

Общий текст, задающий такое понимание и такое разделение властей надвое, мы называем Конституцией. Кто должен ее писать? Если говорить о политических конституциях, то эта задача ложится на юристов, но они сделали пока что только одну четверть своей работы, поскольку начисто забыли как о власти науки, так и о работе гибридов. Если говорить о природе вещей, то эта задача была возложена на ученых, но они выполнили только еще одну четверть всей работы, поскольку притворяются, что забыли о политической власти, и отрицают, что гибриды имеют какую-либо значимость, при этом постоянно способствуя их размножению. Если говорить о работе перевода, то эта задача стояла перед теми, кто изучает сети, но они выполнили только половину своих обязанностей, поскольку не дают никаких объяснений работе очищения, которая скрыто происходит за этими сетями и которая объясняет умножение гибридов.

До сих пор антропологии, когда это касалось экзотических коллективов, успешно удавалось описывать все разом. Действительно, как я уже говорил, каждый этнолог способен представить в одной и той же монографии определение действующих сил, распределение полномочий между людьми, богами и нечеловеками, процедуры достижения соглашений, связи между религией и властью, предков, космологию, права собственности и классификации растений или животных. Этнолог, разумеется, не станет писать три книги — одну о знаниях, другую о власти, наконец, третью о практиках. Он напишет только одну книгу, вроде той великолепной монографии, в которой Филипп Деколя пытается обобщить Конституцию амазонского племени ашуар:

Ашуары, однако, неполностью включили природу в символические сети своего домашнего, прирученного мира. Конечно, культурное поле является здесь всеобъемлющим, поскольку там оказываются животные, растения и духи, которые в других обществах южноамериканских индейцев помещаются в сферу природы. Следовательно, мы не находим у ашуаров этой антиномии между двумя закрытыми и непримиримо противопоставленными друг другу мирами: культурным миром человеческого общества и природным миром животного общества. И все же есть момент, когда континуум социальности прерывается, чтобы уступить место дикому миру, непримиримо чуждому для человека. Несравнимо более узкий, чем сфера

культуры, этот маленький сегмент природы включает в себя вещи, с которыми не может быть установлена коммуникация. Сущностям, обладающим языком (*aents*), наиболее совершенным воплощением которых являются люди, противостоят немые вещи, которые населяют параллельные и недоступные нам миры. Невозможность вступать в коммуникацию часто объясняется отсутствием души (*wakan*), что характеризует некоторые виды живых существ: большую часть насекомых и рыб, домашних животных и большое количество растений, которые, таким образом, наделены механическим и бездумным существованием. Но отсутствие коммуникации иногда порождено расстоянием; душа звезд и метеоров, бесконечно далекая и невероятно подвижная, остается глухой к человеческим речам (Descola, 1986 p. 399).

Задача антропологии нововременного мира состоит в том, чтобы точно таким же образом описать, как организованы все ветви нашего правления, включая природу и точные науки, и объяснить, как и почему эти ветви разделяются и каковы те многочисленные способы регулирования, которые позволяют собрать их воедино. Этнолог, изучающий наш мир, должен занять свое место в той общей точке, где распределяются роли, действия, компетенции, — все то, что позволяет определить одну единицу как животное или как материю, а другую — как субъект права, одну — как наделенную сознанием, а другую — как механическую, бессознательную или лишенную какой бы то ни было компетенции. Он должен еще и сопоставить различные способы определять или не определять материю, право, сознание и душу зверей, но не отталкиваться при этом от нововременной метафизики. Подобно тому как конституция юристов определяет права и обязанности граждан и государства, функционирование судебных инстанций и передачу властных полномочий, так и Конституция — слово, которое я пишу здесь с большой буквы, чтобы отличить ее от политической конституции, — определяет людей и нечеловеков, их особенности и отношения, их компетенции и их объединения.

Как описать эту Конституцию? Я выбрал наиболее характерную ситуацию, имевшую место в самом начале составления этой Конституции, в середине XVII века, — когда ученый Роберт Бойль и политический философ Томас Гоббс начали свой спор по поводу распределения научной и политической власти. Такой выбор мог бы показаться необоснованным, если бы одна замечательная книга уже не начала борьбу с делением мира на общество и природу,

которая этому обществу неподвластна. Бойль со своими последователями и Гоббс со своими учениками будут служить мне в качестве символа и возможности обобщения истории, значительно более длинной, чем та, которую я сейчас могу проследить сам, но которую другие, оснащенные лучше меня, возможно, проследят до самого конца.

БОЙЛЬ И ЕГО ОБЪЕКТЫ

Мы не воспринимаем политику как нечто внешнее по отношению к научной сфере и как то, что могло бы, так сказать, отпечататься в ней. Экспериментальное сообщество [созданное Бойлем] активно боролось за то, чтобы навязать такой словарь, который устанавливал бы границы этой сферы, и мы старались определить место этого языка в истории и объяснить развитие этих новых дискурсивных конвенций. Если мы хотим, чтобы наше исследование было последовательным с исторической точки зрения, нам необходимо воздержаться от того, чтобы нерелексивно использовать язык этих акторов для наших собственных объяснений. Мы как раз пытаемся понять и объяснить этот язык, позволяющий рассматривать политическое как нечто внешнее по отношению к науке. Издесь мы сталкиваемся с ощущением, которое является общим для историков науки, утверждающих, что они уже давно преодолели понятия «внутреннего» и «внешнего» в отношении к своему предмету. Огромное заблуждение! Мы только начинаем осознавать проблемы, поставленные этими разграничивающими конвенциями. Каким образом, в исторической перспективе, деятели науки распределяли элементы, согласно своей системе разграничения (отличающейся от нашей), и как мы можем эмпирически исследовать те способы, которыми они для этого пользовались? Вещь, которую называют «наукой», не содержит никаких демаркационных линий, которые можно было бы считать ее естественными границами (Shapin, Schaffer, 1985, p. 342).

Эта длинная цитата, взятая из конца книги Стивена Шейпина и Саймона Шэффера, знаменует собой подлинное начало сравнительной антропологии, которая со всей серьезностью принимает за изучение науки (Latour, 1990c). Авторы не пытаются показать, как социальный контекст Англии может объяснить развитие физики Бойля и крах математических теорий Гоббса, а принимаются за само основание политической философии. Вместо того чтобы «помещать научные исследования Бойля в их социальный контекст» или показывать, как политика «оставляет свой след» в содержании научных теорий, они исследуют, как Бойль и Гоббс сражались друг

с другом, чтобы изобрести науку, контекст и границу между ними. Шейпин и Шэффер не готовы объяснять содержание через контекст, так как ни то ни другое не существовало в нынешнем, новом виде до того момента, как Бойль и Гоббс достигли каждый своей цели и разрешили свои противоречия.

Изящество их книги состоит в том, что они отыскивали научные труды Гоббса, которые игнорировались политологами, поскольку последних приводили в замешательство дикие математические измышления их героя; с другой стороны, они извлекли из забвения политические теории Бойля, которые игнорировались историками науки, предпочитавшими скрывать организаторские порывы последнего. Вместо асимметрии и разделения — дать Бойлю науку, а Гоббсу — политическую теорию, Шейпин и Шэффер представляют нам довольно красивый квадрант: за Бойлем остается наука и политическая теория; за Гоббсом — политическая теория и наука. Квадрант этот не был бы так интересен, если бы главные герои этих двух историй мыслили совершенно различным образом — если бы, например, один был философом в духе Парацельса, а другой — законоведом в духе Бодена. Но, к счастью, они сходятся друг с другом почти во всем. Оба ратуют за короля, Парламент, за послушную единую Церковь, и оба являются пылкими приверженцами механицизма. Но хотя оба они являются последовательными рационалистами, их мнения расходятся в отношении того, чего следует ждать от эксперимента, научного доказательства, форм политической аргументации и в первую очередь от воздушного насоса — подлинного героя этой истории. Расхождения между двумя этими людьми, которые во всем остальном сходятся друг с другом, делают их идеальными «дрозофилами» для новой антропологии.

Бойль наиболее последовательным образом воздерживался от того, чтобы говорить о вакуумном насосе. Для того чтобы внести порядок в споры, которые последовали за открытием торричеллиевых пустот, образующихся в верху ртутного столба, опрокинутого в резервуар с той же самой субстанцией, он хотел только вычислить вес и сопротивление воздуха, не участвуя в полемике, которую вели между собой сторонники существования эфира и сторонники теории вакуума. Аппарат, который он разрабатывает на основе аппарата Отто фон Герике и который позволял постоянно откачивать воздух из прозрачного стеклянного сосуда, по своей стоимости, сложности и новизне может рассматриваться как наи-

более совершенное физическое оборудование, существующее на тот момент. Это уже *Big Science*. Наиболее существенное преимущество аппаратуры Бойля состоит в том, что благодаря стеклянным стенкам она дает возможность видеть то, что происходит внутри, и вводить внутрь новые образцы или даже манипулировать ими благодаря ряду незамысловатых механизмов, таких как шлюзовые камеры и крышки. Однако поршни насоса, плотные стекла и сами резиновые прокладки были еще недостаточно высокого качества. Поэтому Бойль вынужден существенно расширять свои технологические поиски, чтобы иметь возможность провести опыт, который интересовал его более всего, — опыт, который доказывал бы существование пустоты в пустоте. Он помещает трубу Торричелли внутрь замкнутого пространства стеклянного насоса и получает таким образом первое пространство на вершине перевернутой трубы. Затем один из его техников, которого, впрочем, никто не видит (Shapin, 1991b), приводит насос в действие и выкачивает оттуда такое количество воздуха, которое необходимо для того, чтобы уровень ртутного столба оказался почти что на уровне ртути в резервуаре. Бойль проведет десятки экспериментов внутри замкнутой камеры своего насоса, пытаясь установить существование эфирного ветра, наличие которого утверждалось его противниками, а также объяснить, что заставляет соединяться мраморные цилиндры, задыхаться находящиеся внутри стеклянного колпака маленьких животных и гаснуть свечи, — опыты, ставшие впоследствии популярными благодаря занимательной физике XVIII века.

В то время как на дворе бушевала целая дюжина гражданских войн, Бойль выбирает такой метод аргументации — аргументацию через мнение, — который был высмеян еще старой схоластической традицией. Бойль и его коллеги отказываются от достоверности, присущей аподейктическому суждению, в пользу *doxa*, простого мнения. Теперь эта *doxa*, однако, больше уже не плод бредовых фантазий наивных масс, но новый механизм завоевания поддержки у знатных особ. Вместо того чтобы основываться на логике, математике или риторике, Бойль опирается на параюридическую метафору: заслуживающие доверия, состоятельные и достойные уважения очевидцы, собравшиеся вокруг сцены, на которой проводится опыт, могут свидетельствовать о существовании факта, *the matter of fact*, даже если сами они ничего не знают о его подлинной природе. Таким образом, Бойль изобретает эмпирический стиль, которым мы пользуемся и по сей день (Shapin, 1991a).

Бойль нуждается не во мнении этих избранных представителей благородного сословия, но в наблюдении феноменов, произведенных искусственным образом в замкнутом и защищенном пространстве лаборатории. По иронии судьбы, Бойль стремится поднять и решить ключевой вопрос конструктивистов — являются ли факты полностью сконструированными в лаборатории или нет? Да, факты действительно конструируются благодаря новому оборудованию лаборатории и искусственному посреднику — насосу. Уровень торричеллиевского столба, помещенного в прозрачный корпус насоса, который приводится в действие запыхавшимися техниками, действительно понижается. «Факты фабрикуются», — как сказал бы Гастон Башляр. Но не являются ли ложными те факты, которые созданы человеком? Нет, поскольку Бойль, так же как и Гоббс, распространяет на человека «конструктивизм», присущий божественному началу: Бог знает о вещах все, поскольку сам их создает (Funkenstein, 1986). Мы знаем природу фактов, поскольку они получены при таких обстоятельствах, которые находятся под нашим полным контролем. Наша слабость оказывается силой в том случае, если только мы ограничимся знанием инструментализованной природы фактов и оставим в стороне объяснение причин. И вновь Бойль превращает недостаток — мы производим только *matters of fact*, созданные в лабораториях и обладающие только локальной ценностью, — в решительное преимущество: эти факты никогда не изменятся, что бы ни происходило в любом другом месте — в теории, метафизике, религии, политике или логике.

ГОББС И ЕГО СУБЪЕКТЫ

Гоббс отрицает весь механизм аргументации Бойля. Как и Бойль, он хочет остановить гражданскую войну, и точно также хочет лишить как просвещенных джентльменов, так и простой народ права свободно толковать Библию. Но своей цели он хочет добиться как раз за счет унификации политического тела. Суверен, порождаемый договором, этот смертный Бог, «которому мы, под владычеством бессмертного Бога, обязаны своим миром и своей защитой», является лишь представителем множества. «Ибо единство лица обуславливается единством представителя, а не единством представляемых». Гоббс обуреваем идеей этого единства Лица (Person), которое, как он выражается, есть Представитель (Actor), «которого мы, прочие граждане, создали

как доверители» (Hobbes, 1971).¹ Именно благодаря такому единству и не может существовать никакой трансценденции, никакого доступа к Богу. Гражданские войны будут свирепствовать до тех пор, пока существуют сверхъестественные сущности, к которым граждане будут чувствовать себя вправе обращаться, когда сами они преследуются властями этого низменного мира. Верность идеалам старого средневекового общества — Богу и Королю — больше невозможна, если каждый сможет обращаться к Богу сам по себе или назначить себе короля. Гоббс хочет полностью изжить всякие призывы к сущностям, превосходящим гражданскую власть. Он хочет воссоздать католическое единство, закрывая при этом все доступы к божественной трансценденции.

Для Гоббса власть есть знание; это означает, что если мы хотим положить конец гражданским войнам, то должны существовать только одно знание и только одна власть. Поэтому большая часть гоббсовского Левиафана посвящена толкованию Ветхого и Нового Завета. Одна из самых больших опасностей для гражданского мира проистекает из веры в нематериальные тела, в такие, например, как духи, призраки или души, к которым люди обращаются, чтобы противостоять решениям, принимаемым гражданской властью. Антигона могла представлять собой опасность, когда провозглашала превосходство благочестия над *raison d'Etat* («государственным интересом») Креона; уравниатели, левеллеры и диггеры являются еще более опасными, когда они взывают к материи как к активной силе и к свободной интерпретации Библии, чтобы перестать повиноваться своим законным правителям. Инертная и механическая материя столь же важна для гражданского мира, как символическая интерпретация Библии. В обоих случаях необходимо любой ценой избежать того, чтобы мятежные фракции могли обращаться к высшей Сущности — Природе или Богу, которую правитель не может контролировать полностью.

Этот редукционизм не ведет к тоталитаризму, поскольку Гоббс соотносит его с самим Государством (*Republique*): правитель всегда только лишь представитель (Actor), назначаемый в соответствии с общественным договором. Не существует божественного права или высшей инстанции, к которой правитель мог бы обратиться для того,

¹ См. также русскоязычное издание: Томас Гоббс, Левиафан, Собрание сочинений: В 2 т. М., Мысль, 1965, т. 2, с. 196, пер. А. Гутермана.

чтобы действовать так, как он этого хочет, и уничтожить Левиафана. В этом новом режиме, где знание приравнивается к власти, все оказывается урезанным: суверен, Бог, материя и множество. Гоббс превращает даже своей собственной науке о Государстве превратиться в апелляцию к какой бы то ни было трансценденции. Всех своих научных результатов он достигает, используя не мнение, наблюдение или откровение, а математическое доказательство — единственный метод аргументации, способный принудить к согласию каждого; и такое доказательство осуществляется не трансцендентальными расчетами, как это делает платоновский Царь, но при помощи одних только вычислительных инструментов, механического мозга, компьютера еще до его появления. Даже знаменитый общественный договор является лишь итогом подсчетов, к которому внезапно приходят запуганные граждане, стремящиеся преодолеть естественное состояние. Таков тот конструктивизм, которому Гоббс придал обобщенную форму и который был призван прекратить гражданские войны: никакой трансценденции, чем бы она ни была, никакого обращения ни к Богу, ни к активной материи, ни к власти божественного права, ни даже к математическим идеям.

Теперь все уже готово для столкновения между Гоббсом и Бойлем. И вдруг после того, как Гоббс осуществил редукцию политического тела и свел его в одно целое, откуда-то появляется Королевское Общество, чтобы снова все разделить: несколько благородных джентльменов провозглашают свое право иметь независимое мнение в закрытом пространстве лаборатории, над которой государство не имеет никакого контроля. И если эти мятежники достигают согласия, то происходит это не на основании математического доказательства, с которым пришлось бы согласиться всем, но на основании опытов, наблюдаемых при помощи обманчивых чувств, опытов, которые остаются необъяснимыми и мало что доказывающими. Еще хуже то, что этот новый кружок решает сосредоточить свои усилия вокруг воздушного насоса, который производит новые нематериальные тела, пустоту, словно ему, Гоббсу, не пришлось потратить столько усилий, чтобы освободиться от призраков и духов! И вот мы снова, беспокоится Гоббс, ввергнуты в гражданскую войну! Мы уже не должны мириться с левеллерами и диггерами, оспаривавшими власть короля во имя собственной интерпретации Бога и свойств материи, — их уже полностью истребили, — но теперь нам надо смириться с этой новой кликой ученых, которая, во имя природы, примется оспаривать власть, кому бы она

ни принадлежала, **апеллируя** при этом к фактам, целиком и полностью сфабрикованным в лаборатории! Если вы разрешаете экспериментам производить **их собственные *matters of fact*** если они позволяют пустоте проникнуть в насос и оттуда — в естественную философию, власть опять окажется разделена: нематериальные духи вновь будут подстрекать к мятежу, превращая себя в апелляционный суд для всевозможных фрустраций. Знание и власть снова будут разделены. Согласно выражению самого Гоббса, вы «увидите все вдвойне». Такие признания он адресует королю, чтобы разоблачать неблагоприятные деяния Королевского Общества.

МЕДИАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ

Однако эта политическая интерпретация гоббсовской теории существования эфира была бы недостаточна для того, чтобы по-

ложить книгу Шейпина и Шэффера в основание сравнительной антропологии. Любой хороший историк идей смог бы в конечном счете проделать ту же самую работу. Но в трех решающих главах наши авторы выходят за пределы интеллектуальной истории и переходят от мира мнений и аргументов в мир практики и сетей. Впервые в исследованиях науки все идеи, относящиеся к Богу, королю, материи, чудесам и морали, переведены, переписаны и пропущены через инструментальные аспекты работы. До Шейпина и Шэффера одни историки науки изучали научную практику; другие — религиозный, политический и культурный контекст науки; но никто до сих пор не был способен делать то и другое **одновременно**.

Точно так же, как Бойлю удастся конвертировать свой сматеренный на скорую руку насос в частичное признание благородными особами фактов, ставших, таким образом, бесспорными, Шейпину и Шэфферу удастся объяснить, как и почему дискуссии, в которых обсуждаются социальное тело, Бог и его чудеса, материя и власть, должны так или иначе затронуть проблему воздушного насоса. Эту загадку так никогда и не удалось решить тем, кто стремится к контекстуалистскому объяснению наук. Они исходят из принципа, что существует социальный макроконтекст — Англия, династические притязания, капитализм, революция, торговля, Церковь, и этот контекст в некотором смысле влияет, формирует, отражает, передает и оказывает давление на «идеи, возникающие по поводу» вещества, упругости воздуха, пустот и труб Торричелли. Но они никогда не объясняют заранее возникшей связи между Богом,

королем, Парламентом и птицей, задыхающейся в закрытом прозрачном колпаке насоса, куда воздух поступает благодаря рукоятке, приводимой в действие техником. Как же опыт с птицей может перевести, переместить, транспортировать, деформировать все остальные споры таким образом, чтобы те, кто управляет насосом, управляли бы также королем и Богом и всем остальным контекстом?

Гоббс действительно пытается обойти все, что имеет отношение к экспериментальной работе, но Бойль делает так, чтобы дискуссия затронула низменные подробности, касающиеся утечек, прокладок и рукояток его насоса. Точно так же философы науки и историки идей хотели бы избежать мира лаборатории, этой вызывающей отвращение научной кухни, где все основные понятия задыхаются от мелочей. Напротив, Шейпин и Шэффер заставляют свой анализ вращаться вокруг объекта, вокруг каждой конкретной утечки, каждой прокладки воздушного насоса. Практика фабрикации объектов вновь возвращает себе привилегированное место, которое она утратила благодаря нововременной критике. Книга двух наших коллег является эмпирической не только потому, что переполнена различными деталями, — она эмпирическая, поскольку предпринимает археологические разыскания новых предметов, появившихся в лаборатории в XVII веке. Шейпин и Шэффер, точно так же, как и Хакинг (Hacking, 1989), делают квази-этнографическим образом то, чем философы науки сейчас почти что не занимаются: они показывают реалистические основания наук. Но они не столько говорят о внешней реальности «там, снаружи», сколько укореняют бесспорную реальность науки «здесь, под ногами».

Опыты никогда не проходят гладко. Насос пропускает воздух. Его надо как-то подлатать. Те, кто неспособны объяснить прорыв объектов в человеческое сообщество, со всеми его манипуляциями и практиками, которых они требуют, не являются антропологами, поскольку не в состоянии уловить то, что, начиная с эпохи Бойля, составляет наиболее фундаментальный аспект нашей культуры: мы живем в обществах, где социальные связи создаются объектами, полученными в лаборатории, где идеи замещаются практиками, аподейктические суждения — контролируемой доксой, всеобщее согласие — сообществами коллег. Прекрасный порядок, который пытался вновь обрести Гоббс, уничтожен благодаря увеличению количества частных пространств, где провозглашается трансцен-

дентальное происхождение фактов, фактов, которые, хотя и сфабрикованы человеком, не являются его созданием и которые, хотя и не имеют никакой причины, тем не менее могут быть объяснены.

Как же удержать общество, негодует Гоббс, на столь жалком основании, как *matters of fact*? Особенно его раздражают изменения самого масштаба феноменов. Согласно Бойлю, великие вопросы, касающиеся материи и божественной власти, могут быть подвергнуты опытному решению, и это решение будет частичным и ни на что не претендующим. Гоббс же отвергает саму **возможность**, что пустота может стать онтологическим и политическим основанием первой философии, и продолжает ссылаться на существование невидимого эфира, который должен присутствовать даже в тот момент, когда рабочий Бойля, задыхаясь от напряжения, приводит в действие свой насос. Иными словами говоря, он требует макроскопического ответа на свои **«макро»-аргументы**, доказательств, подтверждающих, что онтология Бойля является необходимой и что пустота политически приемлема. Что же в ответ делает Бойль? Он, напротив, хотел бы сделать свой опыт еще более сложным, чтобы продемонстрировать этот эффект на детекторе — простое куриное перышко! — способном установить присутствие эфирного ветра, существование которого утверждает Гоббсом в надежде опровергнуть теорию своего противника (Hobbes, 1971, p. 182).¹ Смешно! Гоббс поднимает фундаментальную проблему политической философии, а его теории должны быть опровергнуты перышком внутри стеклянного колпака, который находится в особняке Бойля! Конечно же, перышко абсолютно неподвижно, и Бойль делает из этого вывод, что Гоббс ошибается, — не существует никаких эфирных ветров. Однако Гоббс не может ошибаться, поскольку он отказывается допустить, что явление, о котором он говорит, может быть произведено в каком-то ином масштабе, нежели масштаб целого государства. Он отрицает то, что должно **стать** существенной особенностью нововременной власти: изменение масштаба и смещения, которые предполагает любая работа в лаборатории. Бойлю, словно новому Коту в сапогах, теперь остается **только** наброситься на Людоеда, уменьшившегося до размера мыши.

¹ См. также: Гоббс, Левиафан, т. 2, с. 189.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
НЕЧЕЛОВЕКОВ

То, что изобретает Бойль, — бес-
подобно. Возражения Гоббса он
противопоставляет находящийся в
его распоряжении старый репертуар уголовного права и толкова-
ния Библии, применяя их для свидетельства о вещах, которые под-
вергаются испытаниям в лаборатории. Вот как об этом пишут Шей-
пин и Шэффер:

*Спрати Бойль апеллировали к «практике наших судов здесь, в
Англии», чтобы гарантировать моральную правомерность
своих заключений и придать большую обоснованность тому ар-
гументу, что увеличение количества свидетелей делает воз-
можным «состязание правдоподобных объяснений». Бойль
использовал положение закона Кларендона 1661 года о государ-
ственной измене, согласно которому показания двух свидете-
лей достаточны для того, чтобы обвиняемый был признан винов-
ным. Мы видим, что юридические и церковные модели власти
представляли собой главные ресурсы для экспериментаторов.*

*В силу этого надежными свидетелями были представители
групп, заслуживающих доверие: рассказы папистов, атеистов и
сектантов оказывались под сомнением, надежность показаний
свидетеля обеспечивал его социальный статус, а конкурирова-
ние версий различных свидетелей позволяла избавиться от
крайних точек зрения. Гоббс снова ставит под вопрос основание
этой практики: он изображает обычай, обосновывающий прак-
тику свидетельства, как неэффективный и подрывной (Shapin,
Schaffer, 1985, p. 327).*

На первый взгляд средства, используемые Бойлем, не пред-
ставляют собой ничего особенного нового. Ученые мужи, монахи,
юристы, книжники разрабатывали все эти ресурсы на протяжении
более чем тысячелетнего периода. Новой, однако, является сама
точка их приложения. До сих пор свидетели были всегда человечес-
кими или божественными и никогда не были нечеловеками. Тексты
всегда были написаны людьми или инспирированы Богом, но они
никогда не были инспирированы или написаны нечеловеками.
Суды видели бесчисленное множество человеческих и божествен-
ных процессов и никогда не сталкивались с делами, где бы рассмат-
ривалось поведение нечеловеков в лаборатории, превращенной в
зал суда. Дело в том, что для Бойля лабораторные эксперименты
обладают большим авторитетом, чем не подтвержденные показа-
ния достойных уважения свидетелей.

*В нашем опыте [с колоколом ныряльщика], представленном
здесь, давление воды, видимым образом воздействующее на нео-
душевленные тела, которые не имеют никаких предубеждений
и не способны что-то укрывать, будет более весомым для лю-
дей, не обладающих предвзятым мнением, нежели подозритель-
ные и порой противоречивые свидетельства невежественных
ныряльщиков, чьи мнения подвержены колебаниям и сами чув-
ства которых, так же как и чувства простонародья, могут
обуславливаться какими-то предрасположенностями либо ка-
кими-то другими обстоятельствами и могут легко ввести в
заблуждение (Ibid., p. 218).*

Вот как с легкой руки Бойля к нам вторгается новый актер, при-
знаваемый новой Конституцией: инертные, неспособные иметь волю
и предубеждения тела оказываются способными свидетельствовать,
подписывать, писать, оставлять знаки на лабораторном оборудова-
нии и перед заслуживающими доверия свидетелями. Эти нечелове-
ки, которые лишены души, но которых мы наделяем смыслом, даже
более надежны, чем простые смертные, которым приписывается
воля, но которые лишены способности с абсолютной надежностью
констатировать те или иные явления. В соответствии с Конституци-
ей, если возникают сомнения, лучше обращаться не к людям, а к не-
человекам. Наделенные новой семиотической властью, они вносят
свой вклад в создание новой текстовой формы — статьи по экспе-
риментальной науке, гибрида старых приемов толкования Библии,
применяемых до сих пор исключительно к Писанию и классическим
текстам, — и нового оборудования, производящего новые записи.
Отныне именно вокруг насоса, помещенного в замкнутое простран-
ство, и именно по поводу поведения нечеловеков, которое наделя-
ется определенным смыслом, будут разгораться дискуссии свиде-
телей лабораторных опытов. Старая герменевтика будет продолжать
существовать, но теперь она будет добавлять к своим пергаментам
дрожащую подпись научного оборудования (Latour, Noblet, 1985;
Lynch, 1985; Latour, 1988a; Law, Fyfe, 1988; Lynch, Woolgar, 1990).
Обновленный таким образом суд будет способствовать ниспровер-
жению всех остальных властей: именно это приводит Гоббса в такое
уныние; но подобное ниспровержение возможно только в том слу-
чае, если какие бы то ни было связи с политическими и религиозны-
ми ветвями правления станут невозможными.

Шейпин и Шэффер предельно радикализуют свое обсуждение
объектов, лабораторий, компетенций и изменений масштаба. Если

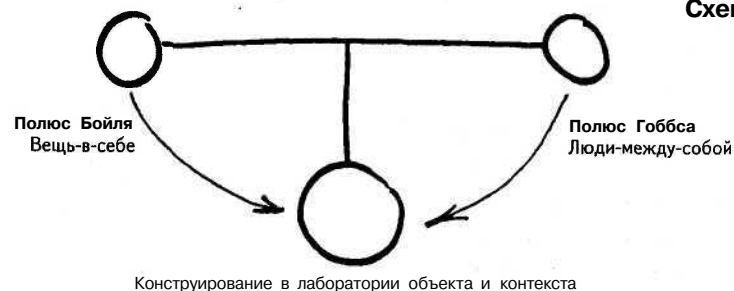
наука основывается не на идеях, а на практике, если она располагается не снаружи, а внутри прозрачного колпака насоса и если она находит прибежище внутри приватного пространства сообщества экспериментаторов, то как же она смогла распространиться «повсюду», как она стала столь же всеобщей, как «законы Бойля»? На самом деле, она не становится всеобщей, в том смысле, в каком это понимают эпистемологи! Ее сеть распространяется и стабилизируется. Блестящие доказательства этого можно найти в главе, которая вместе с исследованиями Харри Коллинса (Collins, 1985, 1990) или Тревора Пинча (Pinch, 1986) является весьма характерным примером плодотворности новых исследований о науке. Проследивая воспроизведение каждого образца насоса по всей Европе и постепенное превращение дорогостоящего, довольно ненадежного и громоздкого оборудования в дешевый черный ящик, который со временем оказывается привычным аксессуаром любой лаборатории, авторы сводят применение универсального закона физики к сети нормализованных практик. Совершенно очевидно, что интерпретация упругости воздуха, которую дает Бойль, постепенно распространяется, но она распространяется с той же самой скоростью, с какой развивается сообщество экспериментаторов, а также их оборудование. Никакая наука не может выйти из сети, образованной своей собственной практикой. Тяжесть воздуха действительно является константой, но это константа, существующая внутри сети. Благодаря расширению этой сети компетенции и оборудование могут стать достаточно рутинными, вплоть до того, что производство пустоты становится столь же незаметным, как и воздух, которым мы дышим, но всеобщим в старом смысле — никогда.

**ДВОЙНОЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ:
ЛАБОРАТОРИЯ И
ЛЕВИТАН**

Идея рассматривать одновременно Гоббса и Бойля кажется гениальной, ибо впервые в исследованиях науки новый принцип симметрии, призванный объяснить одновременно как природу, так и общество (см. ниже), сделался столь очевидным благодаря двум главным фигурам, стоящим у самого истока Нового Времени. Гоббс и его последователи разработали основные имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, которые позволяют нам говорить о власти, — это репрезентация, суверен, договор, собственность, граждане, — в то время как Бойль и его последователи разрабатывают терминологию, принадлежащую к

числу наиболее значимых понятий, позволяющих говорить о природе, — опыт, факт, свидетельство, коллеги. Но до сих пор мы не осознавали, что речь идет о двойном изобретении. Для того чтобы понять эту симметрию, реализовавшуюся в изобретении словаря Нового Времени, мы должны понять, почему Шейпин и Шэффер все же остаются асимметричными в своем анализе, в то время как им следовало бы, напротив, довести эту симметрию до конца; почему они готовы глубже понять и лучше объяснить Гоббса, чем Бойля. На самом деле, их колебания раскрывают все трудности сравнительной антропологии, и так как читатель, вероятно, с ними тоже столкнется, на этом следует остановиться подробнее.

В каком-то смысле Шейпин и Шэффер смещают традиционный центр референции критики. Если наука основывается на компетенции, лабораториях и сетях, тогда где же ее расположить? Разумеется, не со стороны вещей-в-себе, поскольку факты производятся. Но, разумеется, также и не со стороны субъекта — там, где общество / мозг / дух / культура, — поскольку задыхающаяся птица, мраморные шарики, опускающаяся ртуть не являются нашими собственными созданиями. Тогда должны ли мы поместить практику науки в центре этой линии, которая соединяет полюс объекта с полюсом субъекта? Является ли она гибридом или смешением? Немного объектом и немного субъектом?



Авторы не дают нам окончательного ответа на этот вопрос. Подобно тому, как Гоббс и Бойль сходятся друг с другом во всем, за исключением самой практики эксперимента, наши два автора тоже согласны во всем, кроме того, что касается способа объяснения «социального» контекста, то есть в отношении симметричного изобретения Гоббсом человека, способного быть репрезентированным.

Последние главы книги балансируют между тем, как авторы, вполне в гоббсовском духе, интерпретируют свою собственную работу, и подходом Бойля. Такое напряжение делает книгу только интереснее и дает антропологии наук новый вид идеально приспособленных «дрозофил», поскольку они отличаются только несколькими особенностями. Шейпин и Шэффер считают, что **макросоциальные** объяснения Гоббса бойлевской науки выглядят убедительнее, чем опровержение позиции Гоббса аргументами Бойля! Сформировавшиеся в рамках социального изучения наук (Callon, Latour, 1991), Шейпин и Шэффер в меньшей степени способны деконструировать **макросоциальный** контекст, чем природу «там, снаружи». Они, по всей видимости, полагают, что существует некое общество, находящееся совершенно «там, наверху», которое объяснило бы провал программы Гоббса. Или, если говорить более точно, им не удается разрешить эту дилемму: в «Заключении» они отказываются от того, что доказали в VII главе, и вновь отказываются от своей аргументации в самой последней фразе книги:

Ни наше научное знание, ни организация нашего общества, ни традиционные положения, касающиеся связей, существующих между нашим обществом и нашим знанием, не могут рассматриваться в качестве очевидных. По мере того как мы открываем условный и сконструированный статус наших форм знания, мы приходим к осознанию того, что именно мы сами, а не реальность являемся источником того, что мы знаем. Знание, в той же мере как и государство, — продукт человеческих действий. Гоббс был прав (Shapin, Schaffer, 1985, p. 344).

Нет, Гоббс был неправ. Как же он мог бы быть прав, если именно он и изобрел **монистическое** общество, в котором знание и власть являются одним **и тем же**? Как можно использовать эту достаточно /грубую теорию, чтобы объяснить изобретение Бойлем абсолютной у дихотомии между производством знания о фактах и политикой? Да, «знание, в той же мере, как и государство, производится человеческими действиями», но именно поэтому политическое изобретение Бойля намного тоньше социологии наук Гоббса. Для того чтобы осознать последнее препятствие, отделяющее нас от антропологии наук, нам необходимо деконструировать основополагающее изобретение Гоббса, в соответствии с которым существует некое макро-общество, более устойчивое и надежное, чем природа.

Гоббс изобретает гражданина, представляющего собой чистую вычислительную машину, права которого ограничиваются пра-

вом владения собственностью и правом быть представленным посредством ~~созданного суверена~~. Он также создает язык, в соответствии с которым **власть = знание** и который находится в основании всей **нововременной realpolitik**. В равной мере он предлагает набор терминов для анализа человеческих интересов, которые и по сей день наряду с терминологией Макиавелли остаются базовым словарем всей социологии. Иными словами, хотя Шейпин и Шэффер принимают меры предосторожности для того, чтобы использовать выражения «научный факт» не как ресурс, а как историческое и политическое изобретение, они не проявляют никакой осторожности как раз в отношении политического языка. В VII главе своей книги они простодушно используют слова «власть», «интерес» и «политика». Однако кто же изобрел эти слова с их современным значением? Гоббс! Наши авторы, таким образом, сами все «видят вдвойне» и, так сказать, заваливаются на одну сторону — подвергая критике науку, они рассматривают политику как единственный источник обоснованных объяснений. Ибо кто предлагает нам **этот** асимметричный способ объяснения знания через **власть**? **Снова** Гоббс и его конструкция монистической макроструктуры, в которой знание существует только лишь для того, чтобы поддерживать **социальный порядок**. Авторы искусно деконструируют эволюцию, распространение и популяризацию воздушного насоса. Почему же тогда они не деконструируют эволюцию, распространение и популяризацию «власти» или «силы»? Разве «сила» является в данном случае менее проблематичной, чем упругость воздуха? Если природа и эпистемология не конституируются трансгисторическими сущностями, тогда то же самое можно сказать про историю и социологию — если только не принять асимметричную позицию авторов и согласиться одновременно быть конструктивистом, когда речь идет о природе, и рационалистом, когда речь идет об обществе! Но маловероятно, чтобы упругость воздуха была укоренена в политике больше, чем само английское общество...

НАУЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Если мы доведем до конца идею симметрии, существующей между двумя изобретениями двух наших авторов, то поймем, что дело не просто в том, что Бойль создает на-

учный дискурс, в то время как Гоббс создает дискурс политический; Бойль создает политический дискурс, из которого политика должна

быть исключена, в то время как Гоббс воображает себе политику науки, из которой должна быть исключена экспериментальная наука. Иными словами, они изобретают наш нововременный мир — мир, в котором репрезентация вещей посредством лаборатории навсегда отъединена от репрезентации граждан посредством общественного договора. И это произошло никак не благодаря недосмотру политических философов, которые проигнорировали все то, что Гоббс связывает с наукой, в то время как историки науки проигнорировали взгляды Бойля на политику науки. Начиная со времен Гоббса и Бойля требовалось, чтобы все теперь «видели надвое» и не устанавливали прямого отношения между репрезентацией нечеловеков и репрезентациями людей, между искусственностью фактов и искусственностью политического тела. В обоих случаях используется одно и то же слово «репрезентация», но спор между Гоббсом и Бойлем делает немислимим какое-либо подобие двух смыслов этого слова. Сегодня, когда мы уже больше не являемся совершенно нововременными, эти два смысла вновь сближаются.

Две ветви власти, которые Бойль и Гоббс разрабатывают каждый со своей стороны, обладают мощностью только в том случае, если они четко отделены друг от друга: Государство Гоббса бессильно без науки и технологии, но Гоббс говорит только о репрезентации граждан; Наука Бойля бессильна без четкого разграничения религиозных, политических и научных сфер, и поэтому он прилагает столько усилий, чтобы противодействовать монизму Гоббса. Они — словно два отца-основателя, которые, объединившись, действуют совместным образом, для того чтобы способствовать продвижению одной и той же инновации в политической теории: репрезентация нечеловеков относится к науке, но науке запрещается апеллировать к политике; репрезентация граждан относится к политике, но политике запрещено иметь какие бы то ни было отношения с нечеловеками, созданными и мобилизованными наукой и технологией. Гоббс и Бойль сражаются за то, чтобы определить эти два ресурса, которые мы продолжаем использовать, уже не задумываясь, и накал этой двойной битвы наиболее полно раскрывает перед нами необычность их изобретения.

Гоббс описывает голого и расчетливого гражданина, который создает Левиафана, этого смертного Бога, эту искусственную креатуру. От чего зависит Левиафан? От расчета человеческих атомов, который приводит к заключению договора, устанавливающего не-

обратимую композицию силы всех в руках одного. Из чего же состоит эта сила? Она возникает из передачи полномочий всех граждан говорить от их имени кому-то одному. Кто же действует, когда действует один? Мы — те, кто полностью делегировали ему нашу власть. Государство — это парадоксальная искусственная креатура, составленная из граждан, объединенных одним только полномочием, данным кому-то одному, репрезентировать их всех. Говорит ли суверен от своего имени или от имени тех, кто наделил его этим правом? Это неразрешимый вопрос, на который нововременная политическая философия до сих пор ищет ответ. Говорит именно суверен, но в то же время именно граждане говорят через него. Он становится их глашатаем, их лицом, их воплощением. Он осуществляет их перевод и таким образом может их предать. Они наделяют его полномочиями и поэтому могут его этих полномочий лишить. Левиафан состоит только из граждан, расчетов, соглашений или споров. Короче говоря, он состоит только из социальных отношений. Или, скорее, благодаря Гоббсу и его последователями мы начинаем понимать то, что представляют собой социальные связи, власти, силы, общества.

Но Бойль описывает еще более странный артефакт. Он изобретает лабораторию, внутри которой при помощи искусственных механизмов создаются разнообразные феномены. Несмотря на то что они являются искусственными, дорогостоящими, трудновоспроизводимыми, и несмотря на малое количество подготовленных и надежных свидетелей, эти факты действительно репрезентируют природу такой, какая она есть на самом деле. Факты производятся и репрезентируются в лаборатории, научных сочинениях, они признаются и подтверждаются зарождающимся сообществом свидетелей. Ученые — добросовестные представители фактов. Кто говорит, когда они говорят? Несомненно, сами факты, а также их уполномоченный представитель. Кто же тогда говорит — природа или люди? Это еще один неразрешимый вопрос, над которым нововременная философия науки бьется уже на протяжении трех веков. Сами по себе факты лишены дара речи, а естественные силы — это всего лишь грубые механизмы. И однако ученые утверждают, что говорят не они, но факты говорят сами за себя. Эти немые сущности, таким образом, способны говорить, писать, обозначать нечто в искусственно огражденном пространстве лаборатории или в еще более разреженном пространстве камеры вакуумного насоса. Маленькие группы людей благородного сословия заставля-

ют природные силы свидетельствовать о чем-то и свидетельствуют друг перед другом, что они не предают, но переводят молчаливое поведение объектов. Благодаря Бойлю и его ученикам мы начинаем понимать, что же такое природная сила, объект, который является немим, но на который возложен смысл (или который оказывается им наделен).

В своих общих спорах последователи Гоббса и Бойля вырабатывают для нас такие ресурсы, которыми мы пользуемся вплоть до сегодняшнего дня: с одной стороны, социальная сила, власть; с другой — природная сила, механизм. С одной стороны, субъект права; с другой — объект науки. Политические представители будут репрезентировать множество спорящих друг с другом и ведущих подсчеты граждан; научные представители должны будут репрезентировать немое множество материальных объектов. Первые переводят своих доверителей, которые не могли бы говорить все одновременно; вторые переводят тех, кого они представляют, кто от рождения лишен дара речи. Первые, как и вторые, могут предавать. В XVII веке симметрия еще ощутима, два лагеря еще спорят друг с другом через своих представителей, причем каждый обвиняет другого в умножении источников конфликта. Скоро потребуются лишь одно маленькое усилие, чтобы их общее происхождение стало невидимым, чтобы только люди имели своих представителей и чтобы медиативная роль ученых стала невидимой. Скоро слово «репрезентация» обретет два различных смысла в зависимости от того, идет ли речь о тех, кого избирают, или о вещах.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Если нововременная Конституция изобретает разделение между научной властью, на которую возложена обязанность репрезентировать вещи, и политической властью, которая должна репрезентировать свои субъекты, то давайте не будем торопиться с выводом, что с этого момента субъекты оказываются удалены на большое расстояние от вещей. Гоббс в своем «Левиафане» в одно и то же время заново создает физику, теологию, психологию, право, библейскую экзегезу и политическую науку. В своих сочинениях и в своих письмах Бойль одновременно заново создает научную риторику, теологию, научную политику, политическую науку и герменевтику фактов. Вместе они, Бойль и Гоббс, описывают, как должен властвовать Бог, как должен создавать законы новый король Анг-

лии, как должны действовать духи или ангелы, каковы особенности материи, как надо исследовать природу, каковы пределы обсуждаемого в научных или политических спорах, как держать чернь в повиновении, каковы права и обязанности женщин и чего следует ждать от математики. На практике они располагаются в старой антропологической матрице, разделяют компетенции людей и вещей и все же не создают границы между чистой социальной силой и чистым природным механизмом.

В этом и состоит весь парадокс Нового Времени: если мы рассматриваем гибриды, то имеем дело только со смесями природы и культуры; если мы рассматриваем работу очищения, то, напротив, оказываемся перед четким разграничением природы и культуры. Соотношение между этими двумя проблемами я и хотел бы осознать. Когда Бойль и Гоббс вмешиваются в политику, религию, технику, мораль, науку и право, они распределяют задачи таким образом, что один ограничивается наукой о вещах, а другой — политикой людей. Какая внутренняя связь существует между двумя этими вмешательствами? Насколько необходимо это очищение, чтобы создать возможность для увеличения количества гибридов? Нужны ли сотни и сотни таких гибридов, чтобы существовали просто человеческая политика и просто природные вещи? Необходимо ли абсолютное разделение двух этих жестов, чтобы каждый из них оставался действенным? Как может быть объяснено могущество этого механизма? В чем же состоит тайна современного мира? Чтобы постараться ее приоткрыть, нам надо обобщить результаты, полученные Шейпином и Шэффером, и описать полностью ту Конституцию, первые наброски которой принадлежат Гоббсу и Бойлю.

Как и любую Конституцию, ее надо оценивать по тем гарантиям, которые она предлагает. Власть природы, которую определяют последователи Бойля, выступая против последователей Гоббса, и которая позволяет немимым объектам говорить через верных и дисциплинированных ученых-посредников, предоставляет нам следующее важное право: не люди создают природу, природа существовала всегда, с самого начала мироздания, и мы только раскрываем ее тайны. Политическая власть, которую определяют преемники Гоббса, возражая последователям Бойля, заставляет граждан говорить одним голосом посредством перевода / предательства суверена, который говорит только то, что говорят они. Эта власть предлагает нам столь же существенную гарантию: люди и только люди конституируют общество и решают свободно свою судьбу.

Если в духе политической философии Нового Времени мы рассматриваем эти две гарантии отдельно друг от друга — они остаются непонятными. Если природа не сделана людьми или для людей, тогда она остается чуждой, навсегда далекой и враждебной. Сама ее трансцендентность давит нас своей тяжестью или делает ее недоступной. Симметричным образом, если общество создано только людьми и только для них, то Левиафан, искусственная креатура, для которой мы сами являемся одновременно формой и материей, не мог бы стоять на своих ногах. Он был бы уничтожен самой своей имманентностью в войне, которую ведут все против всех. Но эти две конституционные гарантии надо брать не по отдельности, как если бы первая обеспечивала нечеловечность природы, а вторая — **человечность** социальной сферы. Эти две гарантии были созданы одновременно. **Они поддерживают друг друга.** И первая и вторая гарантия **уравновешивают** друг друга как знаменитый механизм **противовесов** — *checks and balances*. Они представляют собой только две ветви одного и того же правления.

Если мы рассмотрим их вместе, а не по отдельности, то увидим, что эти гарантии являются взаимнообратимыми. Последователи Бойля говорят не только о том, что законы природы неподвластны нашему контролю, они также создают их и в лаборатории. Несмотря на то что они получены искусственным образом внутри вакуумного насоса — это фаза медиации или перевода, — факты полностью уклоняются от человеческого участия в их фабрикации — это фаза очищения. Последователи Гоббса утверждают, что не только люди создают общество своими собственными силами, но что Левиафан — прочен и устойчив, огромен и силен, что он приводит в движение торговлю, технику, искусства и что правитель держит в своей руке меч из закаленной стали и золотой скипетр. Несмотря на то что он сконструирован людьми, Левиафан бесконечно превосходит людей, которые его создали, поскольку в его жилах, венах, тканях задействуется бесчисленное количество вещей, обеспечивающих его устойчивость и длительность его существования. И однако, несмотря на эту прочность, которая возникает благодаря мобилизации вещей — что открывает нам работу медиации, — мы и только мы создаем его одной только силой нашего расчета, мы, бедные, раздетые и безоружные граждане — то, что, собственно, и демонстрирует работа очищения.

Но эти две гарантии находятся в состоянии противоречия не только друг по отношению к другу, но и каждая в отношении к себе

самой, так как они задействуют одновременно трансцендентность и имманентность. Бойль и его бесчисленные последователи непрерывно искусственным образом создают природу и в то же самое время утверждают, что открывают ее; Гоббс и его заново определенные граждане непрерывно конструируют своего Левиафана при помощи расчетов и социальной силы, но используют при этом все больше и больше объектов, чтобы продлевать его существование. Они **лгут?** Ошибаются? Или они нас обманывают? **Нет**, ибо они добавляют **третью конституционную гарантию**: во-первых, полное **разделение** между миром **природы** — сконструированным, однако, человеком, — и социальным миром — поддерживаемым, однако, при **помощи вещей**, и, во-вторых, общее разделение между **работой гибридов** и **работой очищения**. Первые две гарантии являются **противоречивыми** лишь до тех пор, пока третья не разведет их навсегда в разные стороны и не превратит слишком очевидную симметрию в два противоречивых типа асимметрии, с которыми практика в состоянии справиться, но которые она никогда не в состоянии **выразить**.

Схема 2

Первый парадокс

Природа не является нашей конструкцией: она трансцендентна и бесконечно превосходит нас.

Общество — наша конструкция: оно имманентно нашим действиям.

Второй парадокс

Природа — наша искусственная конструкция, полученная в лаборатории: она имманентна по отношению к нам.

Общество не есть наша конструкция. Оно трансцендентно и бесконечно нас превосходит.

Конституция

Первая гарантия: хотя мы и конструируем природу, она существует так, как если бы мы ее не конструировали.

Вторая гарантия: хотя мы не конструируем общество, оно существует так, как если бы мы его конструировали.

Третья гарантия: природа и общество должны оставаться абсолютно различными: работа очищения должна оставаться абсолютно отъединенной от работы медиации.

Потребуется, однако, множество других авторов, множество других институций, множество других форм регулирования, чтобы завершить это движение, намеченное весьма показательным спором между Гоббсом и Бойлем. Но общая структура может быть теперь легко схвачена: эти три гарантии, взятые вместе, должны позволить людям Нового Времени изменить масштаб. Они получают возможность использовать природу во всех аспектах фабрикации своего общества, продолжая тем не менее приписывать ей радикальную трансцендентность; они получают возможность стать единственными творцами своей политической судьбы, тем не менее продолжая поддерживать существование своего общества за счет мобилизации природы. С одной стороны, трансцендентность природы не мешает ее социальной имманентности; с другой стороны, имманентность социального не мешает Левиафану оставаться трансцендентным. Надо признать, что именно эта достаточно красивая конструкция позволяет делать все что угодно, без всякого ограничения. Не удивительно, что такая Конституция должна была, как говорили еще совсем недавно, дать возможность «высвободить производительные силы»...

ЧЕТВЕРТАЯ ГАРАНТИЯ: ГАРАНТИЯ ОТГРАНИЧЕННОГО БОГА

Однако следовало бы воздержаться от того, чтобы установить слишком полную симметрию между двумя положениями Конституции: это могло бы помешать их дуэту работать в полную силу. Необходимо, чтобы четвертая гарантия урегулировала вопрос о Боге, навсегда удалив его из социальной и природной конструкции, но оставив его репрезентированным и находящимся в обращении. Преемники Гоббса и Бойля весьма преуспели в выполнении этой задачи, первые — освобождая природу от божественного присутствия, вторые — лишая общество божественного происхождения. Научная власть «не нуждалась больше в этой гипотезе»; что же касается государственных мужей, то они смогли изготовить «тленного бога» Левиафана, не тревожась больше о Боге бессмертном, Писание которого, уже у Гоббса, интерпретировалось сувереном только в фигуративном плане. Никто не может стать по-настоящему нововременным, если он не соглашается поставить Бога вне действия как законов природы, так и законов государства. Бог становится отграниченным Богом метафизики, так же отличающимся от доновременного

Бога христиан, как физическая природа, сконструированная в лаборатории, отличается от античной категории «*фюзис*» или как общество отличается от старого антропологического коллектива, населенного нечеловеками.

Но слишком полное отдаление от Бога лишило бы нововременных критического ресурса, который был бы необходим, чтобы докомплектовать их механизм. В противном случае природа и общество, два брата-близнеца, оказались бы подвешенными в пустоте, и никто, в случае конфликта между двумя ветвями власти, не мог бы решить, какая из них должна одержать победу. Хуже всего то, что их симметрия проявилась бы слишком явно. Новое Время точно так же удвоило отграниченного Бога, как оно удвоило природу и общество. Трансцендентность Бога бесконечно отдаляла его, так что он уже не мог помешать свободной игре природы и общества, но при этом было сохранено право апелляции к этой трансцендентности в случае возникновения конфликта между законами природы и законами общества. Нововременной человек мог быть атеистом, оставаясь при этом вполне религиозным. Он мог захватить материальный мир, по своей воле пересоздать социальный мир, не ощущая себя покинутым всеми сиротой-демиургом.

Новая интерпретация старых теологических христианских сюжетов привела к тому, что теперь одновременно задействуется трансцендентность Бога и его имманентность. Но эта длительная работа, проделанная Реформацией XVI века, привела бы к совершенно другим результатам, если бы не оказалась смешанной с задачей, поставленной тем же самым XVII веком, — задачей одновременного изобретения научных фактов и граждан (Eisenstein, 1991). Вновь была переоткрыта духовность — наследница всемогущего Бога, который коренится в глубине человеческой души, но при этом не вмешивается во внешние дела. Совершенно индивидуальная и совершенно духовная религия позволяла критиковать и господство науки, и общество, не имея, однако, нужды утвердить Бога ни в том ни в другом. Для современного мира он стал возможным как нечто одновременно светское и религиозное. Конституционные гарантии давались не Высшим Богом, но отсутствующим — и, однако, его отсутствие не мешало тому, чтобы распоряжаться им по своему собственному усмотрению в своем сердце. Его позиция стала буквально идеальной, поскольку он оказывался дважды вынесен за скобки! Первый раз — в метафизике, второй раз — в духовности. Он больше уже не создает никаких затруднений для нововремен-

ного развития, оставаясь эффективным и готовым прийти на помощь в духовной жизни людей.

Такова тройная трансцендентность и тройная имманентность в этой крестообразной схеме, блокирующей все остальные возможности. Мы не создали природу; мы создаем общество; мы создаем природу; мы не создали общество; мы не создали ни то ни другое, Бог все создал; Бог ничего не создал, мы все создали. Мы ничего не поймем в Новом Времени, если не увидим, что четыре гарантии относятся друг к другу как *checks and balances*. Две первые позволяют чередовать источники, переходя от чистой природы к чисто политической силе, и наоборот. Третья гарантия запрещает любые контаминации того, что принадлежит природе, и того, что принадлежит политике, хотя даже первые две гарантии позволяют быстро чередовать и то и другое. Но не является ли противоречие между третьей гарантией, которая разделяет, и первыми двумя, которые чередуются, слишком очевидным? Нет, поскольку четвертая конституционная гарантия устанавливает в качестве арбитра Бога, бесконечно далекого, который может одновременно не иметь никакой власти и в то же время быть единственным судьей.

Новое Время не имеет ничего общего с изобретением гуманизма, с возникновением наук, секуляризацией общества или с механизацией мира. Оно — совместное производство этих трех пар трансцендентности и имманентности, имеющих длинную историю, один из этапов которой я представил, обращаясь к Гоббсу и Бойлю. Главный пункт этой нововременной Конституции состоит в том, чтобы сделать невидимой, немислимой, нерепрезентируемой посредническую работу, которая собирает вместе гибриды. Прерывается ли, однако, эта работа? Нет, ибо нововременный мир тотчас перестал бы функционировать, поскольку он, как и все другие коллективы, живет благодаря этому смешиванию. Великолепие такого механизма проявляется здесь во всем своем блеске. Нововременная Конституция, напротив, допускает расширенное умножение гибридов, существование и даже саму возможность существования которых она отрицает. Трижды, раз за разом оборачиваясь между трансцендентностью и имманентностью, нововременные оказываются в состоянии мобилизовать природу, овеществить социальное и ощутить духовное присутствие Бога, настаивая на том, что природа ускользает от нас, что общество — наше собственное творение и что Бог больше уже ни во что не вмешивается. Кто мог бы проти-

востоять такой конструкции? Потребовались воистину исключительные события, которые ослабили этот мощный механизм, чтобы я мог его описать сегодня так отстраненно и с такой симпатией, с какой этнолог относится к миру, который уже начал постепенно исчезать.

МОЩЬ КРИТИКИ

В тот самый момент, когда нововременные критические способности ослабевают, следовало бы в последний раз измерить их поразительную эффективность.

Освобожденные от препятствий, чинимых религией, люди Нового Времени обрели способность критиковать обскурантизм прежних властей, разоблачая естественные феномены, которые ими скрывались, изобретая их в искусственном пространстве лаборатории. Законы природы позволили первым просветителям повсеместно опровергать необоснованные притязания человеческих предрассудков. Применяя свои новые подходы, они в старых гибридах видели только какие-то неподобающие смеси, которые необходимо было очистить, отделяя природные механизмы от человеческих страстей, интересов или неведения. Все прежние мысли стали казаться нелепыми или приблизительными. Или, скорее, простое применение нововременной Конституции определило «прежнее» как нечто абсолютно иное, нежели наше прекрасное сегодня (см. ниже). Тьма, царившая в прежние эпохи, которые неподобающим образом смешивали социальные нужды и природную реальность, уступила место утренней заре, которая четко разделила материальные причины и человеческие фантазии. Естественные науки определили, чем является человеческая природа, и появление каждой дисциплины переживалось, как тотальная революция, в ходе которой она, наконец-то, освободилась от Старого Режима. Никто не является современным, если он не почувствовал красоты этой утренней зари и не трепетал от ее обетовании.

Но критика, стремясь разрушить человеческие предрассудки, касалась не только природы. Вскоре она начала двигаться в другом направлении, ведущем к созданию новых социальных наук, которые должны были подвергнуть критике новую природу. Это было второе Просвещение — Просвещение XIX века. На этот раз точное знание об обществе и его законах позволило обрушиться с критикой не только на предрассудки обычного обскурантизма, но также и на новые предрассудки, созданные естественными науками. Ста-

ло возможным, обрета надежную опору в виде наук об обществе, отделить в других науках их подлинно научную составляющую от той их части, которая была порождена идеологией и в связи с которой критика главным образом обвиняла науку. В смешениях первого Просвещения представители второго увидели только неподобающую смесь, которую было необходимо очистить, тщательно отделив ту часть, которая относилась к самим вещам, от того, что можно было отнести к функционированию экономики, бессознательного, языка или символов. Все прежние мысли — в том числе и некоторые науки — стали нелепыми или приблизительными. Или, скорее, череда радикальных революций создала для контраста темное «прошлое», которое вскоре должно было быть рассеяно занимающейся зарей социальных наук. Ловушки натурализации и научной идеологии наконец исчезли. Тот, кто не ожидает этой зари и не будет трепетать от ее обетовании, не является нововременным.

Непобедимое Новое Время даже обрело возможность соединить то и другое, используя естественные науки, чтобы критиковать ложные претензии власти, и прибегая к достоверным фактам гуманитарных наук, чтобы критиковать ложные притязания естественных наук и сциентизма. Тотальное знание оказалось наконец в зоне досягаемости. И если марксизм казался столь долгое время непреодолимым, то происходило это потому, что он, на самом деле, объединил два наиболее мощных ресурса, когда-либо разработанных критикой, и тем самым связал их навеки. Он позволял сохранить долю истины, принадлежащую естественным и социальным наукам, тщательно устраняя при этом их проклятую долю, их идеологию. Как вскоре стало ясно — он воплотил все чаяния первого и второго Просвещения и подвел под ними черту. Необходимое различие между материальными механизмами и иллюзиями обскурантизма, точно так же, как второе различие между наукой и идеологией, остаются по сей день двумя главными источниками нововременного негодования, хотя, опираясь на них, уже нельзя прекратить дискуссию, подобно тому, как это делали марксисты, а их критический капитал разошелся по рукам миллионов мелких акционеров. Тот, кто никогда не чувствовал в себе отзвука этого двойного могущества, или тот, кто не был захвачен мыслью о различии между рациональным и нерациональным, между ложными идеями и подлинными науками, тот никогда не был нововременным.

Схема 3

Точка укорененности	Критическая способность
Трансцендентность природы	Мы бессильны против законов природы
Имманентность природы	Мы имеем неограниченные возможности
Имманентность общества	Мы совершенно свободны
Трансцендентность общества	Мы бессильны против законов общества

Нововременной человек, имея в качестве основания незыблемую трансцендентальную определенность законов природы, может критиковать и разоблачать, отрицать и с негодованием нападать на иррациональные верования и ничем не оправданное господство. Имея в качестве основания уверенность в том, что человек творит свою судьбу, нововременные могут критиковать, разоблачать, отрицать и с негодованием нападать на иррациональные верования, научные идеологии и неоправданное господство экспертов, которые претендуют на то, чтобы ограничить возможность действия и свободы. Однако единственная в своем роде трансцендентность природы, которая не является творением наших рук, и единственная в своем роде имманентность общества, которое мы полностью создаем, парализовали нововременных, которые оказались слишком беспомощными перед лицом вещей и слишком могущественными внутри общества. Какое огромное преимущество дает возможность вывернуть наизнанку принципы, без малейшего намека на существование противоречий! Будучи трансцендентной, природа тем не менее остается мобилизуемой, гуманизируемой, социализируемой. Лаборатории, коллекции, центры подсчета¹ и получения прибылей, исследовательские институты и конструкторские бюро подмешивают ее каждый день к множественности судебных различных социальных групп. И наоборот, хотя мы полностью кон-

¹ Термин из книги Латура «Наука в действии» («Science en action»). «Центры подсчета» — это места, где сводятся воедино следы, оставленные вещами в аппаратах науки. — Примеч. науч. ред.

струируем общество, оно обладает устойчивым существованием, оно нас превосходит, господствует над нами, оно имеет свои собственные законы, оно **трансцендентно** так же, как природа. Дело в том, что лаборатории, коллекции, центры подсчета и получения прибылей, исследовательские институты и научные бюро каждый день устанавливают пределы свободы социальных групп и превращают межличностные отношения в вещи, которые обладают устойчивым существованием и которые не были никем произведены. Именно в этом двойном языке состоит могущество нововременной критики: она может мобилизовать природу, содержащуюся в сердцевине социальных связей, при этом оставляя ее бесконечно удаленной от человека; и она может собирать и разбирать свое общество, при этом делая его законы неизбежными, необходимыми и абсолютными.

НЕПОБЕДИМОСТЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Поскольку Конституция верит в полное отделение людей от нечеловеков и в то же самое время упраздняет это разделение, она сделала нововременных непобедимыми. Если вы начинаете их критиковать, заявляя, что природа — это мир, который сконструирован человеческими руками, они вам покажут, что природа трансцендентна и что они не имеют к ней отношения. Если вы скажете, что общество трансцендентно и что его законы бесконечно нас превосходят, они ответят, что мы свободны и что наша судьба находится только в наших собственных руках. Если вы возразите им, что они обнаруживают свою двуличность, нововременные на это скажут, что они никогда не смешивают законы природы и неотъемлемое право человека на свободу. Если вы им поверите и направите свое внимание на что-то другое, они воспользуются этим, чтобы перенести тысячи объектов из природы в социальное тело, сообщая последнему устойчивость природных вещей. Если вы внезапно обернетесь, как в детской игре «море волнуется — раз...», они с невинным видом замрут на месте, как если бы и не двигались вовсе: слева — сами вещи, справа — свободное общество говорящих и мыслящих субъектов. Все происходит в середине, все движение происходит между этими двумя полюсами, все становится возможным за счет медиации, перевода и сетей, но самого этого пространства не существует, оно не имеет места. Именно оно является для нововременных непостижимым, невысказанным. Есть ли более эффективный способ распространить кол-

лективы, чем соединять их с трансцендентностью природы и человеческой свободой, одновременно включая природу внутрь общества и намечая абсолютные пределы человеческой свободе? Это действительно позволяет делать все, и еще, вдобавок, прямо противоположное.

Индейцы не ошибались, когда говорили, что у белых раздвоенный язык. Нововременные всегда сидели на двух стульях, разделяя отношения внутри политической власти и отношения между научными суждениями, но при этом всегда основывая силу на разуме и разум на силе. Поэтому они стали непобедимыми. Вы полагаете, что гром — божество? Критика покажет, что речь идет о физических механизмах, не имеющих никакого влияния на ход человеческого развития. Вы ограничены традиционной экономикой? Критика вам покажет, что физические механизмы могут перевернуть ход человеческого развития, задействуя гигантские производительные силы. Вы думаете, что духи предков сделали вас заложниками своих законов до скончания времен? Критика вам покажет, что духи и законы являются социальными конструкциями, которые вы сами для себя создали. Вы думаете, что все в ваших силах и вы можете развивать ваши общества, как вам заблагорассудится? Критика вам продемонстрирует, что железные законы, управляющие обществом и экономикой, являются намного более жесткими, чем законы предков. Вы возмущаетесь, что мир механизмуется? Критика будет говорить вам о созидающем Боге, которому все принадлежит и который все дал человеку. Вы возмущаетесь, что общество является светским? Критика вам докажет, что при этом освобождается духовность и что самой высшей является абсолютно духовная религия. Вы называете себя религиозным? Критика будет смеяться над вами во все горло!

Как же могли оказывать сопротивление всему этому другие культуры — природы? Они, от противного, стали доновременными. Они могли бы противостоять трансцендентной или имманентной природе, или обществу, созданному человеком, или трансцендентному обществу, или Богу далекому, или Богу внутреннему, но как они могли сопротивляться сочетанию всех этих шести ресурсов? Или, скорее, они могли бы сопротивляться только в том случае, если бы все шесть ресурсов критики были явлены все вместе в виде одной операции — так, как я это показываю сейчас. Но они представляли разделенными, конфликтующими друг с другом, смешивающимися несовместимые друг с другом ветви правления, каждая

из которых апеллировала к различным основаниям. Более того, все эти критические ресурсы очищения сразу же вошли в противоречие с практикой медиации, хотя это противоречие не оказывало никакого влияния ни на разнообразие источников власти, ни на их скрытое единство.

Нововременные люди почувствовали себя свободными от последних ограничений, которые еще могли бы положить предел их экспансии. Бедные доновременные коллективы обвинялись в том, что они производят ужасное смешение вещей и людей, в то время как их обвинители сначала полностью разделили эти коллективы, чтобы затем тотчас повторно смешать в невиданном доселе масштабе. Так как нововременные, кроме всего прочего, перенесли этот Великий Разлом на интерпретацию времени после того, как установили его в пространстве, они почувствовали себя абсолютно свободными, отказываясь следовать за всякими нелепыми принуждениями своего прошлого, состоявшими в том, чтобы одновременно принимать в расчет как людей, так и вещи. Но в то же самое время они принимали в расчет намного больше вещей и значительно больше людей...

Теперь вы даже не можете обвинять их в том, что они неверующие. Если вы им скажете, что они — атеисты, они будут говорить вам о всемогущем Боге, бесконечно удаленном от мира. Если вы скажете, что этот отграниченный Бог является очень чуждым, они вам ответят, что этот самый Бог говорит внутри их сердца и что они никогда не переставали, несмотря на все свои науки и своих политиков, быть нравственными и благочестивыми. Если вы выскажете свое удивление по поводу религии, которая не имеет никакого влияния ни на развитие мира, ни на развитие общества, они вам скажут, что эта религия вершит суд над тем и другим. Если вы попросите огласить вынесенные приговоры, они вам возразят, что религия бесконечно превосходит науку и политику и что она не может оказывать на них влияние или что религия — социальная конструкция или эффект, производимый нейронами!

Что вы тогда скажете на все это? В руках нововременных находятся все источники власти, все критические возможности, но они используют их для решения противоположных проблем, переходя от одного случая к другому с такой скоростью, что их никогда не удастся схватить за руку. Да, решительно, они есть, они были, они чуть было не стали, они считали, что они были — непобедимыми.

О ТОМ, ЧТО КОНСТИТУЦИЯ ПРОЯСНЯЕТ, И О ТОМ, ЧТО ОНА ЗАТЕМНЯЕТ

Однако нововременной мир никогда не существовал, то есть не существовал в том смысле, что никогда не функционировал по правилам своей же собственной Конституции, отделяя друг от друга три региона Бытия, о которых я говорил, и апеллируя по отдельности к шести ресурсам критики. Практика перевода всегда отличалась от практик очищения. Или, скорее, само это различие вписано в Конституцию, так как двойная игра, разворачивающаяся между имманентным и трансцендентным в каждой из трех инстанций, позволяет делать все — и еще, вдобавок, прямо противоположное. Никогда еще Конституция не открывала на практике такие возможности для маневра. Но цена, которую люди Нового Времени заплатили за эту свободу, состояла в том, что они остались неспособными осмыслить самих себя. Вся работа медиации ускользает от конституционных рамок, которые одновременно намечают и отрицают ее существование.

Отнюдь не просто установить связь между особенностями того или иного исторического момента и тем, является ли он нововременным или нет. Можем ли мы, таким образом, сказать, что Новое Время — иллюзия? Нет, оно намного больше, чем иллюзия, и намного меньше, чем сущность. Новое Время — сила, добавленная к другим силам, которые оно в течение долгого времени было способно представлять, ускоряя их действие или подводя под ними итог, и что оно больше уже не может делать сейчас. Предлагаемая здесь мной ревизия подобна той, которая за последние двадцать лет или около того произошла в отношении Французской революции, хотя, на самом деле, как мы это увидим ниже, эти две ревизии составляют в итоге одну. Начиная с семидесятых годов мы наконец поняли, что революционное прочтение Французской революции было добавлено постфактум к событиям того времени: с 1789 года оно организовывало историографию, но больше не определяет эти события по существу (Furet, 1978). Как утверждает Франсуа Фюре, необходимо различать Революцию «как модальность исторического действия» и «Революцию как процесс». События 1789 года были не намного революционнее, чем нововременной мир был нововременным. Участники и хроникеры этих событий использовали понятие «революция» для того, чтобы осмыслить, что с ними происходит, и как-то повлиять на свою собственную судьбу. Точно так же нововременная Конституция существует и действует именно в ис-

тории, но больше не определяет того, что с нами произошло. Новое Время все еще ждет своего Токвиля, а научные революции — своего Фюре.

Однако Новое Время не есть ложное сознание нововременных, и мы должны действительно признать за Конституцией, как и за идеей Революции, их эффективность. Вместо того чтобы устранить работу медиации, Конституция допускает ее расширение. Подобно тому как идея Революции толкала революционеров на то, чтобы принимать роковые решения, на которые сами они никогда бы не решились, Конституция внушила нововременным решимость задействовать вещи и использовать людей в таком масштабе, который они никогда бы себе не позволили без этой Конституции. Это изменение масштаба было достигнуто не благодаря разделению людей и нечеловеков, как им казалось, но, напротив, за счет увеличения их смешивания. В свою очередь, сам этот рост облегчается за счет идеи трансцендентной природы — лишь бы только она оставалась потенциально мобилизуемой; идеи свободного общества — лишь бы только оно оставалось трансцендентным, и отсутствия какого бы то ни было божества — лишь бы только Бог говорил в нашем сердце. При условии, что все противоречия остаются одновременно представленными и немислимыми, что работа медиации умножает гибриды, эти три идеи позволяют создать весьма масштабный капитал. Нововременные полагают, что они преуспели в таком расширении только потому, что тщательно разделяли природу и общество (вынося за скобки самого Бога), тогда как они добились этого только благодаря тому, что смешивали намного более значительные массы людей и нечеловеков, при этом ничего не вынося за скобки и не устанавливая запрет ни на какие комбинации! Нововременные появились на свет благодаря связи, существующей между работой очищения и работой медиации, но только в первой они видят залог своего успеха.

Возможно, разрешение этого парадокса и не представляет больших трудностей. Для того чтобы решиться на такие сочетания, необходимо верить в то, что они не несут серьезной угрозы для конституционного порядка. Дуализм природа/общество необходим для Нового Времени, чтобы оно могло увеличить масштаб смешивания объектов с субъектами. Люди доновременной эпохи, поскольку в сущности все они, если верить антропологам (Lévi-Strauss, 1952), были монистами в том, что касается конституции их собственных природ-культур, напротив, запрещали практиковать

то, что им, казалось бы, позволяли их представления. «Аборигены — это логический накопитель, — пишет Леви-Строс, — который безостановочно связывает нити, неумоимо вплетая в них все аспекты реальности, будь то физические, социальные или ментальные» (Lévi-Strauss, 1962, p. 353). Насыщая смеси божественного, человеческого и природного понятиями, они ограничивают практическое расширение этих смесей. Невозможность изменить социальный порядок, не изменяя порядок природы, и наоборот, обязывала доновременных всегда быть очень осмотрительными. Любое чудовище становится видимым и мыслимым, оно очевидным образом ставит серьезные проблемы перед социальным порядком, космосом или законами богов (Horton, 1990a, 1990b).

Гомеостаз «холодных обществ» Амазонии, — пишет, например, Деколя по поводу ашваров, — предстал бы тогда не столько следствием скрытого отказа от политического отчуждения, которое приписывал «дикарям» Кластр, сколько эффектом инертности системы мышления, которая может представить процесс социализации природы только через категории, регулирующие функционирование реального общества. Идя наперекор поверхностному технологическому детерминизму, которым часто пропитаны эволюционистские теории, можно было бы утверждать, что трансформации обществом своего материального основания обусловлены предварительным изменением форм социальной организации, которая служит концептуальной арматурой материального способа производства (Descola, 1986, p. 405).

Если, напротив, наша Конституция что-то и допускает, так это ускоренную социализацию нечеловеков, которым тем не менее никогда не позволено существовать в качестве элементов «реального общества». Нововременные, делая смеси немислимыми, опустошая, выметая, освобождая, очищая арену, которая открывается посреди этих трех инстанций, позволили практике медиации воссоздавать всевозможных монстров, не позволяя при этом оказывать им хоть какое-нибудь воздействие на общественное устройство или даже контактировать с ним. Какими бы странными ни были эти монстры, они не ставили перед обществом никаких проблем, так как в социальном плане они не существовали, и благодаря этому их чудовищные последствия оставались совершенно неопределимыми. Мы можем позволить у себя то, что у доновременных всегда находилось под запретом, поскольку социальный порядок никогда в точности не соответствует порядку природы.

Насос Бойля, например, мог бы показаться довольно пугающей химерой, так как искусственным образом производит в лаборатории пустоту, которая одновременно позволяет определить законы природы, действие Бога и открывает возможности для урегулирования споров в Англии времен Славной Революции. С точки зрения Хортонa, мышление дикаря тотчас же наложило бы заклятие на эту опасность. Тем не менее, начиная с этого момента, в Англии XVII века королевская власть, природа и теология будут конструироваться посредством научного сообщества и лаборатории. К актерам, населяющим Англию, прибавится упругость воздуха. Однако появление этого нового союзника не приведет к возникновению новых проблем, поскольку никаких химер не существует, не было создано никакого чудовища, а были лишь открыты законы природы. «Проходите, смотреть тут не на что!» Размах мобилизации прямо пропорционален невозможности непосредственно помыслить ее отношения с социальным порядком. Чем меньше нововременные люди ощущают себя частью смещения, тем больше они смешивают. Чем наука более чиста, тем она более тесно связана с общественным устройством. Нововременная Конституция ускоряет или облегчает расширение коллективов, но не позволяет их помыслить.

КОНЕЦ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

Утверждая, что Конституция, для того чтобы быть эффективной, должна игнорировать то, что она допускает, я занимаюсь разоблачением, которое, однако, направлено на иные объекты, нежели те, которыми занимается критика, и которое предполагает совершенно иные механизмы. До тех пор пока мы наивно следовали за Конституцией, она позволяла нам улаживать все споры, служила основанием критического духа и давала возможность людям оправдывать все их атаки и разоблачения. Но если Конституция как целое появляется теперь лишь в виде одной части, больше не позволяющей нам осознать другую ее половину, тогда само основание критики оказывается ненадежным.

Апеллируя иногда к природе, иногда к обществу, иногда к Богу и постоянно противопоставляя трансцендентность каждого из этих трех понятий их имманентности, мы доводили наше негодование до максимума. Что же это в самом деле за нововременной человек, который больше не опирается на трансцендентность природы, что-

бы критиковать обскурантизм власти? На имманентность природы, чтобы критиковать человеческую инертность? На имманентность общества, чтобы критиковать покорность людей и опасности натурализма? На трансцендентность общества, чтобы критиковать человеческую иллюзию индивидуальной свободы? На трансцендентность Бога, чтобы апеллировать к человеческому суждению и упорству вещей? На имманентность **Бога**, чтобы критиковать существующие Церкви, натуралистические верования и социалистические мечты? Это был бы уже очень несчастный нововременной человек или даже скорее постмодернист: все еще охваченный страстным желанием разоблачать, он уже не имел бы силы верить в легитимность ни одного из этих шести апелляционных судов. Лишить нововременных их негодования — значит, по всей видимости, лишить их уважения к самим себе. Лишить органических и критических интеллектуалов всех шести оснований, используемых для их разоблачений, — значит со всей очевидностью лишить их каких бы то ни было причин жить. Не возникает ли у нас ощущения, что, утрачивая чистосердечную приверженность Конституции, мы теряем лучшую часть самих себя? Не является ли она источником нашей энергии, нашей силы духа, нашей профессиональной этики?

И тем не менее Люк Болтански и Лоран Тевено покончили с нововременным разоблачением в книге, столь же важной для этого исследования, как книга Стива Шейпина и Саймона Шэффера. В отношении критического негодования они сделали то же самое, что раньше сделал Франсуа Фюре в отношении французской Революции. «Разоблачение закончено» — таким мог бы быть подзаголовок их книги «Экономия величия» (Boltanski, Thévenot, 1991). До сих пор критическое разоблачение казалось чем-то само собой разумеющимся. Речь шла только о том, чтобы выбрать причину возмущения и противиться ложному разоблачению, вкладывая в это всю необходимую страстность. Срывать покровы — такова была священная для нас, нововременных, задача. Обнаруживать под ложным сознанием подлинные расчеты или под ложными расчетами настоящие интересы. Кто еще не зашелся от негодования с пеной у рта? И вот, Болтански и Тевено изобретают эквивалент прививки от бешенства, хладнокровно сравнивая все источники разоблачения — миры (cités), которые предоставляют различные принципы справедливости, — и скрещивая тысяча и один известный нам сегодня во Франции способ поднять происходящее до уровня того, что обозначается словом «affaire», — дела, достойного обще-

ственных дебатов о справедливости. Они не разоблачают других. Они не выводят их на чистую воду. Они показывают, как мы сами занимаемся тем, что обвиняем друг друга. Критический разум оказывается еще одним ресурсом, одной из множества компетенций, грамматикой нашего негодования.

И сразу же, благодаря этому незначительному смещению, произведенному систематическим изучением, мы больше уже не можем стать абсолютными приверженцами критического разума. Как по-прежнему, с таким чистосердечием, выдвигать обвинения, когда механизм виктимизации становится столь очевидным? Даже гуманитарные науки не являются уже тем последним очагом сопротивления, который позволил бы, наконец, разглядеть реальные мотивы под всевозможными «кажимостями». Они тоже участвуют в критическом анализе (Chateauraynaud, 1991), тоже стремятся к тому, чтобы вести дела справедливым образом, негодуют и критикуют. Но у традиции гуманитарных наук уже нет привилегии возвышаться над актором, распознавая за его бессознательными действиями реальность, которая должна быть выведена на свет божий (Boltanski, 1990). Для гуманитарных наук стало уже невозможным возмущаться, не попадая при этом в какую-либо графу таблицы, составленной двумя нашими коллегами. Разоблачитель — собрат обычных людей, тех самых, кого он намеревался разоблачить. «Вы — это другой». Вместо того чтобы действительно верить в работу разоблачения, мы ощущаем ее теперь как «историческую модальность», которая, конечно же, воздействует на наши дела, но которая объясняет их не более, чем революционная модальность объясняла события 1789 года. Разоблачение сегодня окончательно выдохлось, как, впрочем, и революция.

Работа Болтански и Тевено подводит итог тому, что предвидел и описал Рене Жирар, который считает, что люди Нового Времени больше не могут чистосердечно выдвигать обвинения, но в отличие от последнего Болтански и Тевено не относятся к объектам с презрением. Чтобы механизм виктимизации функционировал, надо было, чтобы обвиняемый, публично приносимый в жертву, был на самом деле виновен (Girard, 1978). Если он становится козлом отпущения, то механизм обвинения оказывается видимым: никчемный бедолага, неповинный ни в каком преступлении, был обвинен напрасно, только ради того, чтобы за свой счет примирить коллектив. Переход от жертвы к козлу отпущения, таким образом, опустошает обвинение. Такое опустошение тем не менее никак не ведет

к смягчению нововременных, поскольку причина их массовых преступлений состоит в том, что они никогда не были способны искренно обвинить настоящего виновника (Girard, 1983). Но Жирар не видит того, что его обвинения носят еще более серьезный характер, поскольку суть их сводится к тому, что сами объекты реально ничего не значат. До тех пор пока мы воображаем в наших спорах объективные цели, мы захвачены иллюзиями миметического желания. Это желание, и только оно одно, наделяет объекты ценностью, которой сами они не обладают. Сами по себе они не имеют значения и ничего из себя не представляют. Разоблачая процесс обвинения, Жирар, так же как Болтански и Тевено, навсегда исчерпывает нашу способность обвинять. Но он еще больше усиливает тенденцию нововременных презирать объекты — он выдвигает свое обвинение со всей искренностью, он верит в него и видит в этом тяжело завоеванном презрении наиболее высокое свидетельство морали. Он разоблачитель на все сто и даже больше. Тогда как величие книги Болтански и Тевено состоит в том, что они опустошают разоблачение, делая средоточием своих анализов сам объект, вовлеченный в проверку справедливости суждения.

Под одним моральным суждением, вынесенным посредством разоблачения, находится другое моральное суждение, которое всегда функционирует при помощи сортировки и селекции. Оно называется упорядочиванием, *combinazione*, комбинированием, а также переговорами или компромиссом. Пеги говорил, что гибкая мораль бесконечно более требовательна, чем жесткая. Точно таким же образом обстоят дела с неофициальной моралью, которая постоянно управляет практическими решениями нововременных, а также постоянно перекраивает эти решения. Она презираема, поскольку не допускает никакой возможности негодования, но при этом активна и великодушна, поскольку следует за бесчисленными разветвлениями ситуаций и сетей. Она презираема, поскольку принимает в расчет объекты, которые так же мало являются произвольными целями нашего желания, как и простым вместилищем наших ментальных категорий. Подобно тому как нововременная Конституция презирает гибриды, которым она покровительствует, официальная мораль презирает практические ситуации и объекты, на которых они держатся. Под оппозицией объектов и субъектов кишат медиаторы. Под моральным величием имеет место тщательная сортировка обстоятельств и случаев.

НОВОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО

Теперь у меня есть выбор: или я верю в нововременную Конституцию или же я изучаю одновременно то, что она позволяет, и то, что она запрещает, то, что она проясняет, и то, что она скрывает.

Или я защищаю работу очищения — и сам являюсь тем, кто очищает и бдительно охраняет Конституцию, — или я изучаю одновременно работу медиации и работу очищения, но в этом случае я перестаю быть абсолютно нововременным.

Утверждая, что нововременная Конституция сама не позволяет себя понять, вызываясь обнаружить практику, которая позволяет ей существовать, и заявляя, что теперь критический механизм выходя, я поступаю так, словно мы входим в новую эпоху, которая наступила после эпохи Нового Времени. Буду ли я тогда постмодернистом в буквальном смысле слова? Постмодернизм — симптом, а не свежее решение. Он живет при нововременной Конституции, но не верит больше в те гарантии, которые она предоставляет. Он чувствует, что что-то разладилось в механизме критики, но не способен ни на что другое, кроме как продолжать критику, не веря, однако, в ее основания (Lyotard, 1979). Вместо того чтобы двигаться в направлении эмпирического изучения сетей, которые дают смысл разоблачаемой им работе очищения, постмодернизм отвергает любую эмпирическую работу как иллюзорную и обманчивую. Его адепты, разочарованные рационалисты, очень хорошо чувствуют, что Новое Время завершено, но все так же продолжают придерживаться прежнего деления времени на старое и новое и могут, таким образом, членить его только в терминах следующих одна за другой революций. Они чувствуют себя пришедшими «после» нововременных, но с неприятным чувством, что больше уже не существует никакого «после». «От будущего ждать нечего» — таков сегодня слоган, добавленный к слогану Нового Времени «Прошлое отменяется». Что у них остается? Не связанные друг с другом моменты и не имеющие оснований разоблачения, поскольку постмодернисты не верят больше в те основания, которые им позволили бы разоблачать и негодовать.

Другое решение возникает, как только мы начинаем одновременно следовать за Конституцией и тем, что она запрещает или допускает, как только мы начинаем подробно изучать работу по производству гибридов и работу по исключению этих самых гибридов. Тогда мы и открываем, что никогда не были нововременными в том

смысле, в каком это подразумевается в Конституции. Новое Время так никогда и не началось. Никогда не существовало нововременного мира. Употребление здесь прошедшего времени является значимым, так как речь идет о ретроспективном чувстве, о перечитывании нашей истории. Мы не вступаем в новую эру; мы больше не продолжаем панического бегства пост-пост-постмодернистов; мы не цепляемся больше за авангард авангарда; мы больше не пытаемся быть еще хитрее, быть еще критичнее, положить начало еще одному этапу эры подозрения. Нет, напротив, мы замечаем, что так никогда и не начали вступать в эру Нового Времени. Это ретроспективное отношение, которое разворачивает, вместо того чтобы демаскировать, которое приращивает, вместо того чтобы отсекал, которое примиряется, вместо того чтобы разоблачать, сортирует, вместо того чтобы негодовать, я характеризую выражением «*post-moderne*», **ненововременность** (или «*amoderne*» — анововременность). **Ненововременным** является тот, кто одновременно принимает в расчет Конституцию Нового Времени и те популяции гибридов, которые она отрицает.

Конституция объясняла все, упуская при этом из виду то, что находилось посередине. «Это пустяки, это совсем ничто», говорила она о сетях, «простой остаток». Теперь гибриды, чудовища, смеси, существование которых она отказывается объяснять, составляют почти что всё — они составляют не только наши коллективы, но также и другие общества, неправомерно называемые **донововременными**. В тот самый момент, когда двойное Просвещение марксистов, казалось, все уже объяснило; в тот самый момент, когда крах их тотального объяснения привел постмодернистов к тому, что они погрузились в отчаяние самокритики, мы открываем, что объяснения еще не начались и что так было всегда, что мы никогда не были ни нововременными, ни критиками, что никогда не было никакого прежнего, никакого Старого Режима (Mayer, 1983), что мы никогда так и не покидали прежней антропологической матрицы и что иначе и быть не могло.

Заметить то, что мы никогда не были нововременными и что нас отделяют от других коллективов только весьма незначительные различия, не значит тем не менее стать реакционными. Антинововременные ожесточенно сражаются с эффектами, производимыми Конституцией, но в то же время полностью ее принимают. Они хотят защитить либо какие-то локальные особенности, либо дух, либо чистую материю, либо рациональность, либо прошлое, либо уни-

версальность, либо свободу, либо общество, либо Бога, как если бы все эти сущности действительно существовали и если бы они действительно обладали той формой, которую им предоставляет нововременная Конституция. Антинововременные меняют только знаки и направление своего негодования. Они перенимают у нововременных даже их главную особенность — идею времени с его необратимым движением, которое полностью отменяло бы свое собственное прошлое. Хотим ли мы сохранить такое прошлое или хотим его уничтожить — в обоих этих случаях продолжает присутствовать революционная идея *par excellence*, идея, что революция возможна. Но теперь сама эта идея кажется нам преувеличенной, так как революция является только одним ресурсом среди множества остальных в историях, в которых нет ничего революционного или необратимого. Нововременный мир *в потенции* является тотальным и необратимым изобретением, которое порывает с прошлым так же, как Французская революция или революция большевиков *в потенции* принимает роды нового мира. Рассматриваемый «в сетях» нововременный мир, так же как и революции, допускает только пролонгирование практик, ускорение циркуляции знаний, расширение обществ, рост числа актантов, многочисленные уточнения прежних воззрений. Когда мы рассматриваем их «в сети», инновации Запада продолжают оставаться признаваемыми и значимыми, но больше уже не из чего творить всю эту историю — историю радикального разрыва, историю нашей неизбежной судьбы, необратимого счастья или несчастья.

Антинововременные, как и постмодернисты, ведут игру на территории своих противников. Но нам открылась другая территория, намного более просторная, намного менее спорная — территория *ненововременных* миров. Это Срединная Империя, столь же обширная, как Китай, и столь же неведомая нам.

3. РЕВОЛЮЦИЯ

ЛЮДИ НОВОГО ВРЕМЕНИ — ЖЕРТВЫ СОБСТВЕННОГО УСПЕХА

Если критический аппарат нововременных сделал их непобедимыми, почему сегодня они не уверены в своей собственной судьбе? Если эффективность Конституции на са-

мом деле зависела именно от ее темной стороны, почему же теперь я могу связать эту темную сторону с ее светлой стороной? Связь между этими двумя совокупностями практик должна была измениться таким образом, чтобы я мог следовать одновременно за практикой очищения и практикой перевода. Если мы не можем с легким сердцем решать задачи модернизации, то, наверное, какие-то непредвиденные трудности стали препятствовать работе всей этой механики. Что же такое произошло, что делает работу очищения столь немыслимой, тогда как несколько лет назад именно разворачивание сетей казалось абсурдным или скандальным?

Предположим, что нововременные стали жертвами своего же собственного успеха. Согласен, что это достаточно грубое объяснение, и тем не менее все происходит так, как если бы масштаб мобилизации коллективов привел к такому умножению гибридов, что конституционные рамки, которые их отрицают, но которые тем не менее позволяют им существовать, больше не в состоянии их сдерживать. Нововременная Конституция рухнула под собственной тяжестью, она потонула в тех смесях, которые допускала в качестве материала для экспериментов, поскольку скрывала последствия их использования для устройства общества. В итоге третье сословие оказалось слишком многочисленным, чтобы быть в достаточной мере представленным на уровне объектов или субъектов.

В тот момент когда появилось лишь несколько вакуумных насосов, их еще можно было описать при помощи двух рубрик — законов природы и законов политических репрезентаций. Но когда все вокруг оказалось заполнено замороженными эмбрионами, экспертными системами, вычислительными машинами, роботами, оборудованными сенсорными датчиками, гибридами кукурузы, банками данных, психотропными средствами, китами с импланти-

рованными радиозондами, синтезаторами генов, машинами, анализирующими аудиторию, и т. д., когда наши газеты предоставляют всем этим чудовищам место на своих страницах и когда все эти монстры не находят себе места ни среди объектов, ни среди субъектов, ни посередине — действительно уже пора что-то делать. Все происходит так, словно два полюса Конституции наконец смешались друг с другом благодаря самой практике медиации, которую эта Конституция одновременно освобождала и осуждала. Все происходит так, как если бы больше не было достаточного количества судей и критиков, которые могли бы обсуждать проблему гибридов. Система очищения перегружена так же, как перегружена наша судебная система.

Возможно, рамки Нового Времени смогли бы продержаться еще некоторое время, если бы сам ход его развития не привел к короткому замыканию между природой, с одной стороны, и человеческими массами — с другой. До тех пор пока природа была удалена от нас и находилась под властью человека, она еще была в некоторой степени похожа на конституционный полюс традиции. Она воспринималась в качестве трансцендентного, неисчерпаемого, далекого резерва. Но куда отнести озоновую дыру, глобальное потепление планеты? Где разместить все эти гибриды? Человечны ли они? Человечны, поскольку они наше творение. Являются ли они природными? Да, поскольку они не являются созданными нами. Носят ли они локальный или всеобщий характер? И то и другое. Если говорить о человеческих массах, которым позволили многократно увеличиться как добродетели, так и пороки медицины и экономики, то локализовать эти массы ничуть не легче. Где они должны найти себе пристанище? Оказываемся ли мы тогда в биологии, социологии, естествознании или социобиологии? Они есть наше создание, и, однако, законы демографии и экономики бесконечно нас превосходят. Имеет ли демографический взрыв локальный или всеобщий характер? И то и другое. Таким образом, две конституционные гарантии Нового Времени — универсальные законы вещей и неотчуждаемые права субъектов — больше не могут рассматриваться ни как относящиеся к природе, ни как относящиеся к обществу. Судьба страдающих от голода масс, как и судьба нашей бедной планеты, составляют один и тот же Гордиев узел, который не в состоянии разрубить уже никакой Александр.

Итак, давайте скажем, что нововременные потерпели поражение. Их Конституция еще могла абсорбировать несколько контрпри-

меров, несколько исключений; она даже поддерживала свое существование благодаря им. Но только не теперь, когда исключения множатся, когда третье сословие вещей и Третий Мир объединяются для того, чтобы сообща захватить все ее ассамблеи. Вслед за Мишелем Серром я называю такие гибриды квазиобъектами, поскольку они не занимают ни местоположения объектов, предусмотренного для них Конституцией, ни положения субъектов и поскольку их невозможно втиснуть в пространство между теми и другими, что превратило бы их в простую смесь, состоящую из природных вещей и социальных символов. Любопытно, что именно Леви-Строс, пытаясь отыскать такой пример, который заставил бы нас почувствовать, насколько близко нам первобытное мышление, лучше всего определил то внутреннее слияние, благодаря которому стираются следы двух составляющих — природы и общества, — о которых, однако, он говорит, что они отражаются друг в друге, «как в зеркале»:

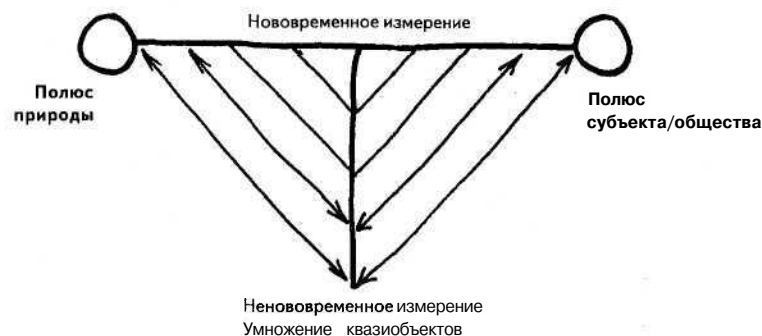
Экзотический наблюдатель, несомненно, посчитал бы, что автомобильное движение в центре большого города или на шоссе превосходит человеческие возможности; и оно их действительно превосходит — в том, что оно сталкивает лицом к лицу не людей, не природные законы, а системы природных сил, очеловеченных интенциями водителей, и людей, трансформированных посредством физической энергии в природные силы, медиаторами которых они сами становятся. Речь идет уже не о действии какого-либо агента на инертный объект и не об обратном действии объекта, выдвинутого на роль агента, на субъект, который оказался бы обобраным, без какого бы то ни было возмещения к выгоде объекта, — то есть не о ситуациях, включающих с той или с другой стороны определенную долю пассивности. Сопоставляемые существа противостоят друг другу одновременно и как субъекты, и как объекты; и простое изменение в том коде, который они используют, в разделяющем их расстоянии имеет силу бессловесного заклинания (Lévi-Strauss; 1962, p. 294).¹

Чтобы принять такие квазиобъекты, в действительности столь мало отличающиеся от квазиобъектов, создаваемых первобытным мышлением (см. ниже), мы должны очертить пространство, которое больше уже не является пространством нововременной Конституции, поскольку оно составляет зону медиации, которую Конститу-

¹ См. также русскоязычное издание: Клод Леви-Строс, Первобытное мышление, М.: Республика, 1994, с. 288, пер. А.Б. Островского.

ция, как она утверждала, опустошает. К практике очищения — горизонтальной линии — необходимо добавить практики медиации — вертикальную линию.

Схема 4



Вместо того чтобы проследить увеличение квазиобъектов, проецируя их на одну только вертикальную ось, мы должны определить их местоположение также и при помощи горизонтальной оси. В таком случае вся диагностика кризиса, с которой я и начал это исследование, сразу же становится очевидной: увеличившееся количество квазиобъектов заполнило собой все пространство, отведенное нововременной Конституцией. На практике люди Нового Времени использовали оба эти измерения, но наиболее очевидным образом очерчивали только одно — так, чтобы второе оставалось только намеченным пунктиром. Неноввременные должны четко прочертить и то и другое, чтобы одновременно понять успехи нововременных, а также их недавние поражения, однако не увязнув при этом в постмодернизме. Развертывая два эти измерения одновременно, мы сможем принять существование гибридов и дать им место, имя, пристанище, философию, онтологию и, как я надеюсь, новую Конституцию.

ВЕЛИКИЙ РАЗРЫВ МОДЕРНИЗИРУЮЩИХ ФИЛОСОФИЙ

эту Срединную Империю, которая все время продолжала расширяться? Если все сильно упростить, то можно распознать три основ-

Каким же образом главные системы философии пытались одновременно абсорбировать нововременную Конституцию и квазиобъекты,

ные стратегии. Первая состоит в том, чтобы произвести **разрыв** между объектами и субъектами, постоянно увеличивая расстояние между ними; вторая, известная под именем «семиотического переворота», состоит в том, чтобы заниматься серединой, забывая при этом о крайних точках; третья, наконец, состоит в отделении мысли о Бытии от мысли о сущем.

Давайте, не задерживаясь на деталях, сделаем обзор первой группы. Чем больше умножаются квазиобъекты, тем больше все главные философии считают несоизмеримыми два конституционных полюса, утверждая при этом, что не существует более перво-степенной задачи, чем их примирение. Таким образом, они, каждая по-своему, представляют парадокс Нового Времени, запрещая то, что эти конституционные полюса позволяют, и позволяя то, что они запрещают. Каждая из этих философий является, конечно, бесконечно более тонкой, чем они предстают в нашем скромном обзоре; каждая, по определению, является неноввременной и направлена на разрешение той же самой проблемы, которую я столь неловко пытаюсь разрешить, однако их официальные и популяризируемые интерпретации обнаруживают их удивительную последовательность в решении этого вопроса: как умножать квазиобъекты, не предоставляя им права гражданства, для того чтобы сохранить Великий Разлом, который отделяет нас как от нашего прошлого, так и от других коллективов?

Как мы видели, Гоббс и Бойль так ожесточенно полемизировали друг с другом только потому, что им с трудом удавалось отделить полюс немых и природных нечеловеков от полюса сознательных и говорящих граждан. Разделение двух артефактов казалось им настолько неустойчивым, что они могли провести между гибридами только самое незначительное различие. Наша Конституция получает свою подлинно каноническую формулировку только с появлением **кантианства**. Это и есть коперниковская революция: то, что **являлось только простым** различием, было радикальным образом представлено как полный развод. Вещи-в-себе становятся недоступными, в то время как трансцендентальный субъект симметричным образом бесконечно отдаляется от мира. Тем не менее две гарантии остаются в отчетливо симметричном положении, поскольку знание оказывается возможным только по середине, в точке существования феноменов, за счет приложения к ним двух чистых форм, форм вещи-в-себе и субъекта. Гибриды действительно получают права гражданства, но только как смеси чистых форм, взятых

в равной пропорции. Конечно же, работа медиации остается видимой, поскольку Кант увеличивает количество промежуточных этапов, необходимых для того, чтобы перейти от далекого мира вещей к еще более далекому миру *ego*. Однако эти медиации рассматриваются уже не более как простые посредничества, которые перемещают или транслируют чистые, единственно признаваемые, формы. Умножение слоев посредников позволяет признать роль квазиобъектов, не наделяя их онтологией, которая опять поставила бы под сомнение **«коперниковский переворот»**. Эта кантианская формулировка наглядно проявляется и по сей день, всякий раз, когда человеческий разум наделяется способностью произвольно навязывать формы аморфной, но реальной материи. Конечно, король-Солнце, вокруг которого вращаются объекты, будет свергнут во имя множества других претендентов: общества, **эпистемы**, ментальных структур, культурных категорий, интерсубъективности, но все эти дворцовые перевороты не изменят местоположения центра, который я по этой причине назову субъектом / обществом.

Величие диалектики проистекает из ее попытки в последний раз пройти полный круг доновременности, охватывая все божественные, социальные и природные существа, ради того, чтобы избежать кантианского противоречия между ролью очищения и ролью медиации. Но диалектика ошиблась в том, что считала противоречием. Она верно распознала противоречие между полюсом субъекта и полюсом объекта, но она не увидела противоречия между нововременной Конституцией в целом, которая утверждалась в этот момент, и распространением квазиобъектов, которым был отмечен как XIX век, так и наш собственный. Или, скорее, эта диалектика полагала, что сможет абсорбировать умножение квазиобъектов, отменяя Конституцию. Гегель, веря в то, что ему удастся преодолеть введенное Кантом разделение между **вещами-в-себе** и субъектом, сделал его еще более ощутимым. Он возвел это разделение на уровень противоречия и затем, доведя его до крайней точки и превзойдя, превратил в движущую силу истории. То, что было **различием** в XVII веке, оказывается разводом в XVIII веке, а затем обернется еще более сложным противоречием в XIX веке, где оно и становится главной пружиной всего сюжета. Как лучше проиллюстрировать этот нововременный парадокс? Диалектика еще более увеличивает пропасть, отделяющую полюс объекта от полюса субъекта, но поскольку она в конце концов преодолевает и уничтожает эту пропасть, ей кажется, что она пошла дальше Канта! Она

говорит только о медиациях, и, однако, бесчисленные медиации, которыми она заполняет свою грандиозную историю, являются только посредниками, транслирующими чистые онтологические качества либо духа (как у правых), либо материи (как у левых). В конце концов, если существует пара, которую никто не может примирить, то это полюс природы и полюс духа, поскольку сама их оппозиция сохранена и снята, то есть, иными словами, отрицается. Куда уж еще нововременнее! Наши наиболее великие модернизаторы были, без сомнения, диалектиками — диалектиками могущественными, поскольку, как казалось, они обобщили все знания и всю историю и поскольку они объединили в своих руках все возможные критические ресурсы.

Схема 5



Но квазиобъекты, эти монстры, появившиеся в первую, вторую, третью промышленные революции, эти социализированные факты и люди, ставшие элементом природного мира, продолжали умножаться. Как только всеобщности замкнулись в самих себе, они

начали повсюду давать трещины. За концом истории все равно следует какая-нибудь история.

Феноменология в последний раз предприняла попытку произвести великий разрыв, но на этот раз, избавляясь от своего балласта, освобождаясь от двух полюсов, которые представляют собой чистое сознание и чистый объект, чтобы в буквальном смысле слова занять место посередине и чтобы попытаться в своей огромной тени скрыть зияющий разрыв, который она уже больше не могла абсорбировать. И вновь нововременному парадоксу удалось продлить свое существование. Понятие интенциональности превращает различие, развод, противоречие в непреодолимое напряжение между объектом и субъектом. Надежды, которые связывались с диалектикой, были оставлены, поскольку это напряжение не предполагает никакого решения. У феноменологов действительно возникает ощущение, что они превосходят Канта, Гегеля и Маркса, поскольку больше уже не соотносят никакую сущность ни с чистым объектом, ни с чистым субъектом. У них действительно создается впечатление, что они говорят только о медиации, которая не прикреплена ни к одному полюсу. И однако, они только тем и занимаются, что проводят линию между двумя этими полюсами, редуцированными почти что до полного отсутствия. Феноменологи, эти беспокойные модернизаторы, только и могут, что растягивать «интенцию, направленную на что-либо», которая становится не более чем хрупким мостком над постоянно увеличивающейся пропастью. Им только и оставалось, что рухнуть вниз. Так это и произошло. И в ту же самую эпоху двойное предприятие Башляра, еще больше преувеличивая объективность наук за счет разрыва со здравым смыслом и симметричным образом преувеличивая беспредметное могущество воображения благодаря эпистемологическим разрывам, становится символом самого этого невозможного кризиса, этого разрывания на части.

КОНЕЦ КОНЦОВ

Продолжение этой истории невольно принимает комический оборот.

Чем более широким становится разрыв, тем больше все это начинает напоминать выступление канатоходца. Вплоть до настоящего момента великие философские направления оставались серьезными и глубокими, они обосновывали, они исследовали, они сопровождали это удивительное умножение квазиобъектов, они, несмотря ни на что, хотели верить, буд-

то эти объекты еще можно проглотить и как-то переварить. В то время как они говорили об одной лишь чистоте, их цель состояла только в том, чтобы уловить работу этих гибридов. Все эти мыслители страстно интересовались точными науками, технологиями и экономиками, поскольку именно в этом они видели и главную опасность, и возможность спасения. Но что сказать о философиях, которые пришли им на смену? И в первую очередь — как их назвать? Нововременными? Нет, поскольку они больше не пытаются держаться за оба конца одной цепи. Постмодернистскими? Еще нет, худшее еще впереди. Давайте назовем их допостмодернистскими, чтобы указать на тот факт, что они воплощают собой переходное состояние. Они возвели то, что сначала было только различием, потом разводом, потом противоречием, потом непреодолимым напряжением, на уровень несоизмеримости.

Нововременная Конституция в целом уже объявила то, что не существует общей меры для мира субъектов и мира объектов. Но та же самая Конституция сразу же аннулировала эту дистанцию, практикуя нечто прямо противоположное, меряя людей и вещи одним и тем же аршином, под видом посредников умножая медиаторов. Допостмодернисты, в свою очередь, искренне верят в то, что говорящие субъекты несоизмеримы с природными объектами и с эффективностью техники, или в то, что говорящие субъекты должны стать таковыми, если они не являются несоизмеримыми в достаточной степени. Тем самым они аннулируют проект Нового Времени, утверждая, что пытаются его спасти, поскольку придерживаются той половины Конституции, которая говорит о чистоте, но игнорируют другую половину, которая практикует лишь создание гибридов. Они воображают, что не существуют, что не должны существовать никакие медиаторы. Вставая на сторону субъектов, они изобретают речь, герменевтику, смысл и позволяют миру вещей дрейфовать в его небытии. Конечно, по другую сторону зеркала точно такую же позицию занимают ученые и технократы. Чем больше герменевтика распутывает свой клубок, тем больше натурализм распутывает свой. Но это повторение делений истории становится карикатурой: Шанже и его нейроны, с одной стороны, Лакан и его анализанты — с другой. Эта пара близнецов уже не хранит верность интенции нововременности, поскольку уже не стараются осмыслить парадокс, состоящий в умножении гибридов внизу, в то время как на существование последних накладывается запрет наверху.

Но еще хуже, когда проект Нового Времени защищают от опасности исчезновения. Наиболее отчаянную попытку такого рода предпринял Хабермас (Habermas, 1988). Не входит ли в его задачу показать, что ничто никогда глубоко не разделяло человека и вещи? Не собирается ли он возобновить проект Нового Времени, продемонстрировать механизмы функционирования практики, скрывающиеся под всеми гарантиями Конституции? Совершенно напротив: он полагает, что главная опасность происходит из смешивания говорящих и мыслящих субъектов с чистой естественнонаучной и технической рациональностью, которую допускала старая философия сознания! «Я уже высказывал то наиболее принципиальное соображение, что парадигма знания об объектах должна быть заменена парадигмой взаимопонимания между субъектами, способными говорить и действовать» (ibid., p. 350). Если кто-то и ошибся в выборе своего врага, то именно это трансформированное кантианство XX века, которое пытается увеличить пропасть между объектами, познаваемыми субъектом, с одной стороны, и коммуникативным разумом — с другой, тогда как прежнее сознание имело по крайней мере ту заслугу, что было направлено на объект и, следовательно, таким образом напоминало об искусственном происхождении этих двух полюсов Конституции. Но Хабермас хочет сделать несоизмеримыми два этих полюса в тот самый момент, когда квазиобъекты размножились настолько, что уже, кажется, невозможно найти среди них хотя бы один, который в той или иной степени напоминал бы свободного говорящего субъекта или овеществленный природный объект. И если Канту не удалось это сделать во время первой индустриальной революции, то как это может получиться у Хабермаса после шестой или седьмой? Еще старый добрый Кант умножал слои посредников, которые позволили ему установить переход между ноуменами и трансцендентальным я. Но ничего такого нет и в помине тогда, когда технический разум должен удерживаться как можно дальше от свободной дискуссии людей.

Ситуация с допостмодернистами чем-то напоминает феодальную реакцию, имевшую место в самом конце Старого Режима: сознание чести никогда не было таким обостренным, никогда так скрупулезно не подсчитывался процент голубой крови, но уже поздно было радикальным образом отделять третье сословие от дворян! Точно так же, сейчас уже поздно снова производить что-то вроде коперниковской революции и требовать, чтобы вещи враща-

лись вокруг интерсубъективности. Хабермас и его последователи продлевают жизнь проекту Нового Времени только за счет того, что воздерживаются от любого эмпирического исследования (Habermas, 1987); такое исследование слишком быстро обнаружило бы существование третьего сословия и слишком тесно переплелось бы с бедными говорящими субъектами. Пусть гибнут сети, лишь бы только коммуникативный разум торжествовал.

Тем не менее Хабермас остается честным и достойным уважения. Даже в созданной им карикатуре проекта Нового Времени все еще чувствуются отблески былого величия Просвещения XVIII века или отзвуки критики XIX столетия. Даже в этом навязчивом стремлении отделять объективность от коммуникации мы можем увидеть след, напоминание, шрам, оставленный невозможностью произвести такое разделение. И только начиная с постмодернистов, совершается отход от проекта Нового Времени. Мне не удалось найти достаточно выразительного слова для того, чтобы обозначить это движение или скорее эту интеллектуальную неподвижность, посредством которой люди и нечеловеки могут дальше плыть по течению. Это уже больше, чем несоизмеримость, это «гипернесоизмеримость».

Один пример демонстрирует этот отказ от работы мысли, как и провал проекта постмодерна. «Как философ, я подвожу итог катастрофы», отвечает Жан-Франсуа Лиотар славным ученым, которые попросили его осмыслить ту связь, благодаря которой наука присоединяется к человеческому обществу:

Я только утверждаю, что в экспансии науки нет ничего человеческого. Может быть, наш мозг — это лишь временный носитель процесса усложнения. Возможно, отныне речь должна идти о том, чтобы оторвать этот процесс от того, что, вплоть до настоящего времени, его поддерживало. Я убежден, что именно это вы [ученые!] пытаетесь делать сейчас. Информатика, генная инженерия, физика и астрофизика, космонавтика, робототехника трудятся сегодня во имя сохранения этой сложности в таких условиях жизни, которые независимы от жизненных условий, существующих на Земле. Но я не вижу, в каком отношении все это является человеческим, если под человеком понимают человеческие сообщества с их культурными традициями, установленными в ту или иную эпоху в конкретных местах этой планеты. Я не сомневаюсь ни на одну секунду в том, что этот «а человеческий процесс» мог бы иметь, помимо своих разрушительных результатов, некоторые благотворные

последствия для человечества. Но это не имеет ничего общего с эмансипацией человека (Lyotard, 1988, p. XXXVIII).

Ученым, которые удивлены таким катастрофическим подведением итогов и которые все еще продолжают верить в полезность философов, Лиотар мрачно ответил: «Я полагаю, что вы будете еще долго нас ждать!» В данном случае речь идет о крахе постмодернизма (Hutcheon, 1989), а не о крахе философии. Постмодернисты все еще считают себя нововременными, поскольку принимают полное разделение между материальным и техническим миром, с одной стороны, и языковыми играми говорящих субъектов — с другой. Но они ошибаются, потому что подлинно нововременные всегда тайком плодили медиаторов, для того чтобы попытаться осмыслить как удивительное распространение гибридов, так и их очищение. Науки были так же тесно связаны с коллективами, как насос Бойля или Левиафан Гоббса. *Именно это двойное противоречие, противоречие между двумя конституционными гарантиями, с одной стороны, и между этой Конституцией и практикой медиации — с другой, является нововременным.* Веруя в полное разделение этих трех понятий, в самом деле полагая, что ученые — это инопланетяне, постмодернисты в действительности завершают эпоху Нового Времени, окончательно изымая пружину, которая создавала ее напряжение.

Существует только одна положительная вещь, которую можно сказать о постмодернистах: после них больше ничего нет. Отнюдь не являясь концом конца, они знаменуют собой конец концов, то есть конец способов закончить что-либо и пойти дальше, благодаря которым всё более радикальные и революционные критики следовали друг за другом со все более головокружительной скоростью. Как же мы можем идти дальше при отсутствии напряжения между природой и обществом? Должны ли мы будем вообразить какую-то супер-гипер-несоразмерность? *«Ромо»*, как модные англичане называют постмодернистов, являются концом истории, и, самое забавное то, что они этому действительно верят. И чтобы убедительно доказать всем, что они не наивны, постмодернисты делают вид, что радуются этому концу! «Вы не должны ничего ждать от нас». Нет, действительно не должны. Но они так же мало способны завершить историю, как и не оказаться наивными. Они просто попадают в тупик, поджидающий авангарды, за которыми больше не следует никакое войско. Позволим им мирно почивать

до конца тысячелетия, как за то ратует Бодрийяр, и перейдем к другим вещам. Или, точнее, давайте пройдем наш путь в обратном направлении. Давайте перестанем все время двигаться вперед.

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОРОТЫ

В то время как модернизирующие философии конструировали великий разрыв между двумя полюсами Конституции, для того чтобы вместить распространение квазиобъектов, возникла другая стратегия, направленная на то, чтобы захватить то срединное пространство, размеры которого постоянно увеличивались. Вместо того чтобы сконцентрироваться на крайних точках работы очищения, она сосредоточилась на одном из ее медиаторов, языке. Объектом всех этих философий — называются ли они «семиотикой», «семиологией» или «лингвистическим переворотом» — является превращение дикурса из прозрачного посредника, который устанавливает контакт человеческого субъекта с природным миром, в медиатора, независимого как от природы, так и от общества. В течение последних пятидесяти лет эта автономизация сферы значения занимала наиболее выдающиеся умы нашего времени. И если они, так же как и все остальные, завели нас в тупик, то это произошло не потому, что они «забыли человека», или «утратили референцию», как это сегодня утверждает модернистская реакция, но потому, что они сами ограничили свое предприятие одним только дискурсом.

Схема 6



Эти философии считали возможным автономизировать значение, только заключая в скобки, с одной стороны, вопрос о референции к природному миру и идентичность говорящих и мыслящих субъектов — с другой. Для них язык все еще занимает срединное место в нововременной философии — место встречи феноменов у Канта, но вместо того, чтобы становиться более или менее прозрач-

Ным или более или менее непроницаемым, более или менее верным или более или менее предательским, он занял все место вообще. Язык стал законом для себя самого и своим собственным миром. «Система языка», «языковые игры», «означающее», «письмо», «текст», «текстуальность», «повествования», «дискурс» — таковы некоторые понятия, характеризующие **Империю знаков**. В то время как модернизирующие философии **все более и более** увеличивали расстояние, которое отделяло объекты от субъектов, делая их несоизмеримыми, философии языка, дискурса или текста занимали срединное пространство, до сих пор остававшееся пустым, полагая себя весьма далекими от природы и обществ, которые они вынесли за скобки (Pavel, 1986).

Значение этих философий состояло в том, что они, защищаясь от двойной тирании референта и говорящего субъекта, развивали понятия, придающие достоинство медиаторам, которые больше уже не являются простыми посредниками или простыми средствами, передающими значения от природы тем, кто говорит, или наоборот. Текст и язык создают смысл; они даже порождают внутренние референции дискурса и говорящих, помещенных в дискурс (Greimas, Courtès, 1979). Чтобы создать природу и общество, они нуждаются только в самих себе, и материей для них является только форма повествований. Здесь первенство принадлежит означающему, а означаемое движется вокруг него, будучи лишено каких бы то ни было привилегий. Текст становится первичным, а то, что он выражает, или то, что он передает, оказывается вторичным. Говорящие субъекты превращаются в многочисленные фикции, порождаемые эффектами смысла; что касается автора, то он не более чем артефакт своего же собственного письма (Eco, 1985). Объекты, о которых ведется речь, становятся эффектами реальности, скользящими по поверхности письма. Все становится знаком и системой знаков — архитектура и кухня, мода и мифология, политика и само бессознательное (Barthes, 1985).

Наиболее слабое место этих философий состояло в том, что они сделали более сложными соединения между автономизированным дискурсом и природой или субъектом/обществом, которых они оставили нетронутыми, предварительно разложив их по разным ячейкам. Действительно, трудно в течение долгого времени вообразить, что мы являемся текстом, который производит сам себя, дискурсом, который говорит сам по себе, игрой означающего без означаемого. Трудно свести весь космос к одному большому пове-

ствованию, физику субатомных частиц к тексту, все социальные структуры к дискурсу. Империя знаков просуществовала не дольше, чем империя Александра, и точно так же была поделена между ее генералами (Pavel, 1988). Некоторые хотели сделать автономную систему языка более приближенной к реальности, восстанавливая в правах говорящего субъекта или даже социальную группу, и ради этого отправились на поиски старой доброй социологии. Другие стремились сделать семиотику менее абсурдной, восстанавливая контакт с референтом, взывая к миру науки или здравого смысла, для того чтобы вновь обрести надежное основание в дискурсе. Социологизация, натурализация — выбор здесь всегда невелик. Другие сохранили первоначальное направление, заданное Империей знаков, и принялись деконструировать самих себя, создавая автономные толкования автономных толкований, и так вплоть до самоуничтожения.

Благодаря этому фундаментальному повороту мы узнали, что единственное средство избежать симметричных ловушек натурализации и социологизации состоит в том, чтобы предоставить языку его автономию. Как же по-другому развернуть срединное пространство, расположенное между природой и обществами, чтобы расположить там квазиобъекты и квазисубъекты? Различные варианты семиотики предлагают набор превосходных инструментов, позволяющих проследить языковые медиации. Но избегая ту двойную проблему, которую представляют собой связи с референтом и связи с контекстом, они мешают нам следовать за квазиобъектами до самого конца. Последние, как я сказал, являются одновременно реальными, дискурсивными и социальными. Они принадлежат природе, коллективу и дискурсу. Если автономизировать дискурс, оставляя природу эпистемологам, а общество — социологам, то становится невозможным соединение этих трех ресурсов.

Ситуация постмодернизма лишь недавно смогла расположить друг подле друга, не связывая их между собой, эти три больших ресурса критики: природу, общество и дискурс. В том случае, если они удерживаются на расстоянии друг от друга и все три не принимают участие в работе по созданию гибридов, они формируют ужасающий образ нововременного мира: абсолютно выхолощенные природа и техника; общество, состоящее только из отражений, ложных подобий, иллюзий; дискурс, конституированный только эффектами смысла, оторванными от всего остального. Есть от чего прийти в отчаяние. Вот причина мрачного отчаяния постмодернис-

тов, пришедшего на смену безысходной тоске мастеров абсурда, их предшественников. Однако постмодернисты никогда не достигли бы такой степени сарказма и ощущения покинутости, если бы не считали, что в довершение всего они забыли о Бытии.

КТО ЗАБЫЛ О БЫТИИ?

Вначале, однако, мысль о различии Бытия и сущих казалась совсем неплохим средством, чтобы приютить квазиобъекты, средством, прибавлявшимся к тем, которые предлагались модернизирующими философиями и лингвистическим поворотом. Квазиобъекты не принадлежат ни природе, ни обществу, ни субъекту, точно так же они не принадлежат и языку. Деконструируя метафизику — то есть нововременную Конституцию, взятую изолированно от работы гибридизации, — Хайдеггер указывает ту центральную точку, где все связывается воедино, точку, удаленную как от субъекта, так и от объекта. «Отчуждающее в этом мышлении бытия — его простота. Именно это не подпускает нас к нему» (Heidegger, 1964, p. 167).¹ Вращаясь вокруг этого центра, этого *омфалоса*, философ и впрямь приходит к утверждению, что существует связь между метафизическим очищением и работой медиации. «Мысль нисходит к нищете своего предваряющего существа. Мысль собирает язык в простом высказывании. Язык есть язык Бытия, как облака — облака в небе» (Ibid., p. 172).²

Но эту восхитительную простоту философ сразу же теряет. Почему? По иронии судьбы, он сам указывает, почему это происходит, приводя притчу о Гераклите. Гераклит грелся у печи булочника. «*Einaigar kai entautha theous*». «Здесь ведь тоже присутствуют боги», — говорит он посетителям, которые были удивлены, увидев, что он греется у огня, как самый простой смертный. «*Auch hier nämlich wesen Götter an*» (S. 145). Подобно наивным посетителям Гераклита, Хайдеггер и его эпигоны стремятся отыскать Бытие только на лесных тропинках Шварцвальда, которые никуда не ведут. Весь остальной мир — это пустыня. Боги не могут находиться в технике — это чистый Постав Бытия (Ge-Stell), это неизбежная судьба (Geschick), это высшая опасность (Gefahr). Не надо искать

этих богов и в науке, так как у нее нет никакой другой сущности, нежели сущность техники. Они отсутствуют в политике, социологии, психологии, антропологии, истории — которая есть история Бытия и исчисляется тысячелетиями. Богов нельзя найти в экономике — это чистый расчет, на все времена погрязший в сущих и в заботе. Их нет ни в философии, ни в онтологии, которые позабыли о своем предназначении вот уже 2500 лет. Таким образом, Хайдеггер относится к нововременному миру точно так же, как относятся к Гераклиту его посетители: с презрением.

И однако, «здесь ведь тоже присутствуют боги». Они присутствуют в гидроэлектростанциях по берегам Рейна, в субатомных частицах, в кроссовках «Адидас», точно так же, как в старых сабо, вырезанных вручную, в агропромышленноеTM, точно так же, как и в старом пейзаже, в торговых расчетах, так же, как и в душераздирающих стихах Гельдерлина. Но почему же философы больше не признают их? Потому что они верят тому, что нововременная Конституция говорит о себе. Этот парадокс не должен нас больше удивлять. Нововременные действительно заявляют, что техника является только чистым инструментальным господством, наука — чистым поставом (Ge-Stell) и чистым свершением, что экономика — это чистый расчет, капитализм — чистое воспроизводство, субъект — чистое сознание. Они это утверждают, но, главное, не надо особенно им верить, поскольку то, что они утверждают, это только половина нововременного мира, работа очищения, дистиллирующая то, что ей предоставляет работа по умножению гибридов.

Кто же забыл о Бытии? Никто никогда не забывал о нем, иначе природа действительно была бы просто-напросто «состоящей в наличии». ¹ Посмотрите вокруг себя: научные объекты циркулируют одновременно как субъекты, объекты и дискурсы. Сети полны бытия. Если говорить о машинах, то они нагружены субъектами и коллективами. Как сущее может избавиться от своего разрыва, своего отличия, своей незавершенности, своей отметины? Никто не властен совершить это, или, в противном случае, надо представить себе, что мы действительно были нововременными.

Действительно ли кто-то забыл о Бытии? Да, тот, кто на самом деле верил, что Бытие на самом деле забыто. Как об этом говорит

¹ См. также русскоязычное издание: Мартин Хайдеггер, *Время и бытие*, М.: Республика, 1993, с. 219, пер. В. Бибихина.

² Там же, с. 220.

¹ Там же, с. 230–231.

Леви-Строс, «варвар это в первую очередь тот, кто верит в варварство». Те, кто перестали эмпирически изучать науку, технику, право, политику, экономику, религию, литературу, потеряли следы Бытия, которые повсюду рассеяны среди сущностей. Если, презирав эмпиризм, вы покидаете сначала область точных наук, потом гуманитарных, затем традиционную философию, затем науки о языке и если вы замкнулись в вашем лесу, тогда вы ощутите подлинно трагическую нехватку. Но именно вы, а не мир, испытываете эту нехватку. Эту очевидную слабость эпигоны Хайдеггера превратили в силу. «Мы не знаем ничего эмпирического, но это неважно, потому что ваш мир лишен Бытия. Мы храним, защищая от всего на свете, слабое пламя мысли о Бытии, а вы, у кого есть все остальное, вы не имеете ничего». Напротив, у нас есть все, поскольку у нас есть Бытие и сущее, и мы никогда не забывали о разнице между ними. Мы осуществляем невозможный проект Хайдеггера, верившего в то, что нововременная Конституция говорит о самой себе, не понимая, что речь идет лишь о половине более масштабного механизма, который никогда так и не вышел за пределы старой антропологической матрицы. Никто не может забыть о Бытии, поскольку никогда не было нововременного мира и, следовательно, метафизики. Мы всегда оставались досократиками, докартезианцами, докантианцами, доницшеанцами. Никакая радикальная революция не может нас отделить от этого прошлого. Да, Гераклит — более надежный вожатый, чем Хайдеггер: *«Einai gar kai entautha theous»*.

НАЧАЛО ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ПРОХОДИТ

Умножение квазиобъектов было, таким образом, воспринято при помощи трех различных стратегий: во-первых, все увеличивающегося разделения между полюсом природы — вещей-в-себе — и полюсом общества или субъекта — людей-между-собой; во-вторых, автономизации языка или смысла; наконец, деконструкции западной метафизики. Четыре различных репертуара — натурализация, социологизация, дискурсивизация и, наконец, забвение Бытия — позволяют критике все более усиливать концентрацию своих едких кислот. Но никакой из этих репертуаров (взятый сам по себе) не позволяет понять нововременной мир. Когда они используются вместе, но удерживаются изолированно друг от друга, это еще хуже, поскольку в результате это приводит только к отчаянию, симптомом которого является постмодер-

низм. Все эти критические ресурсы имеют нечто общее: они не прослеживают одновременно работу по распространению гибридов и работу очищения. Чтобы избавиться от нерешительности постмодернистов, достаточно вновь использовать все эти ресурсы, но соединив их друг с другом и используя для постоянного наблюдения за квазиобъектами или сетями.

Но как заставить работать в одной связке критические ресурсы, которые развивались только благодаря бесконечным спорам друг с другом? Нам надо вернуться немного назад, чтобы развернуть интеллектуальное пространство, достаточно просторное для того, чтобы в нем одновременно нашли себе место задачи по очищению и осуществлению медиации, то есть нововременной мир, провозглашенный Конституцией, и нововременной мир сетей. Но как вернуться назад? Разве нововременной мир не несет на себе отметины, оставленной стрелой времени? Не пожирает ли он свое прошлое? Не порывает ли он с ним навсегда? Не находится ли причина нынешней прострации в самой эпохе «пост»-модерна, неотвратимо пришедшей на смену предыдущей, которая сама пришла на смену донововременным эпохам благодаря череде катастрофических потрясений? Разве история уже не закончилась? Желая дать пристанище квазиобъектам, как и их Конституции, мы, наконец, должны внимательно рассмотреть временные рамки Нового Времени. Так как мы отказываемся идти «после» «постмодернистов», мы не можем возвратиться к тому ненововременному миру, который никогда не покидали, не изменив при этом ход самого времени.

Дело в том, что время обладает своей долготой и широтой. Лучше всех эту идею выразил Пегу в своей «Клио», в прекраснейшем размышлении о движении истории (Pégu, 1961). Календарное время располагает события в соответствии с чередой дат, но историчность располагает те же самые события, исходя из их интенсивности. Именно это так остроумно объясняет муза истории, сопоставляя пьесу Виктора Гюго «Бургграфы» — накопление времени без историчности — с маленькой фразой из Бомарше — прекрасным примером историчности без истории (Latour, 1977):

Когда мне говорят, что Гатто, сын Магнуса, маркиз Вероны, бургграф Ноллига, — это отец Горлуа, сына Гатто (бастарда), бургграфа Сарека, мне это ничего не говорит, — сказала она [Клио]. Я их не знаю. И никогда их не узнаю. Но когда мне говорят, что Керубино умер во время стремительной атаки на

форт, куда его даже никто не посылал, тогда действительно я о чем-то узнаю, — сказала она. — И я очень хорошо знаю то, о чем мне говорят. Тайный трепет свидетельствует о том, что я действительно это слышала (p. 276).

Нововременной ход времени является только частной формой историчности. Откуда у нас берется идея **времени**, которое проходит? Из самой нововременной Конституции. Здесь антропология должна нам напомнить, что движение времени может интерпретироваться различными способами как цикл или как упадок, как деградация или как нестабильность, как возвращение или как длящееся настоящее. Назовем интерпретацию этого движения времени темпоральностью, чтобы четко отделить ее от времени. Одной из особенностей людей Нового Времени является то, что они понимают время, которое проходит, так, словно оно действительно уничтожает за собой прошлое. Они все принимают себя за Аттилу, за которым оставалась одна только выжженная земля. Они думают, что отдалены от эпохи Средневековья не некоторым количеством столетий, а настолько радикальными **коперниковскими** переворотами, эпистемологическими разрывами, революциями в эпистемах, что после них ничто уже не может сохраниться от этого прошлого, ничто не должно сохраниться.

Эта теория прогресса, по существу, сводится к теории сберегательных банков, — сказала Клио. — В общем и целом она предполагает, что создается огромный универсальный сберегательный банк для всего человечества — огромный интеллектуальный банк, всеобщий и даже универсальный автоматический банк для всего человечества, автоматический в том смысле, что человечество делает вклады и никогда их не забирает. И в том смысле, что эти вклады продолжают делаться сами по себе. Такова теория прогресса. И такова его схема. Это своего рода раздвижная лестница (Péguy, 1961, p. 129).

Поскольку все то, что проходит, исчезает навсегда, люди Нового Времени действительно воспринимают время как стрелу, чей полет необратим, как накопление капитала, как прогресс. Но поскольку эта темпоральность навязывается такому режиму времени, который на самом деле работает совершенно иначе, симптомов разногласия становится все больше и больше. Как заметил еще Ницше, нововременные несут болезнь истории в самих себе. Они хотят все сохранить, все датировать, потому что думают, что окончательно порвали со своим прошлым. Чем больше они накаплива-

ют революций, тем больше они сохраняют; чем больше у них капитала, тем больше всего выставляется в музеях. Маниакальное разрушение симметричным образом компенсируется столь же маниакальным хранением. Историки шаг за шагом восстанавливают прошлое, делая это особенно тщательно, тем более что оно исчезло навсегда. Но действительно ли мы настолько удалены от своего прошлого, как хотим думать? Нет, поскольку темпоральность Нового Времени не оказывает существенного влияния на движение времени. Прошлое остается и даже возвращается. Но дело в том, что это возвращение не осознается нововременными. Они считают его возвращением вытесненного. Они превращают его в архаизацию. «Если мы не будем осторожными, думают они, мы возвратимся в прошлое, мы будем ввергнуты в темные века». Историческое воссоздание и архаизация являются двумя симптомами неспособности **нововременных** устранить то, что они все-таки должны устранить, чтобы сохранить ощущение того, что время проходит.

Если я буду объяснять, что революции пытаются уничтожить прошлое, но не могут этого сделать, я рискую показаться реакционером. Дело в том, что для нововременных — так же, как для их **антинововременных** противников, и так же, как для их ложных врагов постмодернистов, — стрела времени обладает однонаправленностью: мы можем двигаться вперед, но тогда надо порвать с прошлым; мы можем решить вернуться назад, но тогда нам необходимо порвать с модернизирующими авангардами, которые радикальным образом разрывали со своим прошлым. Этот диктат организовывал нововременную мысль вплоть до последних лет, никак не сказываясь, конечно же, на практике медиации, которая смешивала эпохи, жанры и мысли столь же разнородные, как и у доновременных. Если и есть что-то, что мы не способны совершить, так это — как нам теперь хорошо известно — революция: будь то революция в науке, технике, политике или философии. Но мы все еще остаемся нововременными, когда интерпретируем этот факт как разочарование, как если бы все на свете захватила архаизация, как если бы не существовало больше той мусорной ямы, куда мы могли бы свалить в одну кучу все, что нами вытеснено. И мы все еще остаемся **постнововременными**, когда пытаемся преодолеть это чувство разочарования, соединяя в одном коллаже фрагменты всех времен, фрагменты, в равной мере устаревшие и вышедшие из моды.

ЧУДО РЕВОЛЮЦИИ

Какая же связь существует между нововременной формой темпоральности и нововременной Конституцией, которая, никогда не заявляя об этом открыто, соединяет две асимметричные сущности — природу и общество — и под прикрытием этого соединения позволяет умножаться гибридам? Почему нововременная Конституция всегда заставляет воспринимать время как вечно возобновляющуюся революцию? *Потому что она Вытесняет все подспудные обстоятельства, связанные с объектами природы, и представляет их внезапное появление, как чудо.*

Эпоха Нового Времени — это последовательность необъяснимых появлений, которые, в свою очередь, обусловлены различием между историей науки или техники и просто историей. Если вы отбросите Бойля и Гоббса со всеми их спорами, если вы вычеркнете работу по конструированию насоса, приглашение коллег в домашнюю лабораторию, изобретение отграниченного Бога, восстановление английской королевской власти, то как же вы сможете осознать открытие Бойля? Но упругость воздуха не является на пустом месте. Она вторгается к нам во всеоружии. Чтобы объяснить то, что впоследствии станет великой тайной, вы должны будете создать образ времени, который был бы приспособлен к этому чудесному вторжению новых вещей и изготовлению человеком того, что прежде никто никогда не изготавливал. Идея радикальной революции и есть то единственное решение, которое нововременные выдумали для того, чтобы объяснить вторжение гибридов, которое их Конституция одновременно и запрещает и допускает, и для того, чтобы победить еще одного монстра: представление о том, что вещи сами имеют историю.

Есть все основания полагать, что идея политической революции была заимствована из идеи научной революции (Cohen, 1985). И мы понимаем, почему. Как химия Лавуазье могла не показаться чем-то совершенно новым, если великий ученый уничтожил все следы своей работы и избавился от всех связей, которые заставляли его зависеть от предшественников, оказавшихся таким образом покрытыми мраком неизвестности? И в том, что его жизнь была насильственно оборвана, подобно тому, как сам он, во имя того же скрывающего свою работу Просвещения, обрезал все связи со своими предшественниками, заключена мрачная ирония истории (Bensaude-Vincent, 1989). Генезис научных или технических инно-

ваций в нововременной Конституции является таким загадочным только потому, что универсальная трансцендентность локальных и созданных в лабораториях законов оказывается немислимой и во избежание скандала должна оставаться таковой. Что же касается истории людей, то она должна оставаться случайной и направляться шумом и яростью. Таким образом, будут существовать две различные истории: одна — та, что лишена какой-либо историчности, кроме историчности тотальных революций или эпистемологических разрывов, и имеет дело с всегда уже присутствующими, вечными вещами; другая — та, которая будет говорить о более или менее случайном или более или менее длительном волнении бедных, оторванных от вещей, людей.

Именно с помощью этого различия между случайностью и необходимостью, историческим и атемпоральным будет намечена история нововременных людей, совершающаяся благодаря вторжению нечеловеков — теоремы Пифагора, гелиоцентризма, законов притяжения, парового двигателя, химии Лавуазье, вакцины Пастера, атомной бомбы, компьютера, и каждый раз время будет отсчитываться от этих чудесных начинаний, что делает возможной секуляризацию образа трансцендентных наук в истории. Люди будут разделять время на «до» и «после» появления компьютера, как история делится на «до рождения Христа» и «после рождения Христа». Они дойдут даже до того, что с дрожью в голосе, часто сопровождающей декларацию о судьбах Нового Времени, будут говорить об «иудео-христианской концепции времени», допуская при этом очевидный анахронизм, поскольку ни в еврейской мистике, ни в христианских теологиях не было никакой склонности к нововременной Конституции. Они конституировали свой режим времени вокруг Присутствия (то есть присутствия Бога), а не возникновения пустоты, ДНК, микросхем или автоматизированных заводов...

В нововременной темпоральности нет ничего «иудео-христианского», а также, к счастью, нет ничего длительного. Это проекция Срединной Империи на линию, превращенную в стрелу, за счет резкого разделения между тем, что не имеет истории, но тем не менее в ней появляется, — вещами природы, — и тем, что никогда не покидает истории, — человеческими трудами и человеческими страстями. Асимметрия между природой и культурой оказывается тогда асимметрией между прошлым и будущим. Прошлое представлялось смешением вещей и людей, будущее — это то, что больше не будет их смешивать. Модернизация всегда состоит в том,

чтобы, выходя из темной эпохи, смешивающей потребности общества с научной истиной, входить в новую эпоху, которая наконец четко разделит то, что принадлежит вневременной природе, и то, что исходит от людей. Новое Время возникает из взаимоналожения различия между прошлым и будущим и гораздо более важного различия между медиацией и очищением. Настоящее очерчивается чередой радикальных разрывов, революций, которые создают так много непреодолимых затворов только для того, чтобы помешать нам когда-либо вернуться назад. Сама по себе эта линия столь же мало значит, как и скандирование метронома. И тем не менее именно на нее нововременные будут проецировать увеличение квазиобъектов и благодаря этим объектам проследивать две последовательности, составляющие поступательное движение: одна устремляется вверх — это прогресс, другая вниз — это упадок.

КОНЕЦ ПРОШЕДШЕГО ПРОШЛОГО

На самом деле, все более и более масштабная мобилизация мира и коллективов увеличивает количество акторов, составляющих нашу природу и наши общества. Но ничто в этой мобилизации не предполагает упорядоченного и систематического протекания времени. Однако благодаря своей очень специфичной **форме** темпоральности нововременные смогут упорядочить умножение количества новых акторов, существующих либо в форме накопления капитала, расширения завоеванных территорий, либо в виде вторжения варваров, как череда катастроф. Прогресс и упадок составляют два их главных ресурса, и оба они имеют одинаковое происхождение. На каждом из этих трех векторов (календарное время, прогресс, упадок) мы можем поместить анти**нововременных**, которые поддерживают темпоральность Нового Времени, но меняют ее направление. Чтобы устранить прогресс или вырождение, они хотят возвратиться к прошлому — как если бы прошлое действительно существовало!

Откуда же приходит столь нововременное и модернизаторское впечатление, что мы живем в некое Новое Время, порывающее со своим прошлым? Из связи, из повторения, которое само по себе не содержит в себе ничего темпорального (Deleuze, 1968). Ощущение необратимо проходящего времени возникает только тогда, когда мы соединяем вместе целую когорту элементов, составляющих наш повседневный мир. Именно их систематическая связь и замещение этих элементов другими, которым в последующий период

придается такая же связность, создают впечатление проходящего времени, непрерывного потока, идущего от будущего к прошлому и напоминающего раздвижную лестницу. Для того чтобы время стало потоком, надо, чтобы вещи шли в ногу и замещались другими вещами, столь же четко выстроенными в ряды. Нововременная темпоральность есть следствие этой жесткой дисциплины.

Сам по себе вакуумный насос не является частью Нового Времени и не несет в себе никакой революции. Он связывает, соединяет и реорганизует бесчисленное количество акторов, часть из которых появились совсем недавно — король Англии, пустота, масса воздуха, однако не все из них могут рассматриваться в качестве совершенно новых. Их связность не настолько велика, чтобы можно было со всей определенностью отмежеваться от прошлого. Для этого необходима большая дополнительная работа по их классификации, очищению и распределению. Если мы поместим открытия Бойля в вечность — и оттуда они разом упадут в Англию, если мы соединим их с открытиями Галилея и Декарта, связав их в один «научный метод», и если, наконец, мы отбросим веру Бойля в чудеса как архаичную, тогда у нас создастся ощущение **радикально Нового Времени**. Понятие необратимо летящей стрелы времени — прогресса или упадка — проистекает из упорядочивания квазиобъектов, объяснить размножение которых нововременные не в состоянии. Необратимость хода времени сама вызвана трансцендентностью науки и техники, которые, на самом деле, ускользают от какого бы то ни было понимания. Это — способ классификации, позволяющий скрывать недопустимое происхождение естественных и социальных сущностей. Подобно тому как люди Нового Времени устраняют все обстоятельства, связанные с появлением гибридов, точно так же они интерпретируют разнородные перераспределения как систематические целостности, все элементы которых собраны вместе. Модернизирующий прогресс мыслим только при условии, что все элементы, которые, согласно календарю, существуют одновременно, принадлежат одному и тому же времени. Для этого такие элементы должны составлять полную и всеми признаваемую систему. Только в этом случае время образует непрерывный и прогрессирующий поток, авангардом которого провозглашают себя нововременные, а арьергардом — **антинововременные**.

Все запутывается, если рассматривать квазиобъекты как смешение различных эпох, онтологий и жанров. Тогда исторический период будет производить впечатление величайшей путаницы. Вме-

сто красивого ламинарного потока мы скорее всего получим турбулентный поток со всеми его водоворотами и порогами. Из необратимого время становится обратимым. Поначалу это нисколько не смущает нововременных. Все то, что не идет в ногу с прогрессом, они считают архаичным, иррациональным или консервативным. И поскольку, на самом деле, существуют **антинововременные**, готовые для большего удовольствия зрителей исполнять роли реакционеров, предусмотренные для них в сценарии Нового Времени, постольку могут все дальше и дальше разыгрываться великие драмы блистательного прогресса, борющегося с обскурантизмом (или антидрама безумных революций, направленных против разумного консерватизма). Но для того, чтобы модернизирующая **темпоральность** продолжала функционировать, необходимо, чтобы сохранялось ощущение упорядоченного фронта вещей. Следовательно, не должно существовать слишком большого количества контрпримеров. Если количество последних станет слишком большим, то уже будет невозможно говорить об архаичном прошлом или о возвращении вытесненного.

Увеличение количества квазиобъектов взорвало нововременную темпоральность вместе с ее Конституцией. Может быть, двадцать лет тому назад, может быть, десять, может, год тому назад движение нововременных в будущее остановилось из-за роста числа исключений, которым никто не мог найти места в упорядоченном потоке времени. Вначале это были небоскребы постмодернистской архитектуры, затем исламская революция Хомейни, о которых уже никому не удавалось сказать, являются ли они прогрессом или регрессом. Начиная с этого момента, исключения беспрерывно размножаются. Никто больше не может расположить акторов, принадлежащих к «одному и тому же времени», в одну связанную группу. Никто больше не знает, являются ли сегодня пиренейские медведи, колхозы, аэрозоли, революция зеленых, вакцинация против оспы, звездные войны, мусульманская религия, охота на куропатку, французская Революция, сфера обслуживания, профсоюзы «Электрисите де Франсе», холодная плавка, большевизм, относительность, словенский национализм и т. д. устаревшими, отвечающими сегодняшнему дню, футуристическими, **атемпоральными**, несуществующими или постоянными. Постмодернисты очень хорошо ощутили этот водоворот, образовавшийся во временном потоке, воплотив его в двух авангардистских направлениях — в искусстве и политике (Hutcheon, 1989).

Как всегда, однако, постмодернизм — это симптом, а не решение: он «открывает сущность Нового Времени как эпохи редукции бытия к *novum*... Постмодерн только начинается, и отождествление бытия с *novum*... продолжает, как мертвый Бог, о котором говорит *Веселая Наука*, отбрасывать на нас свою тень» (Vatimo, 1987, p. 173). Постмодернисты сохраняют рамки Нового Времени, но рассеивают элементы, которые модернизаторы объединили в один хорошо организованный отряд. Постмодернисты правы в том, что касается рассеивания, — все нововременные совокупности являются политемпоральными, но они ошибаются в том, что сохраняют саму рамку и все еще продолжают верить в постоянную новизну, на которой настаивал модернизм. Смешивая элементы прошлого в виде коллажей и цитат, **постнововременные** признают, насколько эти цитаты, на самом деле, устарели. И более того, именно потому, что они устарели, постмодернисты берут их на вооружение, чтобы шокировать прежние модернистские авангарды, которые уже не знают, какому богу молиться. Но от провокативного цитирования воистину прошедшего прошлого далеко до возобновления, повторения, возвращения прошлого, которое никогда не исчезало.

ПРОСЕИВАНИЕ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ ВРЕМЕНА

К счастью, ничто не обязывает нас придерживаться нововременной темпоральности с ее чередой радикальных революций; ее антинововременными, которые возвращаются к тому, что, с их точки зрения, есть прошлое; с ее трагическим хором, который возносит хвалу или сетует, выступая за или против постоянного прогресса, за или против постоянного вырождения. Мы не привязаны навеки к этой темпоральности, которая не позволяет понять ни наше прошлое, ни наше будущее и которая в недрах истории скрывает от нас целостность человеческого и нечеловеческого третьего мира. Лучше было бы сказать, что Новые Времена перестали наступать. Тем не менее давайте не будем стенать по этому поводу, ибо наша реальная история всегда имела весьма неопределенное сходство с тем прокрустовым ложем, в которое ее загнали как модернизаторы, так и их враги.

Время является не общей рамкой, а промежуточным результатом связи между сущими. Нововременная дисциплина объединяла, скрепляла, **систематизировала**, чтобы таким образом удерживать вместе ансамбль современных элементов и устранять те из них, которые не принадлежат данной системе. Эта попытка потер-

пела неудачу — она всегда терпит неудачу. Не существует ничего, кроме элементов, которые ускользают от системы, и объектов, датировка и длительность существования которых являются неопределенными. Не одни только бедуины или, например, кунги смешивают транзисторы и традиционные формы поведения, пластиковые ведра и кожаные бурдюки. О какой стране невозможно сказать, что это «земля контрастов»? В действительности все мы уже пришли к тому, что стали смешивать разные времена. Все мы вновь стали современными. Но если мы не можем больше прогрессировать так, как это делали нововременные, должны ли мы регрессировать, как **антинововременные**? Нет, мы должны перейти от одной темпоральности к другой, поскольку темпоральность сама по себе не имеет ничего **темпорального**. Это — способ упорядочивания, позволяющий связывать различные **элементы**. Если мы изменяем **принцип классификации**, то, исходя из одних и тех же событий, мы получаем другую темпоральность.

Давайте, например, предположим, что мы перегруппировываем нововременные элементы, располагая их не по линии, а по спирали. Мы имеем будущее и прошлое, но будущее в форме круга, расширяющегося во всех направлениях, и прошлое, являющееся не пройденным, но возобновляемым, повторяемым, очерчиваемым, защищаемым, заново комбинируемым, **реинтерпретируемым** и вновь создаваемым. Элементы, которые нам кажутся далекими, если мы будем двигаться по спирали, могут вновь оказаться очень близкими, если мы сопоставим витки этой спирали. И наоборот, почти одновременно существующие элементы, судя по их расположению на линии, оказываются удаленными, если двигаться по радиусу к центру. Такая темпоральность вовсе не обязывает нас использовать такие ярлыки, как «архаичное» или «продвинутое», поскольку любая группа одновременно сосуществующих элементов может объединять элементы всех времен. В такой рамке наши действия могут, наконец, рассматриваться как политемпоральные.

Например, может быть так, что я использую дрель, но также я использую и молоток. Первая появилась двадцать пять лет назад, второй — сотни тысяч лет назад. Будете ли вы считать меня мастером по части «контрастов», поскольку я смешиваю действия, принадлежащие различным временам? Стану ли я тогда этнографической достопримечательностью? И наоборот, покажите мне деятельность, которая была бы однородна с точки зрения Нового Времени. Одним моим генам 500 миллионов лет, другим 3 миллиона, тре-

тым 100 000 лет, а возрастной диапазон моих привычек колеблется от нескольких дней до нескольких тысяч лет. Как у Пеги об этом говорила Клио и как вслед за ней повторяет Мишель Серр, «мы те, кто обменивают и смешивают времена» (Serres, 1992). Нас определяет именно этот обмен, а не календарь или поток времени, который создали для нас люди Нового Времени. Соберите в кучу всех бургграфов — и вы при этом все равно никогда не получите времени. Отойдите в сторону, чтобы уловить событие смерти Керубино во всей его интенсивности, и время будет вам дано.

Сохраняем ли мы тогда верность традиции? Нисколько. Идея устойчивой традиции — иллюзия, которой антропологи уже давно воздали по заслугам. Все незабываемые традиции сложились буквально на днях. Такова большая часть дедовского фольклора, как например «вековой» килт шотландцев, изобретенный до всех своих мельчайших нюансов в начале XIX века (Hobsbawm, 1983), или *Chevaliers du Tastevin* — содружество знатоков вина из моего родного городка в Бургундии, чей «тысячелетний» ритуал не насчитывает еще и пятидесяти лет. «Народы без истории» были изобретены теми, кто считал свою собственную историю радикально новой (Goody, 1979). На практике первые постоянно придумывают новое, а вторые снова и снова проходят путями все тех же самых революций и тех же самых споров. Приверженцами традиции не рождаются, ими решают стать, постоянно изобретая для этого что-то новое. Идея тождественного повторения прошлого и идея радикального разрыва с любым прошлым — это два симметричных следствия одной и той же концепции времени. Мы не можем вернуться к прошлому, к традиции, к повторению, поскольку эти великие неподвижные области являются перевернутым образом той земли, которая больше не является для нас обетованной: стремительного движения вперед, постоянной революции, модернизации.

Что делать, если сегодня мы не можем ни двигаться вперед, ни отступать назад? Надо переместить наше внимание. Мы никогда не двигались вперед и не отступали. Мы всегда активно отбирали элементы, принадлежащие различным эпохам. Мы можем по-прежнему отбирать. Этот отбор и создает время, а не время порождает его. Новое Время — как и его анти- и постнововременные следствия — это лишь селекция, осуществленная малым количеством людей во имя всего человечества. Если нас — тех, кто обретет способность отбирать элементы, составляющие наше время, — станет больше, тогда мы возвратим себе свободу движения,

которую Новое Время отрицало, свободу, которую мы никогда, на самом деле, и не теряли. Дело обстоит вовсе не так, как будто мы возникаем из темного прошлого, смешивавшего природу и культуру, чтобы благодаря непрерывной революции настоящего достичь будущего, в котором эти две совокупности наконец-то со всей очевидностью отделятся друг от друга. Мы никогда не были погружены в гомогенный всемирный поток, идущий либо из будущего, либо из глубин времен. Модернизации никогда не было. Нет ничего такого, что напоминало бы приливную волну, которая долго нарастала и сегодня наконец захлестнула нас. Такой волны никогда не было. Мы можем перейти к другим вещам, то есть возвратиться к множественности вещей, которые всегда двигались различными путями.

КОПЕРНИКОВСКАЯ КОНТРЕВОЛЮЦИЯ

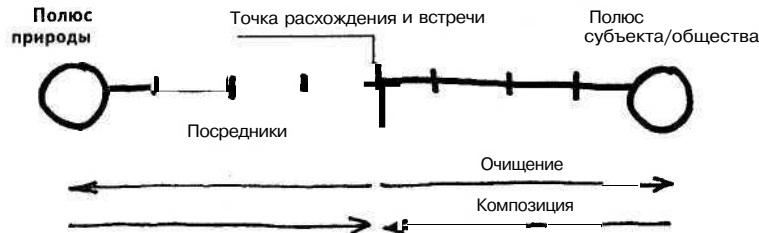
Если бы мы оказались в состоянии по-прежнему вытеснять на периферию человеческие толпы и их окружение, состоящее из нечеловеков, то, вероятно, можно было бы еще продолжать верить в то, что Новые Времена и впрямь двигаются вперед, устраняя все на своем пути. Но вытесненное возвращается. Человеческие массы опять здесь — как на Востоке, так и на Юге, а вместе с ними бесконечно разнообразные массы нечеловеков, пришедшие отовсюду. Их больше невозможно эксплуатировать. Ничто больше не может их преодолеть, так как ничто больше их не превосходит. Не существует ничего более великого, чем окружающая нас природа; народы Восточной Европы больше нельзя свести к их пролетарским авангардам; что же касается масс, составляющих Третий мир, то их больше ничто не ограничивает. Как же избавиться от них, с тревогой спрашивают нововременные? Как всех их модернизировать? Мы могли это сделать, мы верили в то, что это в нашей власти, но мы больше уже не можем в это верить. Новое Время в конце концов остановилось, словно огромный океанский лайнер, постепенно замедлявший ход и наконец полностью увязший в водорослях Саргассова моря. Но само время не имеет к этому отношения. Время создается связью, существующей между живыми существами. Поток Нового Времени был создан систематической связью, объединяющей тех, кто сосуществует одновременно, в одно связанное целое. Теперь, когда этот многослойный поток стал турбулентным, мы можем прекратить наши исследования пустых рамок темпоральности и вернуться ко времени, которое

проходит, — то есть к сущим и их отношениям, к сетям, создающим обратимость и необратимость.

Но как изменить принцип классификации сущих? Как дать всем этим нелегитимно существующим толпам представительство, родство, гражданство? Как исследовать эту *terra incognita*, которая при всем том нам так хорошо знакома? Как перейти от мира объектов или мира субъектов к тому, что я называл квазиобъектами или квазисубъектами? Как перейти от трансцендентной/имманентной природы к той природе, которая все так же реальна, но получена в лаборатории, а затем превращена во внешнюю реальность? Как перейти от имманентного/трансцендентного общества к коллективам, состоящим как из людей, так и нечеловеков? Как перейти от отграниченного трансцендентного—имманентного Бога к Богу истоков, которого следовало бы назвать Богом, находящимся внизу? Как получить доступ к сетям, этим сущим, топология которых столь странна, а онтология которых еще более необычна, «единицам сущего», в которых заключается способность соединять и отбирать, то есть способность производить время и пространство? Как осмыслить Срединную Империю? Я уже сказал: нам необходимо проследить одновременно параметры Нового Времени и параметры не-нововременности, развернуть сеть широты и долготы, которая позволит составить карты, приспособленные к работе медиации и работе очищения.

Нововременные хорошо знали, как помыслить эту Империю. Прибегая к чистке и отрицанию, они пытались ее устранить. Всякий раз, когда шла работа медиации, начиналась работа очищения. Любой квазиобъект, любой гибрид воспринимался как смесь чистых форм. Таким образом, объяснения Нового Времени состояли в том, чтобы разъединять смеси и выделять из них то, что пришло от субъекта (или социального мира), и то, что пришло от объекта. Затем, чтобы перестроить это единство, они прибегали к смешиванию чистых форм, благодаря чему увеличивалось количество посредников. Соответственно эти процедуры анализа и синтеза всегда включали в себя три аспекта: предварительное очищение, разделение на части и все увеличивающееся повторное перемешивание. Критическое объяснение всегда исходило из двух полюсов и направлялось к середине, первоначально являвшейся точкой разделения, а затем точкой соединения противоположных ресурсов. Таким образом, срединное пространство всегда одновременно и сохранялось, и упразднялось.

Схема 7

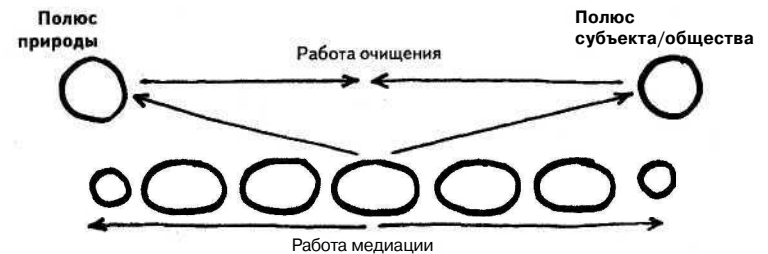


Объяснение идет от одной или другой крайней точки и, увеличивая количество посредников, приближается к точке соединения.

Если мы стремимся развернуть Срединную Империю саму по себе, то мы обязаны перевернуть общую форму объяснений. Точка разделения и точка соединения становятся исходной точкой. Объяснения уже не идут от чистых форм к явлениям, но двигаются от центра к крайним точкам. Эти последние не являются больше точкой прикрепления к реальности, но представляют собой многочисленные промежуточные и частичные результаты. Многослойная ткань посредников оказывается заменена цепью медиаторов, в соответствии с моделью, предложенной Антуаном Эньюном, которую я использовал для этого исследования (Hennion, 1991). Вместо того чтобы отрицать существование гибридов — и неловко восстанавливать их в правах под именем посредников, — эта объяснительная модель позволяет рассматривать работу очищения в качестве частного случая медиации. Иначе говоря, объяснение с использованием понятия медиации включает в себя Конституцию, в то время как последняя, взятая сама по себе, отрицает то, что придает ей смысл. Это говорит о том, насколько смысл слова «медиация» отличается от смысла слов «посредник» или «медиатор», определенного как то, что распространяет или смещает работу по производству или созданию, которая ему неподвластна (Debray, 1991).

Как мы видели выше, коперниковский переворот, совершенный Кантом, предлагает завершенную модель модернизирующих объяснений, заставляя вращаться объект вокруг нового центра притяжения и умножая количество посредников для того, чтобы постепенно уничтожить дистанцию. Но ничто не обязывает нас считать эту революцию решающим событием, которое бы раз и навсегда наставило нас на истинный путь науки, морали и теологии. Этот переворот можно было бы сопоставить с Великой французской ре-

Схема 8



Объяснение движется от медиаторов и достигает крайних точек в виде результатов, а работа очищения становится здесь особым видом медиации.

волюцией, которая с ним связана: и то и другое — превосходные инструменты, позволяющие делать время необратимым, но сами по себе они не являются необратимыми. Я называю коперниковской контрреволюцией этот переворот переворота. Или, скорее, это скольжение, начинающееся с крайних точек и идущее к центру и дальше вниз, заставляющее вращаться и объекты, и субъекты вокруг практики квазиобъектов и медиаторов. Мы не нуждаемся в том, чтобы привязывать наши объяснения к этим двум чистым формам — объекту или субъекту-обществу, поскольку они, напротив, представляют собой частичные и очищенные результаты центральной практики, которая одна только нас и интересует. Эти объяснения — продукт очищающего крекинга, а не первичных материй. Природа, на самом деле, действительно вертится, но не вокруг субъекта-общества. Она вращается вокруг коллектива, производящего вещи и людей. Субъект действительно вращается, но не вокруг природы. Он возник из коллектива, производящего людей и вещи. Срединная Империя наконец-то обрела свою репрезентацию. А природа и общества стали ее спутниками.

ОТ ПОСРЕДНИКОВ К МЕДИАТОРАМ

Как только мы осуществляем коперниковскую контрреволюцию и как только мы устанавливаем квази-объект под прежними вещами-в-себе и прежними людьми-между-собой, а также на равном расстоянии от тех и других, то, возвращаясь к нашей обычной практике, мы замечаем, что нет никаких оснований ограничиваться двумя разновидностями онтологии (или тремя, если считать отграниченного Бога).

Является ли вакуумный насос, до сих пор служивший нам в качестве примера, еще одной полноправной онтологической разновидностью? В мире, где имеет место коперниковская революция, мы должны разделить его надвое; первая часть отправилась бы на левую сторону и стала бы «законами природы», вторая пошла бы на правую сторону и стала бы «английским обществом XVII века»; и, возможно, третья часть, сам феномен, маркировал бы пустое место, где два первых должны были бы оказаться сшитыми друг с другом. Затем, умножая количество посредников, мы должны были бы сблизить то, что только что разделили. Мы должны были бы сказать, что лабораторный насос «открывает», или «представляет», или «материализует», или «позволяет схватить» законы природы. Мы сказали бы также, что «представительство» богатых английских джентльменов позволило «интерпретировать» давление воздуха и «принять» существование вакуума. Все более приближаясь к точке разделения и встречи, мы должны были бы перейти от общего контекста к контексту локальному и **показать**, как действия Бойля и давление Королевского общества позволили ему осознать недостатки и дефекты насоса, а также имеющие место утечки и аберрации. За счет увеличения количества посредничающих звеньев мы пришли бы к тому, что воссоединили две части, первоначально бесконечно удаленные от природы и социального.

Предположив, что симметричные истории существуют, я описал оптимальное положение вещей. На практике, однако, будут существовать лишь истории Англии XVII века, которые вообще не будут интересоваться никаким насосом, если не считать того, что для них он чудесным образом упадет с Неба Идей и даст возможность этим же самым историкам установить свою хронологию. С другой стороны, ученые и эпистемологи опишут физику пустоты, ни в коей мере не занимаясь ни Англией, ни даже Бойлем. Давайте оставим эти две асимметричные задачи, одна из которых упускает из виду нечеловеков, а другая — людей, и попробуем подвести итог предыдущего объяснения, стремившегося при всем том остаться симметричным.

Если исходить из такого объяснения, то ничего существенно не произошло. Чтобы объяснить феномен нашего воздушного насоса, мы попеременно что-то вытягивали то из ящика, который с незапамятных времен содержит в себе природные существа, то из ящика, в котором находятся неизменные пружины социального мира. Природа всегда оставалась тождественна себе самой. Во все

времена общество содержит в себе одни и те же ресурсы, одни и те же интересы, одни и те же страсти. В нововременной перспективе природа и общество являются тем источником, который позволяет создавать объяснения, поскольку сами они не нуждаются в том, чтобы их объясняли. Конечно же, посредники, роль которых состоит именно в том, чтобы установить связи между двумя полюсами, существуют, но они устанавливают эти связи только потому, что сами лишены онтологического статуса. Они только транспортируют, **передают**, перемещают силу **двух реальных** сущностей — природы и общества. Конечно, они могут **плохо справляться со своими задачами**, могут не заслуживать доверия или просто быть слишком грубыми. Но их недостаточная надежность не наделяет их никаким самостоятельным значением, поскольку, напротив, она как раз и подтверждает их статус посредников. Они не имеют своей собственной компетенции. В худшем случае это — «рабочая скотина» или рабы, в лучшем — верные слуги.

Если мы осуществим коперниковскую контрреволюцию, тогда нам придется намного более серьезно отнестись к работе посредников, поскольку речь уже не идет о том, что они просто транслируют могущество природы и могущество общества и поскольку все они тем не менее производят точно такие же эффекты реальности. Если мы подсчитаем теперь все единицы, обладающие независимым статусом, то обнаружим, что их гораздо больше, чем две или три. Мы насчитаем их десятки. Терпит природа пустоту или нет? Возникает в насосе подлинный вакуум, или туда просочился тончайший эфир? Каким образом свидетели из Королевского общества собираются определить, возникают утечки в насосе или нет? Как английский король отнесется к тому, что мы вновь станем говорить о свойствах материи и будем устраивать частные собрания именно тогда, когда проблема абсолютной власти уже близка к разрешению? Подкрепляется ли подлинность чудес материальными механизмами или нет? Станет ли Бойль уважаемым экспериментатором, если он посвящает себя решению этих низменных экспериментальных задач и отказывается от дедуктивного объяснения, которое одно только и достойно ученого? Все эти вопросы больше уже не содержатся между полюсами природы и общества, поскольку **заново определяют то, что может природа, и то, что есть общество**. Природа и общество не являются больше объясняющими терминами, но предстают в качестве того, что требует одновременного объяснения (Latour, 1989a). Вокруг работы насоса рож-

дается новый Бойль, новая природа, новая теология чудесного, новая социальность ученого, новое общество, которое отныне будет включать в себя вакуум, ученых и лабораторию.

Мы больше не будем объяснять инновацию воздушного насоса, попеременно опуская руку в два разных ящика — природу и общество. Напротив, мы наполним их заново или, по крайней мере, существенно изменим их содержимое. Природа, как и английское общество, выйдут из лаборатории Бойля измененными, но в той же самой мере изменятся и Бойль и Гоббс. Такие метаморфозы останутся непонятными, если исходить из того, что с незапамятных времен существует только две сущности — природа и общество, или, иначе говоря, есть природа, которая остается вечной, и есть общество, которое одно только и приводится в движение историей. Метаморфозы, напротив, станут объяснимыми, если мы перераспределим субстанцию между всеми сущностями, составляющими эту историю. Но тогда они перестанут быть простыми, более или менее надежными посредниками. Они становятся медиаторами, то есть акторами, обладающими способностью переводить То, что они транспортируют, заново это определять, заново разворачивать, но также и предавать. Рабы снова стали свободными гражданами.

Открывая перед всеми медиаторами бытие, которое, вплоть до настоящего момента, оставалось в плену природы и общества, движение времени становится более понятным. В мире коперниковской революции, где все должно удерживаться между двумя полюсами природы и общества, история, в сущности, не принималась в расчет. Все только и занималось тем, что открывали природу, или разворачивали общество, или прилагали одно к другому. Феномены были ничем иным, как встречей двух изначально данных элементов. Случайная история существовала, но она касалась лишь людей, оторванных от необходимого порядка естественных вещей. Но только с того момента, как мы начинаем отталкиваться от середины, переворачиваем направления объяснения, принимаемся за субстанцию, аккумулировавшуюся на двух противоположных полюсах, чтобы перераспределить ее по всей совокупности посредников, возвышаем последних до статуса полноценных медиаторов, — только тогда история оказывается действительно возможной. Теперь время существует не для виду, а на самом деле. Что-то на самом деле произошло с Бойлем, сопротив-

лением воздуха, вакуумом, воздушным насосом, королем и Гоббсом. Все они в итоге изменились. Все сущности стали событиями, и сопротивление воздуха стало событием в той же мере, что и смерть Керубино. История больше не является только историей людей, она также становится историей природных вещей (Serres, 1989a).

ОТ *CHOSE*, ВЕЩИ, К *CAUSE*, ПРИЧИНЕ

Эта коперниковская контрреволюция сводится к изменению местоположения объекта и подразумевает, что он оказывается выведен из области вещей-в-себе и помещен в коллектив, не будучи, однако, приближен к обществу. Для осознания этого смещения, этого нисхождения, исследование Мишеля Серра не менее важно, чем исследование Шейпина и Шэффера или книга Эньона. «Мы пытаемся описать явление объекта — не только инструмента или красивой статуи, но, говоря онтологически, вещи вообще. Как же объект идет к человечности?» — пишет Мишель Серр в одной из своих лучших книг (Serres, 1987, p. 162). Но проблема состоит в том, что

...в книгах нельзя найти ничего, что говорило бы о первобытном опыте, в котором объект как таковой конституирует человеческого субъекта, поскольку книги пишутся для того, чтобы покрыть забвением именно этот опыт или закрыть доступ к нему, и потому, что дискурсы заглушают своим гулом то, что происходило в этой тишине (Ibid., p. 216).

Мы располагаем сотнями мифов, рассказывающих, как субъект (или коллектив, или интерсубъективность, или эпистемы) конституирует объект, — и коперниковский переворот Канта является только одним из длинной череды примеров. Однако у нас нет ничего, что рассказывало бы о другом аспекте истории: как объект создает субъекта. Шейпин и Шэффер имеют доступ к тысячам страниц архивов, касающихся идей Бойля и Гоббса, но в их распоряжении нет ничего, что касалось бы бессловесной практики использования воздушного насоса или тех навыков, которых она требовала. Свидетельства об этой второй половине истории формируются не текстами или языками, но молчаливыми и грубыми реликтами, такими как насосы, камни и статуи. И хотя археология Серра располагается на несколько уровней ниже, чем воздушный насос, он сталкивается с тем же самым молчанием.

Народ *Израилев* поет свои псалмы перед разрушенной Стеной *Плача*: от храма больше не осталось камня на камне. Что видел, что делал, что думал древний мудрец Фалес, сидя перед египетскими пирамидами, во времена столь же далекие от нас, каким для него самого было время Хеопса, почему он избрал геометрию перед этим нагромождением камней? Весь исламский мир мечтает совершить путешествие в Мекку, где в Каабе находится черный камень. В эпоху Ренессанса нововременная наука рождается из падения камешков: камни падают на землю. Почему Иисус сделал основателем христианской Церкви человека по имени Петр? В этих примерах заложения фундамента я намеренно смешиваю религию и научное знание (Ibid., p.213).

Почему мы должны принимать всерьез такое скоропалительное обобщение всех этих окаменелостей, смешивающее черный камень Каабы с падением тел у Галилея? По той же самой причине, по которой я серьезно отнесся к работе Шейпина и Шэффера, «намеренно смешивающей религию и научное знание в примерах заложения фундамента» нововременных науки и политики. Они отяготили эпистемологию новым неизвестным актором, насосом, не вполне отлаженным и дающим утечки. Серр отягощает эпистемологию новым неизвестным актором, бессловесными вещами. Все эти исследователи делают это по одной и той же причине антропологического порядка: наука и религия оказались заново связаны вследствие глубокого существенного переосмысления того, что значит свидетельствовать и что значит подвергать испытанию. Для Бойля, как и для Серра, наука — разновидность судебного разбирательства:

На всех языках Европы, на севере, так же как и на юге, слово «вещь» — в какой бы форме оно ни существовало — имеет в качестве своего корня или источника слово «cause», взятое из области права, политики или критики в широком смысле. Как если бы сами объекты существовали только благодаря спорам, ведущимся в публичном собрании, или благодаря решению, вынесенному судом присяжных. Язык хочет, чтобы мир возникал только из языка. По крайней мере, он так говорит (Serres, 1987 p. 111).

Латинский язык называл вещь словом res, которое указывает на определенную реальность, а именно объект юридических процедур или сам судебный процесс, поэтому в античности обвиняемый назывался reus в силу того, что он вызывался магистратом в суд. Как если бы единственно возможная человеческая

реальность возникала только из решений суда. <...> И вот мы в преддверии чуда и разрешения самой великой тайны. Слово «cause», указывает на корень или источник слова «вещь»: causa, cosa; так же как thing или Ding. <...> Суд устанавливает тождество cause и вещи, слова и объекта или переход между ними путем замещения одного другим. Вещь появляется именно там (Ibid., p. 294).

В этих приведенных выше цитатах Серр обобщил результаты, которые Шейпин и Шэффер получили с таким трудом: causes, камни и факты, никогда не занимают положения вещи-в-себе. Бойля интересовал вопрос, как прекратить гражданские войны. Он пытался найти ответ, настаивая на инертности материи, требуя, чтобы присутствие Бога не было непосредственным, создавая новое закрытое пространство в прозрачном колпаке, где существование пустоты стало бы очевидным. Отныне, говорит нам Бойль, никакое свидетельство, идущее от человека, больше не будет приниматься в расчет, ни один человек, выступающий в качестве свидетеля, не будет внушать доверия; теперь доверия будут заслуживать только показания нечеловеков и инструментов, подтвержденные людьми благородного сословия. Упорное накапливание *matters of fact* создаст основания для появления примиренного коллектива. Однако это изобретение фактов не является открытием вещей «там, снаружи», оно есть антропологическое создание, перераспределяющее Бога, волю, любовь, ненависть и справедливость. Серр именно это нам и говорит. Мы не имеем никакого представления о том, как выглядят вещи за пределами нашего суда, наших гражданских войн, вне наших судебных процессов и нашего суда. Без предъявления обвинений (accusation) у нас нет никаких оснований начать судебное дело (cause) и мы не можем приписать причины (causes) феноменам. Эта антропологическая ситуация не ограничивается нашим донаучным прошлым, она в большей степени принадлежит нашему научному настоящему.

Таким образом, мы живем в обществе, которое является нововременным не потому, что в отличие от всех остальных оно наконец освободилось от ада коллективных отношений, религиозного мракобесия, тирании политики, но потому, что, подобно всем остальным обществам, оно перераспределило обвинения, заменив одну вещь или дело (cause) — вещь судебную, коллективную, социальную — на другую вещь — научную, несоциальную, *matter-of-factual*. Мы нигде не можем наблюдать объект и субъект, не можем

наблюдать одно общество, которое являлось бы первобытным, и другое, которое было бы нововременным. Мы можем наблюдать только ряд замещений, перемещений, переводов, которые мобилизуют народы и вещи в постоянно увеличивающемся масштабе.

Я представляю себе как в самом начале проносится стремительный вихрь, где трансцендентальное конституирование объектов субъектом поддерживается, как будто в ответ, симметричным конституированием субъекта объектом, проходящим в молниеносных полуциклах, без конца возобновляемых и возвращающихся к своим истокам. <...> Существует объективная трансцендентальность, конститутивные условия субъекта, возникающие за счет появления объекта как объекта вообще. О противоположных или симметричных условиях, имеющих место в турбулентном цикле, у нас есть свидетельства, следы или рассказы, написанные на весьма недолговечных языках. <...> Но об условиях, непосредственно конституирующих сам объект, нам говорят осязаемые, видимые, реальные, прекрасные, молчаливые свидетели. Они неизменно присутствуют там, как бы мы ни приблизились к истокам этой словоохотливой истории или молчаливой предистории (Serres, 1987 p. 209).

Серр в своем столь мало нововременном произведении представляет нам прагματοгонию — столь же сказочную, какой была прежняя космогония Гесиода или Гегеля. Однако она становится возможной не благодаря метаморфозам или диалектике, но за счет субституций. Новые науки, которые отклоняются, трансформируются, примешивая коллектив к вещам, никогда никем не созданным, просто позже присоединились к этой длинной мифологии замечен. Те, кто следуют за сетями или занимаются исследованиями науки, всего лишь документально фиксируют *п-ю* петлю этой спирали, сказочное рождение которой описывает нам Серр. Нововременная наука — это способ продолжать то, что мы делали всегда. Гоббс создает политическое тело, исходя из одушевленных тел, взятых сами по себе: он остается с гигантской искусственной конструкцией, которую представляет собой Левиафан; Бойль сводит все разногласия гражданских войн к воздушному насосу: он остается на стороне фактов. Каждая петля спирали определяет новый коллектив и новую объективность. Коллектив, находящийся в постоянном обновлении, которое организовано вокруг вещей, в свою очередь, находящихся в постоянном обновлении, ни на мгновение не перестает эволюционировать. Мы никогда не покидали антро-

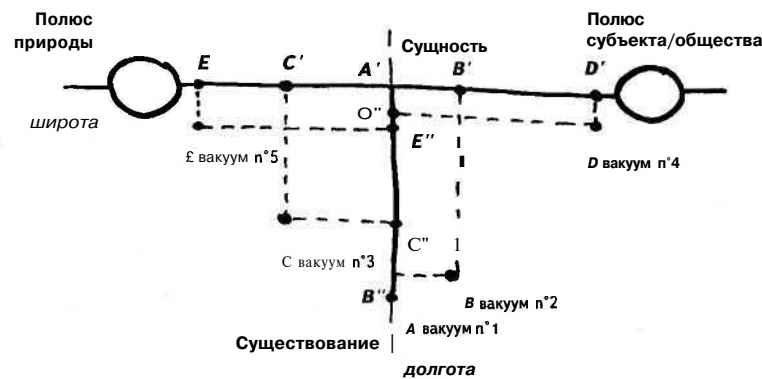
пологической матрицы — мы все еще пребываем в темных веках или, если угодно, мы еще находимся в детстве мира.

ОНТОЛОГИИ, СПОСОБНЫЕ ИЗМЕНЯТЬСЯ

Как только мы наделяем историчностью всех акторов, чтобы предоставить место умножению квази-объектов, природа и общество существует уже не в большей мере, чем Запад и Восток. Квазиобъекты оказываются удобными и соотнесенными друг с другом ориентирами, которые люди Нового Времени используют для того, чтобы дифференцировать посредников, одни из которых именуются «природными», а другие — «социальными», тогда как третьи будут названы «абсолютно природными», а четвертые — «абсолютно социальными». Исследователи, склоняющиеся к левой части оппозиции, будут названы скорее реалистами, а те, которые склоняются к правой части, — скорее конструктивистами (Pickering, 1992). Те, кто хотели бы находиться точно посередине, изобретут бесчисленные сочетания, чтобы смешивать природу и общество (или субъект), чередуя «символическое измерение» вещей с «природным измерением» обществ. Другие, более империалистически настроенные ученые, будут пытаться натурализовать общество, интегрируя его в природу, или социализировать природу, заставляя общество (или, что еще труднее, субъект) ее усваивать.

И тем не менее эти ориентиры и дискуссии продолжают носить односторонний характер. Классифицировать совокупность единиц сущего при помощи одной-единственной линии, которая идет от природы к обществу, означает, быть может, то же самое, что составлять географические карты при помощи одной долготы, таким образом редуцируя их до одной-единственной линии! Второе измерение позволяет соотнести сущности с любой широтой и развернуть карту, на которую, как я об этом говорил выше, будут одновременно нанесены и нововременная Конституция, и ее драматика. Как же мы введем этот эквивалент оси Север-Юг? Смешивая различные метафоры, я бы сказал, что ее надо определить как градиент, который фиксировал бы постоянное варьирование стабильности единиц сущего, начиная событием и кончая субстанцией. Мы все еще ничего не знаем о насосе, когда говорим, что он — представитель законов природы, или представитель английского общества, или следствие приложения первого ко второму, или наоборот.

Схема 9



Нам необходимо еще выяснить, идет ли речь о механическом насосе — как событию XVII века или о насосе как приобретшей устойчивость сущности XVIII или XX века. Степень стабилизации — координата широты — здесь столь же важна, как и положение на линии, идущей от природного к социальному, — координата долготы.

Таким образом, онтология медиаторов способна изменяться. Слова, сказанные Сартром о людях, — а именно то, что их существование предшествует их сущности, — надо сказать обо всех актантах: как о сопротивлении воздуха, так и об обществе, как о материи, так и о сознании. Нам нет нужды выбирать между вакуумом п°5, действительностью внешней природы, сущность которой не зависит от человека, и вакуумом п°4 — репрезентацией, для определения которой западным мыслителям потребовались целые столетия. Или скорее мы сможем выбрать между двумя субстанциями только тогда, когда они будут стабилизированы. О самом нестабильном вакууме п°1, полученном в лаборатории Бойля, мы не можем сказать, является ли он природной или социальной сущностью, но знаем только то, что он искусственным образом возникает в лаборатории. Вакуум п°2 может быть артефактом, изготовленным человеческими руками, пока он не превратится в вакуум п°3, который начинает становиться реальностью, ускользающей от человека. Что же тогда вакуум? Ничто из вышеперечисленного. *Сущность (essence) вакуума — это траектория, соединяющая все эти позиции.* Иначе говоря, сопротивление воздуха имеет свою историю.

Каждый из актантов обладает единственным в своем роде следом в пространстве, которое таким образом разворачивается. Чтобы их очертить, нам не надо строить никаких гипотез о сущности природы или общества. Наложите все эти следы друг на друга — и вы получите очертания того, что нововременные, стремясь к обобщению и очищению, ошибочно называют «природой» и «обществом».

Но если мы спроецируем все эти траектории на одну-единственную линию, соединяющую бывший полюс природы и бывший полюс общества, то мы здесь уже ничего не поймем. Все точки (A, B, C, D, E) будут спроецированы на единственную широту (A' B', C', D', E'), и центральная точка A окажется локализованной на месте бывших феноменов, где, если следовать нововременному сценарию, уже ничего не может произойти. Располагая этой единственной линией, реалисты и конструктивисты смогут до бесконечности спорить об интерпретации вакуума: первые будут утверждать, что данный реальный факт не был никем создан, вторые — что данный социальный факт мы создали своими собственными руками; сторонники золотой середины будут балансировать между двумя смыслами слова «факт», используя к месту или не к месту формулу «не только, но и...». Дело в том, что сама фабрикация этого факта располагается ниже этой линии и представляет собой работу медиации, видимую только в том случае, если мы принимаем в расчет также степень стабилизации (B', C', D', E').

Великие массы природы и общества можно сравнить с континентами, образованными застывшими тектоническими породами. Если мы хотим понять их движение, нам надо спуститься в дышащие огнем расщелины, откуда вырывается магма, из которой, по мере ее охлаждения и постепенного наслаивания, значительно позже и значительно выше возникают две материковые поверхности, опираясь на которые, мы сможем твердо встать на ноги. Подобным образом мы должны спуститься и приблизиться к тем областям, где осуществляются смешения, которые станут, но только гораздо позже, природой или социальным. И разве слишком много будет потребовать от наших споров, чтобы, начиная с этого момента, мы наряду с долготой обсуждаемых единиц сущего точно указывали их широту и рассматривали все сущности (essences) как траектории?

Теперь мы лучше понимаем парадокс нововременных. Используя одновременно работу медиации и работу очищения, но давая представительство только второй, они в то же время играли на трансцендентности и имманентности двух инстанций — приро-

ды и общества. Это давало им четыре противоречащих друг другу ресурса, позволявших им делать все что угодно. Итак, если мы набросаем карту онтологических варьирований, то увидим, что существует не четыре региона, а только три. Двойная трансцендентность — природы, с одной стороны, и общества — с другой — соответствует одному набору стабилизированных **сущностей**.¹ В противоположность этому имманентность природы и коллективов также соответствует одному региону — региону нестабильности событий, региону работы медиации. Таким образом, нововременная Конституция права: действительно, существует пропасть между природой и обществом, но эта пропасть является только запоздалым следствием стабилизации. Единственная пропасть, которую следует принимать в расчет, отделяет работу медиации от конституционного придания формы, но эта пропасть благодаря самому феномену размножения гибридов становится постоянным градиентом, который мы способны проследить, если станем опять теми, кем никогда не переставали быть, то есть **ненововременными**. И если мы добавим к официальной и устойчивой версии Конституции ее неофициальную, горячую или неустойчивую версию, то именно середина окажется заполненной, а крайние точки станут пустыми. Мы понимаем, почему **ненововременные** не приходят на смену нововременным. Ненововременные официально признают только ту практику, которую отрицают последние. Ценой маленькой контрреволюции мы, наконец, ретроспективно понимаем то, что делали всегда.

СВЯЗАТЬ ВОЕДИНО ЧЕТЫРЕ КАТАЛОГА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Устанавливая два измерения — нововременное и ненововременное, осуществляя эту коперниковскую контрреволюцию, перемещая объект, так же как и субъект, к цен-

тру и дальше вниз, мы, возможно, сумеем сосредоточить в своих руках самые лучшие критические ресурсы. Чтобы предоставить место умножению квазиобъектов, нововременные разработали четыре различных репертуара, которые, как они считали, несовместимы друг с другом. Первый репертуар имеет дело с внешней ре-

альностью, хозяевами которой мы не являемся, которая существует вне нас и у которой нет ни наших страстей, ни наших желаний, хотя мы и способны ее мобилизовать и создавать. Второй репертуар рассматривает социальные связи — то, что связывает людей друг с другом, страсти и желания, которые нас волнуют, — персонализированные силы, структурирующие общество, которое нас превосходит, хотя в то же время мы сами его создаем. Третий касается значения и смысла, актантов, формирующих истории, которые мы о них рассказываем, испытания, которым они подвергаются, приключения, которые с ними происходят, тропы и жанры, которые их организуют, большие **нарративы**, которые постоянно властвуют над нами, хотя в то же самое время они являются просто текстами и дискурсами. И наконец, четвертый говорит нам о Бытии и деконструирует то, о чем мы неизменно забываем, когда заботимся только о налично-сущем, которое оказывается соразмерным своему Бытию.

Эти ресурсы несовместимы друг с другом только в официальной версии Конституции. На практике нам трудно разделить четыре эти репертуара. Мы беспардонно смешиваем наши желания с вещами, смысл с социальным, коллектив с повествованиями. Как только мы выходим на след какого-нибудь квазиобъекта, он предстает перед нами иногда как вещь, иногда как рассказ, а порой как социальная связь, никогда не редуцируясь до простого сущего. Наш вакуумный насос позволяет проследить сопротивление воздуха, но точно так же очерчивает общество XVII века и определяет новый литературный жанр — рассказ о лабораторном опыте. Должны ли мы, следуя за его траекторией, утверждать, что все есть риторика, или что все есть природа, или что все есть социальная конструкция, или что все — Постав? Должны ли мы предположить, что тот же самый насос в своей сущности иногда является предметом, иногда представляет собой социальную связь, а иногда дискурс? Или в нем содержится все это понемногу? Что иногда он — простое сущее, а иногда он отмечен, смещен, взломан различием? А что если это именно мы, нововременные, искусственно разбили на части единую траекторию, которая прежде не была ни объектом, ни субъектом, ни эффектом смысла, ни чистым сущим? Что если разделение этих четырех репертуаров применяется только к стабилизированным и более поздним стадиям?

Когда мы переходим от сущности к событиям, от очищения к медиации, от нововременного измерения к ненововременному, от

¹ В английской версии книги здесь добавлено: «Для каждого состояния общества есть соответствующее состояние природы». — *Примеч. науч. ред.*

революции к коперниковской контрреволюции, то нет никаких доказательств, что эти ресурсы остаются несовместимыми. О квази-объектах и квазисубъектах мы просто скажем, что они намечают сети. Они реальны, очень реальны, и не мы, люди, их создали. Но сети коллективны, поскольку связывают нас друг с другом, поскольку идут из рук в руки и этим движением определяют нас самих. И тем не менее они **дискурсивны**, о них повествуется, они историчны, преисполнены страсти, они населены актантами, обладающими самостоятельными формами. Они нестабильны и опасны, они экзистенциальны и являются носителями бытия. Эта связь четырех репертуаров позволяет нам конституировать довольно просторную территорию, чтобы там могли найти прибежище Срединная Империя, подлинный общий дом неновременного мира и одновременно его Конституция.

Синтез невозможен, пока мы остаемся действительно нововременными, поскольку природа, дискурс, общество, Бытие бесконечно нас превосходят и поскольку эти четыре совокупности определяются только за счет их разделения, которое обеспечивает наши конституционные гарантии. Но непрерывность оказывается возможной, если мы добавим к этим гарантиям практику, которую Конституция допускает в той мере, в какой ее отрицает. Нововременные права, одновременно желая реальности, языка, общества и бытия. Они ошибаются только тогда, когда считают, что они навечно должны оставаться в состоянии противоречия. Вместо того чтобы анализировать траекторию квазиобъектов, всегда разделяя эти ресурсы, не можем ли мы писать о них так, как если бы они были непрерывно связанными друг с другом? Тогда мы, вероятно, вышли бы из прострации постмодерна.

Я признаю, что уже сыт по горло таким положением вещей, при котором всегда оказываюсь заперт лишь в языке или оказываюсь узником одних только социальных репрезентаций. Я хочу получить доступ к самим вещам, а не только к тому, какими они нам являются. Реальное не является далеким, оно доступно во всех объектах, мобилизованных миром. Не присутствует ли внешняя реальность в изобилии среди нас самих?

Довольно нам уже находиться под властью трансцендентной природы, непознаваемой, недоступной, определенной и просто истинной, населенной сущностями, погруженными, как Спящая красавица, в дремоту до того дня, когда очаровательные принцы-ученые наконец-то их обнаружат. Наши коллективы более активны,

более продуктивны, более социализированы, чем это позволяли предположить наводящие тоску вещи-в-себе.

Вам не надоели эти социологии, сконструированные вокруг одного только социального, которые существуют лишь благодаря повторению слов «власть» и «легитимность», потому что не в состоянии вместить ни мир объектов, ни мир языка, которые их тем не менее конституируют? Наши коллективы реальны, более натурализованы и более дискурсивны, чем скучные люди-между-собой давали основание предположить.

Мы утомлены языковыми играми и вечным скептицизмом деконструкции смысла. Дискурс не является миром в себе, он населен актантами, смешивающимися как с вещами, так и с обществами, актантами, которые поддерживают как вещи, так и общества, и которые сами держатся на них. Интересоваться текстами — не значит удаляться от реальности, поскольку вещи тоже имеют право быть возведенными в достоинство повествования. Если говорить о текстах, то зачем же отрицать их значения для формирования социальной связи, которая удерживает нас вместе?

Мне надоело слушать обвинения вроде того, что я и мои современники забыли о Бытии, что мы живем в низменном мире, лишенном всякой субстанции, лишенном всего священного, всего своего искусства. Чтобы обнаружить эти сокровища, нам необходимо утратить исторический, научный и социальный мир, в котором мы живем. То, что мы обращаемся к наукам, технике, рынкам, вещам, отдаляет нас от различия между Бытием и сущим не более, чем от общества, политики или языка.

Реальные, как природа, повествуемые, как дискурс, коллективные, как общество, экзистенциальные, как Бытие, — таковы эти квази-объекты, умножению которых способствовали нововременные, и если они таковы, мы должны следовать за ними, просто становясь тем, чем никогда не переставали быть — **неновременными**.

4. РЕЛЯТИВИЗМ

КАК ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ АСИММЕТРИИ?

В начале этого исследования я предложил антропологию в качестве модели для описания нашего мира, поскольку только она казалась способной связать в одно целое странную траекторию квазиобъектов. Я сразу признал, однако, что эту модель невозможно использовать на практике, поскольку ранее она не применялась к науке и технике. Если, говоря об этнонауках, действительно можно было проследить те связи, которые соединяли их с социальным миром, то с точными науками этого не происходило. Для того чтобы понять, почему так трудно было проявить подобную свободу в обращении с **социотехническими** сетями нашего мира, мне надо было уяснить себе, что именно мы подразумеваем под «нововременным». Если мы понимаем под этим ту официальную Конституцию, которая призвана полностью отделить людей от нечеловеков, тогда никакая антропология нововременного мира действительно невозможна. Но если мы одновременно открываем Конституцию и работу медиации, которая придает ей смысл, то задним числом понимаем, что никогда не были по-настоящему нововременными. Следовательно, антропология, которая вплоть до настоящего момента оказывалась в непреодолимо затруднительном положении, имея дело с наукой и техникой, может снова стать той самой моделью для описания, которую я искал. Будучи неспособной сопоставить **доновременных** и нововременных, она могла бы сравнить тех и других с **неновременными**.

К сожалению, непросто заново использовать антропологию в том виде, в каком она существует. Поскольку она была разработана людьми Нового Времени для того, чтобы понять тех, кто является не такими, как они, антропология заложила в основания своих практик, своих понятий и вопросов ту невозможность, о которой я говорил выше (Bonte, Izard, 1991). Она воздерживается от того, чтобы изучать объекты природы, и ограничивает сферу своих разысканий только культурой. Она остается асимметричной. Для того чтобы она стала сравнительной и чтобы она могла циркулировать между нововременными и неновременными, необходимо сделать

ее симметричной. Для этого она должна стать способной рассматривать не верования, которые непосредственно нас не касаются, — мы всегда достаточно критичны по отношению к ним, — но знания, с которыми мы полностью себя соотносим. Следовательно, необходимо сделать антропологию способной изучать науки, преодолевая границы социологии знания, и в особенности эпистемологии.

Именно первый принцип симметрии произвел смятение в исследованиях науки и техники, когда было высказано требование, что заблуждение и истина должны рассматриваться в одних и тех же терминах (Bloor, 1982). До этого момента социология знания, привлекая огромное количество социальных факторов, занималась исключительно объяснением отклонений от прямой дороги разума. Заблуждение могло объясняться социально, а истина объясняла себя сама. Представлялось вполне возможным анализировать веру в летающие тарелки, но не знание о черных дырах; можно было анализировать иллюзии парapsихологии, но не знание психологов; заблуждения Спенсера, но не прозрения Дарвина. Одни и те же социальные факторы не могли одинаково применяться к тому и другому. В этих двух эталонах, двух мерах обнаруживается старое, осуществляемое антропологией разделение между науками, которые не подлежат изучению, и этнонауками, которые можно изучать.

Посылки, из которых исходит социология знания, не долго смущали бы этнологов, если бы эпистемологи не возвели в ранг основополагающего принципа саму эту асимметрию, существующую между истинными и ложными науками. Только эти последние — «устаревшие» науки — можно связывать с социальным контекстом. Что касается «санкционированных» наук, они становятся научными только потому, что отрываются от всякого контекста, от всех следов собственного происхождения, от всякого наивного восприятия и уклоняются даже от собственного прошлого. Таково, по мнению Башляра и его учеников, различие между историей и историей науки. История может быть симметрична, но это ничего не значит, поскольку она никогда не имеет дела с наукой; история науки никогда и ни при каких обстоятельствах не должна быть симметричной, ибо эпистемологический разрыв должен оставаться абсолютным.

Одного примера будет достаточно, чтобы показать, до чего может дойти отказ от всякой симметричной антропологии. Когда Кангилем отделяет научные идеологии от настоящих наук, он утверждает не только то, что невозможно изучать Дарвина — ученого и Дидро — идеолога в одних и тех же терминах, но что их даже нельзя

ставить на одну доску (Canguilhem, 1968). «Разделение идеологии и науки должно воспрепятствовать тому, чтобы увидеть непрерывность в истории науки там, где сохраняются какие-то элементы идеологии, и там, где научное построение вытеснило идеологию: например, искать в *Сне Д'Аламбера* то, что предшествует *Происхождению видов*» (Ibid., p. 45). Научой является только то, что навсегда порывает с идеологией. Руководствуясь таким принципом, действительно трудно следовать за квазиобъектами, принимая во внимание все мельчайшие обстоятельства, которые их окружают. Раз оказавшись в руках эпистемологов, они будут оторваны от всех своих корней. Останутся только объекты, лишенные всей той сети, которая придавала им смысл. Но зачем вообще говорить о Дидро и Спенсере, зачем интересоваться заблуждениями? Потому что без них блеск истины был бы слишком ослепительным. «Осознание переплетений, существующих между идеологией и наукой, должно помешать нам свести историю науки к бесцветному историческому комментарию, то есть к плоской картине, лишенной рельефа» (Ibid., p. 45). Ложное — это то, что оттеняет истину. То, что Расин, прикрываясь красивым именем историка, делал для Короля-солнца, Кангилем делает для Дарвина, точно так же незаконно присваивая звание историка наук.

Напротив, принцип симметрии восстанавливает непрерывность, историчность и, назовем это так, справедливость. Блур — это анти-Кангилем, так же как Серр — это анти-Башляр, что, впрочем, объясняет то полное непонимание, которое встречает во Франции как социология наук, так и антропология Серра (Bowker, Latour, 1987). «Идея, что существует наука, очищенная от всех мифов, — сама лишь миф», написал Серр, когда порывал с эпистемологией (Serres, 1974, p. 259). Для него, как и, собственно говоря, для историков науки, Дидро, Дарвин, Мальтус и Спенсер должны получить объяснение, исходя из одних и тех же принципов и оснований; если вы хотите объяснить веру в летающие тарелки, проверьте, могут ли ваши объяснения симметричным образом быть использованы и для черных дыр (Lagrange, 1990); если вы нападаете на парапсихологию, способны ли вы использовать те же самые факторы и для психологии (Collins, Pinch, 1991)? Если Вы анализируете достижения Пастера, позволяют ли вам те же самые понятия осознать его неудачи (Latour, 1984)?

Прежде всего, первый принцип симметрии предлагает посадить объяснения на диету. Стало так легко объяснять заблуждения! Общество, верования, идеология, символы, бессознательное, безумие — все это предлагалось с такой легкостью, что благодаря

этому объяснения все больше распухали. А истина? Утратив легкость, вызванную эпистемологическим разрывом, мы, те, кто изучают науки, заметили, что большая часть наших объяснений ничего не стоит. Асимметрия была организующим принципом всех этих наук и всего лишь оскорблением для тех, кто уже и так был побежден. Все изменяется, если строгое следование принципу симметрии заставляет сохранять только те причины, которые могут сгодиться как для победителей, так и для побежденных, действуют как в отношении успеха, так и для неудач. Если точно выверить баланс симметрии, то благодаря этому расхождение между теми и другими станет только отчетливее и позволит понять, почему одни побеждают, а другие терпят поражение (Latour, 1989b). Те, кто, восклицая, как Бренн, «*Горе побежденным!*»,¹ использовали для победителей одну шкалу, а для проигравших — другую, не позволяли понять это расхождение вплоть до настоящего момента.

ПРИНЦИП ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ СИММЕТРИИ

Первый принцип симметрии дает несравнимое преимущество, освобождая нас от эпистемологических разрывов, от существующих *a priori*

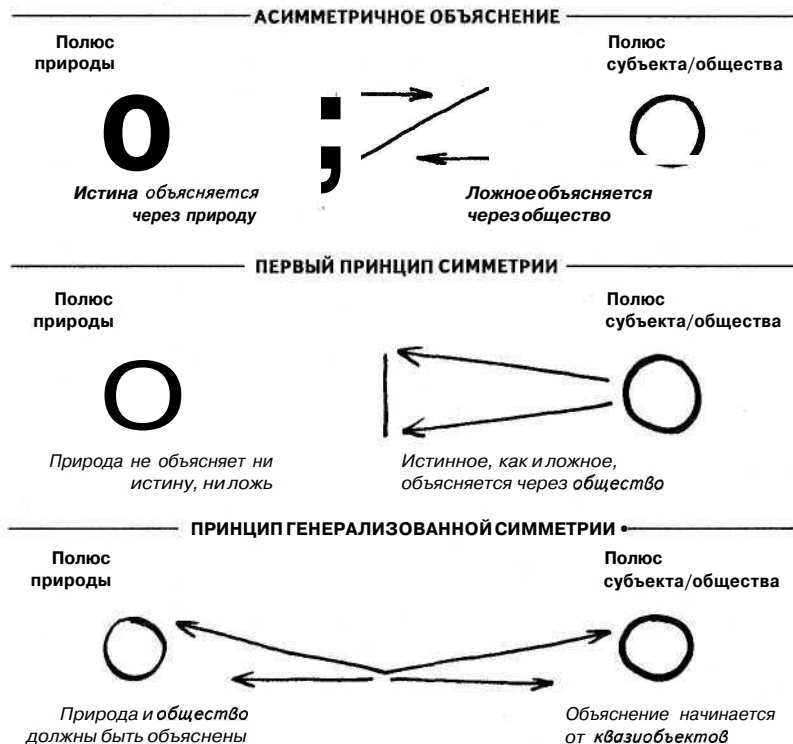
делений на «санкционированные» науки и «устаревшие» науки, или от искусственных границ между социологиями знания, верований и науки. Еще не так давно, когда антрополог возвращался из далеких земель, чтобы обнаружить у себя дома науку, очищенную эпистемологией, он не мог установить непрерывную связь между этонауками и остальными знаниями. Таким образом, он воздерживался, и не без оснований, от того, чтобы изучать самого себя, и довольствовался исследованием различных культур. Теперь же, возвращаясь домой, он обнаруживает исследования, с каждым днем все более многочисленные, которые касаются его собственных наук и методов, так что пропасть, существовавшая прежде между этонауками и остальными знаниями, оказывается уже не такой большой. Теперь он может,

¹ Бренн — вождь сенонов (галльское племя), возглавивший поход галлов на Рим. Осадил город Клузий (ныне Кьюзи), разбил римлян 18 июля 387 г. до н.э. у реки Аллия (приток Тибра) и взял Рим (кроме Капитолия; согласно мифу, священные гуси богини Юноны своим гогом разбудили стражу и тем самым спасли Рим). После якобы семимесячного пребывания в Риме галлы покинули завоеванные земли, опасаясь венетов, вторгшихся в Верхнюю Италию. Когда римляне отвешивали выкуп золотом победителю, Бренн бросил на одну чашу весов свой меч со словами «Горе побежденным!». — *Примеч. науч. ред.*

без особых трудностей, переходить от китайской физики к английской (Needham, 1991); от тробриандских навигационных приборов к навигационным приборам военно-морского флота США (Hutchins, 1983); от тех, кто занимается подсчетами в Западной Африке, к знатокам арифметики в Калифорнии (Rogoff, Lave, 1984); от техников в Кот-д'Ивуар к Нобелевским лауреатам в Сан-Диего (Latour, 1988); от жертвоприношений богу Ваалу к взрыву Челленджера (Serres, 1987). Он не обязан больше ограничивать себя исследованием культур, так как природа или множество природ оказываются в равной степени доступными для исследования.

Однако принцип симметрии, сформулированный Блуrom, быстро заводит в тупик (Latour, 1991). И если этот принцип обязывает к железной дисциплине, когда дело касается объяснений, то и сам он оказывается асимметричным, как это можно увидеть на следующей схеме.

Схема 10



Этот принцип действительно требует того, чтобы истинное и ложное объяснялись бы в одних и тех же терминах, но какие термины при этом выбираются? Те, которые науки об обществе предоставляют последователям Гоббса. Вместо того чтобы, согласно этому принципу, объяснять истину через точное соответствие природной реальности, а ложное — через зависимость от социальных категорий, эпистем или интересов, необходимо, чтобы как истинное, так и ложное объяснялось при помощи одних и тех же категорий, одних и тех же эпистем, одних и тех же интересов. Соответственно этот принцип также является асимметричным, но не потому, что он, как и сами эпистемологи, разделяет идеологию и науку, а потому что он выносит за скобки природу и переносит всю тяжесть объяснений на один только полюс — полюс общества. Будучи конструктивистским в отношении природы, он является реалистичным в отношении общества (Collins, Yearley, 1992; Callon, Latour, 1992).

Но общество, как мы теперь это знаем, сконструировано ничуть не в меньшей степени, чем природа. Если мы реалистичны в отношении одного, то необходимо быть реалистичными и в отношении другого; если мы конструктивисты в отношении одного, то надо быть конструктивистами в отношении их обоих. Или, скорее, как показало наше исследование, посвященное двум нововременным практикам, надо суметь осознать, как природа и общество одновременно являются имманентными — в работе медиации — и трансцендентными — после работы очищения. Природа и общество являются не жесткими рамками, к которым мы могли бы привязать наши интерпретации — асимметричные в кангилемовском смысле или симметричные в блуровском, — но, напротив, тем, что необходимо объяснить. Видимость объяснения, которое предоставляют природа и общество, возникает только позже, когда стабилизированные квазиобъекты становятся после раскола, с одной стороны, объектами внешней реальности, а с другой — субъектами общества.

Таким образом, чтобы антропология стала симметричной, ей недостаточно реализовать первый принцип симметрии — который кладет конец наиболее очевидной несправедливости эпистемологии. Антропологии надо усвоить то, что Мишель Каллон называет принципом генерализованной симметрии: антрополог должен расположиться в срединной точке, откуда он может наблюдать за распределением как нечеловеческих, так и человеческих свойств (Callon, 1986). Ему запрещено использовать внешнюю реальность, чтобы объяснять общество, точно так же, как и использовать вла-

стные игры для объяснения того, что придает форму внешней реальности. Ему, разумеется, также запрещено попеременно использовать природный и социологический реализм, так чтобы действовать при этом «не только» природу, «но и» общество ради сохранения двух типов первоначальной асимметрии, скрывая слабости одной под слабостями другой (Latour, 1989a).

Пока мы были нововременными, занять такую позицию не представлялось возможным, поскольку ее не существовало! Как было показано выше, единственной центральной позицией, которую признавала Конституция, являлся сам феномен, место встречи, где налагаются друг на друга два полюса — природа и субъект. И эта точка оставалась *по man's land*, не-местом. Теперь мы знаем, что все меняется в тот самый момент, когда, вместо вечного метания между двумя полюсами одного-единственного измерения нововременности, мы спускаемся вдоль измерения ненововременности. Немыслимое не-место оказывается местом вторжения в Конституцию работы медиации. Оно уже не является пустым, а становится местом, где размножаются квазиобъекты и квазисубъекты. Оно уже не является немислимым, а оказывается территорией всех осущестляемых эмпирических исследований сетей.

Разве не это место антропология с таким трудом подготавливала для себя в течение целого столетия и не его ли без особых усилий занимает сегодня этнолог, когда он должен изучить другие культуры? Действительно, вот уж кто, не меняя инструментов анализа, переходит от метеорологии к системе родства, от растительной природы к ее культурным репрезентациям, от политической организации к этномедицине, от структуры мифов к этнопсихологии или способам охоты. Конечно, мужество этнолога, разворачивающего эту ткань, в которой отсутствуют какие бы то ни было швы, проистекает из его личного убеждения, что речь идет о репрезентациях и только о них. Что касается природы, то она остается уникальной, внешней и универсальной. Но если мы накладываем друг на друга две различные позиции — ту, которую без особого усилия занимает этнолог, чтобы изучать культуру, и ту, которую, потратив столько усилий, мы определили, чтобы изучать нашу природу, — то сравнительная антропология оказывается возможным, если даже не простым, делом. Она уже не занимается тем, что сравнивает другие культуры, оставляя в стороне свою собственную, которая якобы обладает универсальной природой благодаря какой-то удивительной привилегии. Она сравнивает **природы—культуры**. Сопоставимы

ли они? Подобны ли они? Равны ли они? Возможно, теперь мы способны разрешить неразрешимый вопрос релятивизма.

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ДВУХ ВЕЛИКИХ РАЗЛОМОВ

«Мы, западные люди, абсолютно отличаемся от других» — таков победный клич или бесконечные сетования Нового Времени. Нас неот-

ступно преследует Великий Разлом, существующий между Нами, западными людьми, и Ними, всеми остальными, — на территории от Китайских морей и до Юкотана, от эскимосов до тасманских аборигенов. Что бы ни делали западные люди, они несут историю на палубах своих каравелл и канонерских лодок, в цилиндрах своих телескопов и в поршнях шприцев, которыми делаются прививки. Они несут это бремя белого человека, видя в нем то воодушевляющую задачу, то трагедию, но всегда свою судьбу. Они утверждают не только то, что отличаются от других, как сиу отличаются от алгонкинов или баули от **лапонов**, но что их отличие радикально, абсолютно, так что можно с одной стороны поместить Запад, а с другой — все остальные культуры, поскольку все эти культуры характеризует то, что каждая из них — одна из многих. Как считают западные люди, Запад, и только Запад, не является просто одной из культур, вернее, является не только культурой.

Почему Запад осмысляет себя таким образом? Почему он, и только он, не является просто культурой? Чтобы понять этот Великий Разлом между Нами и Ними, нужно вернуться к другому Великому Разлому между людьми и нечеловеками, который я определил выше. На самом деле, первый является следствием экспорта второго. Мы, западные люди, не можем быть просто одной культурой наравне с прочими, поскольку мы, помимо всего остального, мобилизуем природу. Не так, как это делают другие общества, **задействуя образ или символические** репрезентации природы, но природу как таковую, или, по крайней мере, такую, какой она предстает в научном знании, в науках, которые мы оставляем в неприкосновенности, науках не изучаемых, не изученных. Таким образом, в центре вопроса о релятивизме находится вопрос о науке. Если бы западные люди занимались только тем, что торговали или завоевывали, грабили и обращали в рабство, они бы ничем не отличались от всех остальных торговцев и завоевателей. Но вот они изобрели **науку** — деятельность, совершенно отличную от завоеваний и **торговли**, от политики и морали.

Даже те, кто во имя культурного релятивизма пытались защищать непрерывную связь культур, не упорядочивая их по степени развития и не замыкая эти культуры в их собственных границах (Levi-Strauss, 1952), думают, что могут это сделать, только приблизив их, насколько это возможно, к науке.

Пришлось дожидаться середины этого столетия, — пишет Леви-Строс в статье «Неприрученная мысль», — чтобы пересеклись долгое Время разделенные пути: тот, что достигает физического мира в обход коммуникации (первобытное мышление), и тот, о котором с недавних пор известно, что в обход физического он достигает мира коммуникации (нововременная наука)» (Levi-Strauss, 1962, p. 357).¹

Сразу же оказывалась преодоленной ложная антиномия между логической и прелогической ментальностью. Неприрученное мышление является логическим — в том же смысле и таким же образом, как и наше: каким выступает наше, когда применяется к познанию универсума, в котором оно признает одновременно физические и семантические качества. <...> Нам возразят, что существует капитальное различие между мышлением первобытных людей и нашим: теория информации интересуется сообщениями, которые подлинно являются таковыми, тогда как первобытные люди ошибочно принимают за сообщения простые проявления физического детерминизма. <...> Обращаясь с чувственно воспринимаемыми качествами животного и растительного царства, как если бы это были элементы сообщения, и открывая в них «сигнатуры» — а следовательно, знаки, люди [носители первобытного мышления] совершили ошибку в ориентировке: не всегда означавшим элементом был именно тот, что они полагали. Но при недостатке усовершенствованных инструментов, которые позволили бы им поместить его туда, где он находится чаще всего, то есть на микроскопический уровень, они уже различали, «как сквозь дымку», те принципы интерпретации, для обнаружения эвристической ценности которых и того, что они соответствуют реальности, нам потребовались совсем недавние открытия — телекоммуникации, компьютеры и электронные микроскопы (Ibid., p. 356).²

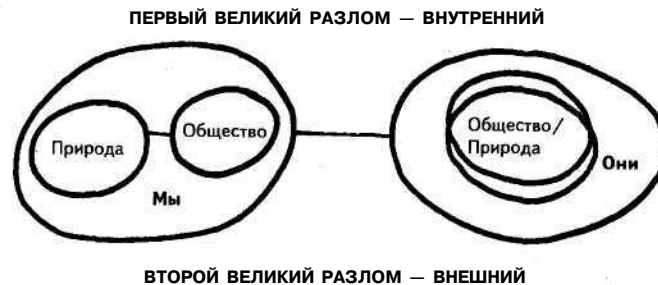
¹ См. русскоязычное издание: Клод Леви-Строс, Первобытное мышление, М.: Республика, 1994, с. 326-327, пер. А.Б. Островского.

² Там же, с. 325-326.

Великодушный адвокат Леви-Строс не может придумать других смягчающих обстоятельств, кроме одного: сделать своих клиентов похожими на ученых! Если дикари не отличаются от нас настолько, насколько мы думаем, то происходит это потому, что они предвосхищают новейшие завоевания теории информации, молекулярной биологии и физики при помощи неадекватных инструментов и «ошибок в ориентировке». Сами науки, способствующие этому возвышению, удерживаются вне игры, вне практики, вне поля. Понимаемые в духе эпистемологии, эти науки остаются объективными и внешними, в то время как квазиобъекты очищаются от своих сетей. Дайте дикарям микроскоп, и они будут думать точно так же, как мы. Есть ли какой-нибудь другой столь же легкий способ покончить с теми, кого мы хотели спасти? Для Леви-Строса (как для Кангилема, Лиотара, Жирара и большинства французских интеллектуалов) это новое научное знание полностью располагается за пределами культуры. Эта трансцендентность позволяет рассматривать все культуры — как другие, так и нашу собственную — релятивистски. За тем исключением, конечно, что именно наша культура, а не какая-нибудь другая конструируется посредством биологии, электронных микроскопов и телекоммуникационных сетей... Пропасть, которую мы хотели хоть как-то уменьшить, вновь разверзлась перед нами.

Где-то в наших обществах, и только в наших, явила себя невиданная прежде трансцендентность: природа как таковая — ачеловеческая, иногда нечеловеческая, всегда сверхчеловеческая. С того момента, как произошло это событие, — связывают ли его с греческой математикой, итальянской физикой, немецкой химией, американской ядерной энергетикой, бельгийской термодинамикой, — асимметрия между культурами, принимающими в расчет природу, и культурами, принимающими в расчет только свою собственную культуру или искаженные представления, которые они могли получить о материи, стала полной. Те культуры, которые изобретают науки и открывают физический детерминизм, никогда не имеют дела исключительно с человеческими существами, а если это происходит, то только в силу случайности. Другие имеют только репрезентации природы, в большей или меньшей степени замутненные или кодированные культурными интересами людей, интересами, которые занимают их целиком и полностью и только случайно попадают — «как сквозь дымку» — на вещи, какие они есть.

Схема 11



Нововременное деление

Доновременное взаимоналожение

Внутренний Великий Разлом объясняет, таким образом, внешний Великий Разлом: мы — единственные, кто проводит абсолютное различие между природой и культурой, между наукой и обществом, в то время как все остальные — будь то китайцы или американские индейцы, занде или баруйя — не могут по-настоящему отделить то, что является знанием, от того, что является обществом, то, что является знаком, от того, что является вещью, то, что исходит от природы как таковой, от того, что требуют их культуры. Что бы они ни делали, сколь бы приспособленными, отрегулированными, функциональными они ни были, они всегда будут оставаться ослепленными этим смешением, пленниками социального и языка. Что бы мы ни делали, какими бы преступными, какими бы империалистическими мы ни были, мы освобождаемся от плена социального или языка, чтобы получить доступ к самим вещам через спасительный выход, открываемый научным знанием. Внутреннее деление между людьми и нечеловеками определяет второе деление, на этот раз внешнее, за счет которого нововременные помещают себя отдельно от доновременных. С их точки зрения, природа и общество, знаки и вещи почти тождественны. С нашей точки зрения, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь имел возможность смешивать социальные заботы и доступ к самим вещам.

АНТРОПОЛОГИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ ТРОПИКОВ

это поначалу с осторожностью, если не сказать, с робостью. Сна-

Когда антропология возвращается из тропиков, чтобы соединиться с антропологией ожидающего ее нововременного мира, она делает

чала она думает, что сумеет приложить свои методы только в тех случаях, когда западные люди смешивают знаки и вещи, подобно тому, как это имеет место в первобытном мышлении. Таким образом, она будет искать то, что больше всего напоминает ее традиционные территории, какими их определил внешний Великий Разлом. Конечно, антропологии придется пожертвовать экзотикой, но цена, которую надо будет за это заплатить, не слишком высока, поскольку она сумеет сохранить свою критическую дистанцию, изучая только окраины, разломы и то, что находится по ту сторону рациональности. Народная медицина, колдовство (Favret-Saada, 1977), жизнь крестьян вблизи атомных электростанций (Zonabend, 1989), практики наших аристократических салонов (Le Witta, 1988) — все это представляет собой прекрасные поля для исследований, поскольку вопрос о природе здесь еще не поставлен.

Однако великая репатриация не может на этом остановиться. На самом деле, жертвуя экзотикой, этнолог теряет то, в чем заключается оригинальность его собственных исследований, если сравнивать их с вездесущими исследованиями социологов, экономистов, психологов или историков. В тропиках антрополог не довольствовался изучением окраин других культур. Если в том, что касается его предмета и методов, он оставался маргиналом, это не мешало ему претендовать на воссоздание главного в этих культурах, их системы верований, их техник, их этнонаук, их властных игр, их экономических систем, короче говоря, всей полноты их существования. Если антрополог возвращается домой, он довольствуется изучением маргинальных аспектов своей собственной культуры и теряет все завоеванные с таким трудом преимущества антропологии, как, например, произошло с Марком Оре, который, находясь у жителей Кот-д'Ивуар, стремился описать колдовство как целостную практику (Аиде, 1975), но, возвратившись в свою культуру, ограничился изучением наиболее внешних аспектов метрополитена (Аиде, 1986) или Люксембургского сада. «Симметричный» Марк Оре должен был бы изучать не какие-то граффити, сделанные в переходах метро, но социотехническую сеть самого метро, его инженеров и машинистов, руководителей и пассажиров, государство-работодателя и т. д. Он просто-напросто должен был бы у себя дома делать то, что всегда делал у других. Возвращаясь домой, этнологи уже не могут ограничиваться периферией: в противном случае, по-прежнему находясь в положении асимметрии, они будут смелыми по отношению к другим и робкими по отношению к самим себе.

Однако чтобы быть способным к такой свободе маневрирования и обращения, надо найти возможность посмотреть на два этих Великих Разлома одними и теми же глазами и увидеть в том и другом случае одно частичное определение нашего мира и его отношений с другими мирами. Ибо эти Разломы определяют нас ничуть не лучше, чем они определяют других; они являются инструментом знания не в большей мере, чем одна Конституция или одна нововременная темпоральность (см. выше). Поэтому надо обойти одновременно оба эти Разлома, не веря ни в радикальное различие людей и нечеловеков у нас, ни в полное взаимоналожение знаний и обеществ у других.

Давайте представим себе некоего этнолога, который отправляется в тропики и берет с собой внутреннее Великое Разделение. В его глазах люди, которых он изучает, постоянно смешивают, с одной стороны, знания о мире, которыми добропорядочный западный исследователь обладает благодаря чистому наитию, а с другой — необходимость социального функционирования. Племя, которое его у себя принимает, обладает только **одним-единственным** видением мира, только одним представлением о природе. Если вспомнить известное выражение **Мосса** и **Дюркгейма**, это племя проецирует на природу свои собственные социальные категории (**Durkheim**, 1903). Когда наш этнолог объясняет своим информантам, что они должны более тщательно отделять мир, какой он есть, от той социальной репрезентации, которой они его наделяют, последние чувствуют себя оскорбленными или вообще его не понимают. Этнолог усматривает в их ярости и в их непонимании доказательство их доновременной одержимости. Дуализм, в котором живет исследователь, — с одной стороны, люди, с другой — нечеловеки, знаки здесь, а вещи там, — для них невыносим. По причинам социального порядка, заключает наш этнолог, эта культура нуждается в монистическом отношении. «Мы извлекаем выгоду из наших идей, оно [первобытное мышление] их накапливает».

Но давайте теперь предположим, что наш этнолог возвращается в свою страну и пытается отменить внутренний Великий Разлом. И предположим теперь, что благодаря ряду счастливых случайностей он принимается за анализ одного из множества здешних племен, скажем, племени научных исследователей или инженеров. Ситуация оказывается перевернутой, поскольку здесь и сейчас исследователь применяет уроки монизма, почерпнутые им из предыдущего путешествия. Племя ученых утверждает, что в конечном

счете оно полностью отделяет знание о мире от нужд политики или морали (Traweek, 1988). Однако в глазах наблюдателя это отделение не является особенно заметным или само представляет собой побочный продукт гораздо более смешанной деятельности в лаборатории, бриколажа. Информанты утверждают, что они имеют доступ к природе, но этнограф отлично видит, что они имеют доступ только к определенному видению **природы**, к репрезентациям природы (Pickering, 1980). Это племя, как и предыдущее, проецирует свои собственные социальные категории на природу, но в данном случае принципиально новым является утверждение, что оно этого не делает. Когда этнолог объясняет своим информантам, что они не могут отделить природу от социальной репрезентации, которой они его наделяют, они чувствуют себя оскорбленными или вообще его не понимают. Наш этнолог усматривает в их ярости и в их непонимании доказательство их нововременной одержимости. Монизм, в котором теперь живет исследователь, — люди отныне всегда смешаны с нечеловеками — для них невыносим. По причинам социального порядка, заключает наш этнолог, западные ученые нуждаются в дуалистическом отношении.

Однако такой двойной вывод является неточным, так как этнолог невнимательно слушал своих информантов. Цель антропологии состоит не в том, чтобы дважды оскорбить или дважды вызвать непонимание. Первый раз — экспортируя внутренний Великий Разлом и навязывая дуализм культурам, которые его отвергают, второй раз — отменяя внешний Разлом и навязывая монизм нашей собственной культуре, которая полностью его отвергает. Антропология полностью обходит эту проблему и усматривает в этих двух Великих Разломах не описание реальности — нашей собственной реальности и реальности других, а то, что определяет тот особый способ, которым западные люди устанавливают свои отношения с другими. Мы можем сегодня обойти этот способ, поскольку само развитие науки и техники мешает нам быть полностью нововременными. При условии, однако, что мы сможем представить себе несколько иную антропологию.

КУЛЬТУРА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Давайте предположим, что, возвратившись из тропиков, антропология стала занимать трижды **симметричную** позицию: она объясняет истины и заблуждения в одних и тех же терминах — это первый принцип симметрии; она изучает **одновре-**

менно порождение людей и нечеловеков — это принцип генерализованной симметрии; наконец, она занимает промежуточную позицию, располагаясь между традиционными и новыми территориями, поскольку воздерживается от всякого утверждения относительно того, что отличает западных людей от Других. Конечно, она **утрачивает экзотику**, но вместо этого приобретает новые территории, позволяющие ей изучать центральный механизм всех коллективов, в том числе и наших собственных. Она теряет свою прикрепленность исключительно к культуре — или исключительно к культурным измерениям, — но взамен этого приобретает природу, что является бесценным приобретением. Две позиции, которые я определил в начале этого исследования, — одна, которую без особых усилий занимал этнолог, и другая, которую с таким трудом пытался найти исследователь науки, — оказываются теперь совмещенными. Анализ сетей протягивает руку антропологии и предлагает ей занять то центральное место, которое было ей уготовано.

Вопрос релятивизма становится не таким уж трудноразрешимым. Если наука, понимаемая в духе эпистемологов, и делает проблему неразрешимой, то, как это часто бывает, достаточно изменить концепцию научных практик, чтобы искусственно созданные трудности разрешились. То, что разум усложняет, сети объясняют. Особенность западных людей состоит в том, что при помощи Конституции они навязывают тотальное разделение людей и нечеловеков — внутренний Великий Разлом — и тем самым искусственно устраивают скандал по поводу других. «Неужели можно быть персиянином?»¹ Как можно не производить радикального различия между универсальной природой и относительной культурой? *Но само понятие культуры является артефактом, созданным путем вынесения природы за скобки.* Ибо культуры — различные или универсальные — существуют не в **большей** мере, чем **универсальная** природа. Существуют только **природы—культуры**, и именно они составляют единственно возможное основание для сравнения. Как только наряду с практиками очищения мы принимаем во внимание практики медиации, мы обнаруживаем, что нововременные разделяют людей и нечеловеков не более, чем «другие» **полностью** совмещают знаки и вещи (Guille-Escuret, 1989).

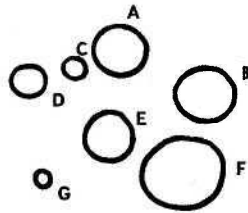
¹ Здесь автор цитирует «Персидские письма» Монтескье (См. русскоязычное издание: Шарль Монтескье, Персидские письма, пер. с фр. под ред. Е.А. Гунста, М., 1956, с. 91.). — *Примеч. ред.*

Теперь я могу сравнить формы релятивизма в зависимости от **того**, принимают или не принимают они во внимание конструирование природы. Абсолютный релятивизм предполагает существование отдельных и несоизмеримых культур, которые не могут быть упорядочены никакой иерархией. О нем бесполезно говорить, поскольку он выносит за скобки природу. Что касается более тонкой формы культурного релятивизма, то здесь появляется на сцене природа, но ее существование не предполагает наличия какого-либо общества, какого-либо конструирования, какой-либо мобилизации или сети. Это природа, пересмотренная и исправленная гносеологией, для которой научная практика всегда находится вне поля исследования. В рамках этой традиции культуры распределяются как множество более или менее верных точек зрения на эту единую природу. Некоторые общества видят ее, «как сквозь дымку», другие — как сквозь густой туман, третьи — как при ясной погоде. Рационалисты будут настаивать на общих аспектах, присущих всем этим точкам зрения, релятивисты будут настаивать на неизбежной **деформации**, которую социальные структуры налагают на все эти восприятия (Hollis, Lukes, 1982). Первые будут разгромлены, если удастся показать, что культуры не совпадают в своих категориях; вторые утратят почву под ногами, если удастся доказать, что культуры совпадают в своих категориях (Brown, 1976).

На практике, однако, как только природа вступает в игру, не будучи привязана к какой-то одной культуре, всегда начинает тайно использоваться третья модель — та разновидность универсализма, которую я бы назвал «частичной». Одно из обществ — и это всегда наше общество — намечает общую рамку природы, по отношению к которой располагаются все остальные. Таково решение, предложенное Леви-Стросом, решение, которое позволяет отделить западное общество, создающее особое толкование природы, от самой этой природы, ставшей чудесным образом известной нашему обществу. Первая половина аргумента делает возможным умеренный релятивизм — мы являемся только одной культурой среди множества других, но вторая часть делает возможным тайное возвращение надменного универсализма — мы остаемся абсолютно другими. В глазах Леви-Строса, однако, никакого противоречия между двумя половинами не существует, и как раз потому, что наша Конституция, и только она, позволяет отличить общество А, созданное людьми, от общества **А'**, состоящего из нечеловеков, но навсегда отъединенного от первого! Сегодня это противоречие

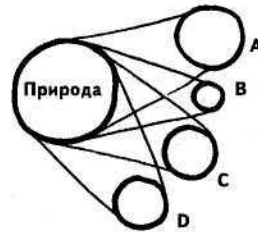
может заметить только симметричный антрополог. Эта последняя модель представляет собой общее основание двух других, что бы ни говорили релятивисты, которые релятивистским образом подходят только к культурам.

Схема 12



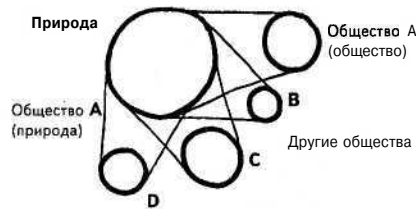
АБСОЛЮТНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ

Культуры не предполагают иерархии и контактов, они абсолютно несоизмеримы; природа вынесена за скобки.



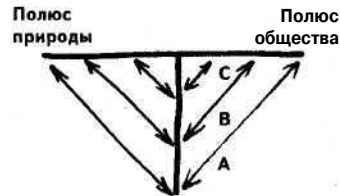
КУЛЬТУРНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ

Природа присутствует, но за пределами культур; все культуры имеют на нее более или менее верную точку зрения.



ЧАСТИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛИЗМ

Одна из культур (A) обладает привилегированным доступом к природе, и это отделяет ее от других.



СИММЕТРИЧНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Все коллективы конституируют природы и культуры; изменяется только масштаб мобилизации.

Релятивисты никогда никого не могли убедить в равенстве культур, поскольку рассматривали только культуры. А что же природа? С их точки зрения, она для всех одинакова, поскольку ее определяет универсальная наука. Чтобы избежать подобного противоречия, они вынуждены либо свести все народы к простой репрезентации мира, превратив их в пленников своих собственных обществ (Wilson, 1970); либо, наоборот, чтобы отрицать за наукой какую-либо универсальность — свести все научные результаты к

простым продуктам локальных и порожденных случайными обстоятельствами социальных конструкций (Bloor, 1982, 1983). Вообразить миллиарды людей, заключенных с начала времен в границах деформированного видения мира, столь же трудно, как представить нейтрино, квазары, ДНК и всемирное тяготение в качестве техасского, английского и бургундского социального производства. Два эти ответа в равной мере абсурдны, и поэтому великие споры релятивизма никогда ни к чему не ведут. Придать природе универсальный характер так же невозможно, как и свести ее к узким рамкам одного только культурного релятивизма.

Решение появляется в тот момент, когда устраняется артефакт культур. Все природы—культуры схожи друг с другом в том, что они одновременно создают человеческие, божественные и нечеловеческие существа. Ни одна из них не живет в мире знаков или символов, произвольно навязанных внешней природе, о существовании которой знаем только мы одни. Ни одна из них, и в особенности наша собственная, не живет в мире вещей. Все они занимаются распределением того, что будет и что не будет нести знаки (Claverie, 1990). Если существует нечто такое, что в равной мере делаем мы все, то это, конечно же, одновременное конструирование наших человеческих коллективов и нечеловеков, их окружающих. Конституируя свои коллективы, некоторые мобилизуют предков, львов, звезды и свернувшуюся кровь жертв; для конструирования наших коллективов мы мобилизуем нашу генетику, зоологию, космологию и гематологию. «Но это — науки», воскликнут нововременные, приведенные в ужас всей этой путаницей, «они должны в максимально возможной степени быть очищенными от представлений общества». Однако присутствия наук недостаточно, чтобы нарушить симметрию — таково открытие сравнительной антропологии. От культурного релятивизма мы переходим к «природному». Первый вел к абсурду, второй должен позволить нам вновь обрести здравый смысл.

**РАЗМЕР ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ**

Вопрос релятивизма, однако, еще не решен. Временно устранено только смешение, ставшее следствием того, что природа была вынесена за скобки. Мы оказываемся теперь перед производством таких природ—культур, которые я называю коллективами, чтобы напомнить о том, что они столь же отличны от общества, как его понимают социологи — общество как люди-между-собой, так и от природы, как ее рассматривают эпис-

темологи — природа как вещи-в-себе. Как я уже говорил, с точки зрения сравнительной антропологии, все эти коллективы схожи друг с другом в том, что они одновременно распределяют, что в будущем станет элементами природы и что в будущем станет элементами социального мира. Никто никогда не слышал о коллективах, которые не задействовали бы небо, землю, тела, блага, право, богов, души, предков, силы, зверей, верования, вымышленные существа... Такова старая антропологическая матрица, которой мы никогда не покидали.

Но эта общая матрица определяет только исходную точку сравнительной антропологии. На самом деле, все коллективы отличаются друг от друга тем, как они распределяют сущее, какими свойствами они наделяют единицы сущего, какой уровень мобилизации они считают допустимым. Эти различия составляют такое множество мелких каталогов, что среди них никакой Великий Разлом уже не будет замечен. Среди все этих каталогов есть один, который мы способны теперь распознать и который уже в течение трех веков характеризует официальную версию некоторых сегментов некоторых коллективов. Речь идет о нашей Конституции, которая приписывает одной совокупности единиц сущего роль нечеловеков, другой совокупности — роль граждан, а третьей — функцию своевольного и бессильного Бога. Сама по себе эта Конституция уже не отделяет нас от других, поскольку просто-напросто добавляется к длинному списку отличительных признаков, которые включает в себя сравнительная антропология. Эти признаки можно было бы представить в качестве совокупности папок в большой базе данных Лаборатории социальной антропологии Коллеж де Франс, которую следовало бы переименовать в *«Досье об отношениях человеков и нечеловеков»*.

В своем распределении изменчивых единиц мы так же отличны от ашуаров, как они отличаются от тапире или арапешей. Не больше и не меньше. Однако такое сравнение принимало бы в расчет только одновременное производство природы и общества и только один аспект коллективов. Оно удовлетворяет нашему чувству справедливости, но наталкивается, двигаясь совершенно другими путями, на то же самое препятствие, что и абсолютный релятивизм, поскольку немедленно уничтожает различия, делая все коллективы одинаково различными. Оно не позволяет осознать тот другой аспект, который я пытаюсь наметить с самого начала этого исследования, — масштаб мобилизации, масштаб, который является одновременно следствием Нового Времени и причиной его конца.

Дело в том, что принцип симметрии имеет целью не только установление равенства — что является всего лишь способом установить стрелку весов на нулевой отметке, — но и регистрирование различий, то есть в конечном счете асимметрий, и понимание практических средств, которые позволяют одним коллективам доминировать над другими. Хотя коллективы могут быть схожими в принципах, касающихся одновременного производства природы и общества, они могут отличаться по своим размерам. Когда мы в начале процедуры взвешивания ставим на чашу весов атомную станцию, дыру в озоновом слое, карту человеческого генома, поезд на воздушной подушке, сеть спутников, галактический кластер — они весят не больше, чем огонь, добываемый из дерева, небо, которое может упасть на голову, генеалогия, телега, духи, обитающие на небе, или космогония. Во всех случаях эти квазиобъекты с их колеблющимися траекториями одновременно очерчивают формы природы и формы обществ. Но в конце процедуры взвешивания первая группа объектов дает нам совсем другой коллектив, чем вторая. Эти различия также должны быть признаны.

Образно говоря, эти расхождения имеют силу в двух значениях этого слова. Они важны — и заблуждение релятивизма состоит в том, что он их игнорирует, но они касаются только размера, — и ошибка универсализма заключается в том, что он делает из них Великий Разлом. Коллективы являются схожими во всем, за исключением своего размера, подобно последовательным виткам одной и той же спирали. То, что одному коллективу нужны предки и неподвижные звезды, а другому, более эксцентрическому, нужны гены и квазары, объясняется размерами коллектива, который должен существовать в качестве единого целого. Большее количество объектов требует большего количества субъектов. *Большая степень субъективности требует большей степени объективности*. Если вы принимаете Гоббса и его последователей, вам не обойтись без Бойля и его последователей. Если вы принимаете Левиафана, вам не обойтись без воздушного насоса. Именно это позволяет принимать во внимание различия (размеры витков действительно различны), одновременно принимая во внимание сходства (все коллективы одинаково смешивают единицы человеческие и нечеловеческие). Релятивистам, которые стремятся поставить все культуры на одну доску, рассматривая их все как одинаково произвольное кодирование природного мира, производство которого остается необъяснимым, не удастся принять во внимание усилия,

которые коллективы совершают, чтобы доминировать друг над другом. С другой стороны, универсалисты не способны понять глубинное братство, существующее между коллективами, поскольку они считают, что доступ к природе должен быть открыт одним только западным людям, а всех остальных следует удерживать в границах их обществ, чего они могут избежать, только становясь научными, нововременными и **вестернизированными**.

Наука и техника представляют собой нечто примечательное не потому, что являются подлинными или эффективными, — эти свойства им даются в качестве дополнения и по совершенно другим причинам, чем это делают эпистемологи (Latour, 1989a), — а потому, что они умножают количество нечеловеков, рекрутируемых при производстве коллективов, и потому, что они делают более сплоченными сообщества, которые мы из этих существ формируем. Нововременные науки характеризуются не тем эпистемологическим разрывом, который навсегда отсекает их от донаучного прошлого, а именно этим расширением витков спирали, масштабом вовлечения, которое оно обеспечивает, все более увеличивающимся расстоянием, которое оно охватывает, чтобы рекрутировать эти единицы сущего. Нововременные знания и возможности отличаются друг от друга не тем, что они как будто бы могут ускользнуть от тирании социального, а тем, что они добавляют гораздо больше гибридов, чтобы рекомбинировать социальную связь и еще больше увеличить ее масштаб. Не только воздушный насос, но также микробы, электричество, атомы, звезды, уравнения второй степени, автоматы и роботы, мельницы и поршни, бессознательное и нейропередатчики. На каждом витке спирали новый перевод квазиобъектов активизирует появление нового определения социального тела, субъектов, а также объектов. В нашем коллективе наука и техника отражают общество не больше, чем в их коллективах природа отражает социальные структуры. Речь не идет об игре отражений. Речь идет о конструировании коллективов во все более увеличивающемся масштабе. Различия в размере действительно существуют. Не существует различий в природе, и еще меньше существует различий в культуре.

ПЕРЕВОРОТ АРХИМЕДА

Размер коллективов будет претерпевать существенные изменения за счет вовлечения особого типа нечеловеков. Нет более яркого символа, который позволил бы осознать это изменение в размере, чем тот поистине невозможный опыт, о

котором рассказывает Плутарх и который, по выражению Мишеля Отье, конституирует «канон ученого» (Authier, 1989):

Между тем Архимед как-то раз написал царю Гиерону, с которым был в дружбе и родстве, что данную силою можно сдвинуть любой данный груз; как сообщают, увлеченный убедительностью собственных доказательств, он добавил сгоряча, что, будь в его распоряжении другая Земля, на которую можно было бы встать, он сдвинул бы с места нашу. Гиерон изумился и попросил претворить эту мысль в действие и показать какую-либо тяжесть, перемещаемую малым усилием, и тогда Архимед велел наполнить обычной кладью царское трехмачтовое грузовое судно, недавно с огромным трудом вытасченное на берег целою толпою людей, посадил на него большую команду матросов, а сам сел поодаль и, без всякого напряжения вытягивая конец каната, пропущенного через составной блок, придвинул к себе корабль — так медленно и ровно, точно тот плыл по морю. Царь был поражен и, осознав все могущество этого искусства, убедил Архимеда построить ему несколько машин для защиты и для нападения (Плутарх, Жизнь Марцелла).'

Архимед не только перевернул соотношение сил при помощи посредника, составного блока, но также перевернул политические отношения, предложив царю реальный механизм, который делает одного человека физически сильнее, чем целое множество людей. До того времени правитель репрезентировал массу, официальным представителем которой он был, однако сам он при этом сильнее не становился. Архимед создал для Левиафана другой принцип композиции, трансформируя отношения политической репрезентации в отношении механической пропорции. Если в распоряжении правителя нет геометрии и статики, он должен считаться с теми социальными силами, которые бесконечно его превосходят. Но если к игре политических сил вы добавите техническое приспособление в виде рычага, то сможете стать сильнее, чем множество, вы сможете нападать и защищаться. Не удивительно, что Гиерон «был поражен, осознав все могущество этого искусства [техники]». До сих пор ему не приходило в голову строить политическую власть при помощи составного блока (Latour, 1990a).

¹ Плутарх, Сравнительные жизнеописания в трех томах, под. ред. С.П. Маркиша и С.И. Соболевского, М.: Академия наук СССР, 1961, том 1, с. 391-392.

Но урок Плутарха еще более глубок. К этому первому моменту, состоящему в том, что благодаря пропорциональному отношению между малым и большим, между уменьшенной моделью и использованием естественного размера Архимед делает силу (физическую) соизмеримой с силой (политической), добавляется второй, еще более важный:

Архимед был человеком такого возвышенного образа мыслей, такой глубины души и богатства познаний, что о вещах, доставивших ему славу ума не смертного, а божественного, не пожелал написать ничего, но, считая сооружение машин и вообще всякое искусство, сопричастное повседневным нуждам, низменным и грубым, все свое рвение обратил на такие занятия, в которых красота и совершенство пребывают не смешанными с потребностями жизни, — занятия, не сравнимые ни с какими другими, представляющие собою своего рода состязание между материей и доказательством, и в этом состязании первая являет величие и красоту, а второе — точность и невиданную силу.¹

Математическое доказательство остается несоизмеримым с низким ручным трудом, с вульгарной политикой, простым использованием. Архимед — божествен, власть математики — сверхъестественна. Все следы, сочетания, соединения, альянсы уничтожаются. Даже тексты должны исчезнуть, не оставив следа. Первый момент породил неизвестного гибрида, благодаря которому тот, кто был слабее, стал сильнее за счет союза, установленного им между формами политики и законами пропорции. Второй момент очищает и делает несоизмеримыми политику и науку, империю людей и эмпирию математики (Serres, 1989b). Архимедову точку опоры надо искать не в первом моменте, а в соединении двух: как делать политику при помощи новых средств, которые внезапно становятся с ней соизмеримыми, притом, что отрицается любая связь между абсолютно несоизмеримыми видами деятельности? Итог положителен вдвойне: Гиерон защищает Сиракузы при помощи машин благодаря тому, что стали известны способы расчета их размеров, и соответственно возрастает коллектив, хотя исток этого изменения масштаба, этой соизмеримости исчезает навсегда, оставляя эмпирию наук в качестве ресурса свежих сил, всегда доступных и никогда не видимых воочию. Да, наука — это действительно политика, осуществляемая при помо-

щи других средств, — средств, которые являются мощными только потому, что остаются радикально другими.

Размышляя над переворотом Архимеда (или, скорее, Плутарха), мы устанавливаем, каким образом новый тип нечеловеков проникает в саму ткань коллектива. Речь идет не о том, чтобы попытаться выяснить, как геометрия «отражает» интересы Гиерона или как сиракузское общество «попало в зависимость» от законов геометрии. Новый коллектив конструируется за счет привлечения геометрии и отрицания того, что он это делает. Общество не может объяснить геометрию, поскольку именно новое, основанное на геометрии общество начинает защищать стены Сиракуз от Марцелла. Общество, основанное на политике, является артефактом, полученным путем исключения стен и рычагов, блоков и мечей, точно так же, как социальный контекст Англии XVII века мог быть получен только путем предварительного исключения воздушного насоса и зарождающейся физики. И когда мы изымаем нечеловеков, подмешанных в коллективы, тогда остаток, который мы называем обществом, становится непонятным. Его масштаб, его устойчивость, длительность его существования оказываются лишены каких бы то ни было оснований. Это то же самое, что поддерживать Левиафана посредством только голых граждан и одного только общественного договора, без воздушного насоса, шпаги, меча, ведомостей, компьютеров, документов и дворцов (Callon, Latour, 1981; Strum, Latour, 1987; Latour, 1990b). Социальная связь не работает без объектов, которые другая часть Конституции одновременно и позволяет нам мобилизовать, и делает навсегда несоизмеримыми с социальным миром.

РЕЛЯТИВИЗМ АБСОЛЮТНЫЙ И РЕЛЯТИВИЗМ РЕЛЯТИВИСТСКИЙ

Вопрос релятивизма тем не менее не является закрытым, даже если мы одновременно принимаем в расчет глубинное сходство природ—культура — старую антропологическую матрицу — и различие в размере — масштаб мобилизации этих коллективов. На самом деле, как я уже несколько раз отмечал, размер коллективов связан с нововременной Конституцией. Именно поскольку Конституция гарантирует, что квазиобъекты будут абсолютно и необратимо трансформированы либо в объекты внешней природы, либо в субъекты общества, мобилизация этих квазиобъектов может принимать беспрецедентный размах. Следовательно, симметричная антропология должна воздать должное

¹Там же, с. 393.

этой особенности, но не прибавляя к ней никакого эпистемологического разрыва, никакого метафизического Великого Разлома, никакого различия между дологическими и логическими обществами, между «холодными» и «горячими» обществами, между Архимедом, вмешивающимся в политику, и божественным Архимедом, витающим в небесах Идей. Вся сложность этого предприятия состоит в том, чтобы производить максимум различий при минимуме средств (Goody, 1979; Latour, 1985).

Нововременные действительно отличаются от доновременных тем, что они отказываются осознать квазиобъекты как таковые. Гибриды вызывают в них ужас, который должен быть заклят любой ценой, путем непрерывного маниакального очищения. Само по себе это различие в конституционной репрезентации имеет небольшое значение, поскольку его недостаточно, чтобы отделить нововременных от всех остальных. Существует ровно столько же коллективов, сколько существует репрезентаций. Но механизм, создающий различия, приводится в действие именно за счет этого отказа осмыслить квазиобъекты, поскольку он влечет за собой новое распространение определенного типа бытия: *объекта, конструирующего социальное, но изгнанного из социального мира и приписанного трансцендентному миру, который, однако, не является божественным объектом, создающим, по контрасту, меняющегося субъекта, носителя права и морали*. Такими объектами являются воздушный насос Бойля, микробы Пастера, блок Архимеда. Эти новые нечеловеки обладают чудесными свойствами, поскольку являются в одно и то же время социальными и асоциальными, создают природу и конституируют субъектов. Это — *трикстеры* сравнительной антропологии. Через эту брешь наука и техника проникнут в общество, и их проникновение окажется настолько загадочным и таинственным, что это чудо заставит западных людей считать себя абсолютно отличными от других. Первое чудо влечет за собой второе: почему другие не делают то же самое? — затем третье: почему мы такие особенные? Это и порождает целый каскад маленьких различий, которые собраны, обобщены и развернуты великим повествованием Запада, радикально отделенного от всех прочих культур.

Как только эта особенность оказывается учтена и тем самым преодолена, релятивизм уже не представляет никаких трудностей. Ничто не мешает нам заново поставить вопрос о том, как установить связи между коллективами, определив два типа релятивизма, которые до сих пор не разграничивались. Первый является абсолютным,

второй — относительным. Первый замыкал культуры в экзотике и чужеродности, поскольку принимал универсалистскую точку зрения, отказываясь к ней примкнуть: если не существует никакого общего, единственного в своем роде и трансцендентального измерительного прибора, тогда все языки непереводаемы, все душевные переживания непередаваемы, обряды в равной мере достойны уважения, а все парадигмы — несоизмеримы. О вкусе и цвете не спорят. В то время как универсалисты утверждают, что этот общий эталон существует, абсолютные релятивисты радуются тому, что его нет. Пребывая почти в эйфории, все они сходятся в том, что для их спора существенна референция к какому-то абсолютному эталону.

Это равнозначно тому, чтобы не относиться слишком серьезно к практике релятивизма и к самому термину «релятивизм». Устанавливать отношения; делать их соизмеримыми; регулировать измерительные приборы; устанавливать метрологические цепочки; составлять словари соответствий; обсуждать совместимость норм и стандартов; распространять вымеренные сети; налаживать валориметры и вести о них переговоры — вот некоторые из значений слова релятивизм (Latour, 1988). Абсолютный релятивизм, подобно своему собрату-врагу рационализму, забывает, что измерительные приборы надо настраивать и что, упуская из виду работу оборудования, мы больше не сможем разобраться в самом понятии «соизмеримость». Еще больше тот и другой забывают о тех огромных усилиях, которые западные люди предприняли, чтобы «снять мерку» с других народов, делая их соизмеримыми и создавая — оружием, знанием и кровью — эталоны, которых прежде не существовало.

Но чтобы понять эту измерительную работу, необходимо усилить существительное именем прилагательным. Релятивистский релятивизм возвращает соизмеримость, которая считалась потерянной. Здесь прилагательное возмещает очевидную глупость существительного. Релятивистскому релятивизму надо, разумеется, отказаться от того, что конституировало общий аргумент как универсалистов, так и прежних релятивистов, — речь здесь идет о слове «абсолютный». Вместо того чтобы останавливаться на полпути, релятивизм идет до конца и заново, под видом работы и монтажа, практики и спора, под видом завоевания и господства, открывает процесс установления отношений. Небольшое количество релятивизма удаляет от универсального; большое количество релятивизма приводит обратно, но универсальный характер сетей уже не содержит в себе никаких таинственных свойств.

Универсалисты устанавливали только одну иерархию. Абсолютные релятивисты сделали все иерархии равными. Релятивистские релятивисты, более умеренные, но в то же время более эмпиричные, показывают, при помощи каких инструментов и каких цепочек создаются асимметрии и равенства, иерархии и различия (Callon, 1991). Мир кажется соизмеримым или несоизмеримым только тем, кто привержен к измеренным размерам. Однако все меры, как в жестких, так и в мягких науках, являются также измеряющими мерами, и они создают соизмеримость, которая не существовала до их собственной разработки. Ничто не является редуцируемым или не редуцируемым к чему-то другому посредством самого себя. Никогда посредством самого себя, но всегда через посредничество чего-то другого, что его измеряет и придает ему эту меру. Как можно утверждать, что миры непереводаемы, если перевод является самой сутью установления отношений между ними? Как можно говорить, что миры разобщены, если мы не перестаем их объединять? Сама антропология, будучи одной из множества других наук, одной из множества других сетей, принимает участие в этой работе по установлению отношений, составлению каталогов и музеев, направлению миссий, организации экспедиций и опросов, созданию карт, анкет и баз данных (Coran, Jamin, 1978; Fabian, 1983; Stocking, 1986). Этнология — одна из тех измеряющих мер, которые решают вопрос релятивизма практически, конструируя день за днем определенную соизмеримость. Если вопрос релятивизма неразрешим, то релятивистский релятивизм, или, если выразиться изящнее, реляционизм, в принципе не представляет собой никакой проблемы. Если мы перестанем быть совершенно нововременными, он станет одним из наиболее значимых ресурсов, для того чтобы устанавливать связи между коллективами, о модернизации которых речь уже и не идет. Он будет служить *органом* всемирных переговоров, касающихся относительных универсалий, которые мы создаем на ощупь.

МАЛЕНЬКИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РАСКОЛДОВАНИЯ МИРА

Мы действительно отличаемся от других, но эти различия мы не должны искать там, где их видел релятивизм, вопрос о котором сейчас уже закрыт. В той мере, в какой все мы представляем собой коллекти-

вы, мы все являемся братьями. Исключая параметры, которые являются следствием мелких различий и касаются распределения

сущностей, мы можем признать наличие постоянно существующего градиента между до- и **неноввременными**. К сожалению, сложности релятивизма происходят не только из-за вынесения природы за скобки. Они происходят также из связанной с этим верой в то, что нововременный мир действительно является расколдованным. Западные люди считают, что радикально отличаются от других не только по причине своего высокомерия, но вследствие отчаяния и желания наказать себя. Им нравится пугать себя своей собственной судьбой. Их голос дрожит, когда они противопоставляют варваров и греков, центр и периферию или когда они празднуют смерть Бога или смерть Человека, *Krisis* Европы, империализма, аномию или конец цивилизаций, которые, как мы теперь знаем, смертны. Почему мы получаем такое наслаждение от того, что являемся столь отличными не только от других, но и от своего собственного прошлого? Найдется ли когда-нибудь достаточно тонкий психолог, способный объяснить, откуда берется это мрачное наслаждение, доставляемое пребыванием в постоянном кризисе и конце истории? Почему нам так нравится превращать в великие драмы мелкие различия между коллективами, связанные с их размерами?

Чтобы полностью избежать пафоса Нового Времени, который мешает нам признавать братство коллективов и соответственно более свободно предаваться селекционной работе, сравнительная антропология должна точно измерить эти следствия, касающиеся размеров. Ибо нововременная Конституция заставляет смешивать следствия, связанные с установлением параметров наших коллективов, и их основания, которые Конституция не может постичь, не утратив эффективности. Совершенно обоснованно пораженные размерами этих следствий, нововременные полагают, что для них должны быть совершенно особенные причины. И поскольку единственные причины, которые признает Конституция, это причины чудесные, так как они перевернуты с ног на голову, люди Нового Времени непременно должны представлять себя отличающимися от обычного человечества. Лишенный корней, приобщенный к чужой культуре, американизированный, рационализированный, снабженный наукой, **технологизированный** западный человек становится в их руках **яйце-головым** мутантом. Разве мы недостаточно оплакивали расколдование мира? Разве мы недостаточно терзались страхом за бедного европейца, заброшенного в холодный бездушный космос, блуждающего по безжизненной планете, в мире, лишенном всякого смысла? Разве мы недостаточно трепетали от ужаса при виде механи-

зирования пролетариата, подчиненного абсолютному господству технического капитализма и кафкианской бюрократии, покинутого среди языковых игр, потерявшегося среди бетона и пластика? Разве мы недостаточно жалели простого водителя, который встает с водительского сиденья лишь затем, чтобы усесться на диван перед телевизором, где им манипулируют массмедиа и общество потребления? Как же нам нравится носить власяницу абсурда, и какое огромное наслаждение мы получаем от бессмыслицы постмодерна!

Однако мы никогда не покидали старой антропологической матрицы. Мы никогда не переставали строить наши коллективы из материала, представляющего собой смесь бедных людей и скромных нечеловеков. Как бы мы могли расколдовать мир, если каждый день наши лаборатории и заводы не населяли бы его сотнями гибридов, еще более странных, чем те, что были вчера? Разве воздушный насос Бойля является менее странным, чем дома духов арапешей (Tuzin, 1980)? Разве он в меньшей степени участвует в сотворении Англии XVII века? Как бы мы могли стать жертвами редукционизма, если бы каждый ученый не увеличивал в сотни раз количество новых единиц сущего, для того чтобы осуществить редукцию некоторых из них? Как бы мы могли быть рационалистами, если по-прежнему не видим дальше собственного носа? Как бы мы могли быть материалистами, если бы каждая материя, которую мы изобретаем, не обладала новыми свойствами, которые не может заключать в себе никакая отдельно взятая материя? Как бы мы могли быть жертвами тотальной технической системы, если бы машины не создавались субъектами и им никогда не удавалось превратиться в замкнутые и более менее стабильные системы? Как могло бы нас заморозить холодное дыхание науки, если бы наука не являлась горячей и хрупкой, человеческой и вызывающей споры, если бы она не была полна мыслящих тростников и субъектов, которые сами по себе наполнены вещами?

Заблуждение нововременных относительно самих себя достаточно легко понять, как только симметрия восстанавливается заново и как только в расчет принимается и работа очищения, и работа перевода. Нововременные смешивали продукты с процессами. Они верили, что создание бюрократической рационализации предполагает существование рациональных бюрократов; что создание универсальной науки зависит от универсалистски настроенных ученых; что создание эффективной техники ведет к эффективности инженеров; что создание абстракций само является абстрактным,

что создание формализма само является формальным. Мы можем с таким же успехом сказать, что нефтеочищающий завод производит нефть очищенным способом или что молочный завод производит масло масляным способом! Слова «наука», «техника», «организация», «экономика», «абстракция», «формализм», «универсальность» обозначают многочисленные реальные следствия, которые мы действительно должны уважать и в которых должны отдавать себе отчет. Но они ни в коем случае не обозначают причин этих самых следствий. Эти слова являются хорошими существительными, но плохими прилагательными и отвратительными наречиями. Наука создает себя научным образом не более, чем техника производит себя технически, а экономика — экономически. Ученые в лаборатории, последователи Бойля, очень хорошо это знают, но как только они начинают размышлять над тем, что делают, то сразу же начинают произносить слова, которые социологи и эпистемологи, будучи последователями Гоббса, вкладывают им в уста.

Парадокс нововременных (и антинововременных) состоит в том, что они с самого начала приняли огромные когнитивные или психологические объяснения для того, чтобы объяснять столь же огромные следствия, тогда как во всех других научных областях они искали малые причины больших следствий. Редукционизм никогда не применялся к нововременному миру, в то время как считалось, что он прилагается ко всему! Наша собственная мифология состоит в том, что мы воображаем себя радикально отличающимися еще до того, как мы пытаемся отыскать малые различия и малые разломы. Однако как только двойной Великий Разлом исчезает, вместе с ним распадается эта мифология. Как только работа медиации принимается в расчет одновременно с работой очищения, на сцену должны снова выйти обычное человечество и обычное нечеловечество. Но, к нашему большому удивлению, мы замечаем, что очень мало знаем о том, что лежит в основании науки, техники, организации и экономики. Откройте книги по социологии науки и эпистемологии и вы увидите, как активно они используют прилагательные и наречия «абстрактный», «рациональный», «систематичный», «универсальный», «научный», «организованный», «тотальный», «сложный». Попробуйте отыскать тех, кто пытается объяснить существительные «абстракция», «рациональность», «система», «универсальность», «наука», «организация», «тотальность», «сложность», вообще не используя соответствующих прилагательных и наречий. И вам повеет, если вы найдете хотя бы десяток. Парадоксально, но об ашуа-

рах, арапешах или аладийцах мы знаем больше, чем о себе самих. До тех пор пока малые локальные причины влекут за собой локальные следствия, мы способны их проследить. Но почему мы уже не способны проследить тысячу дорог с их странной топологией, которые ведут от локального к глобальному и возвращаются к локальному? Неужели антропология должна всегда ограничиваться изучением территорий, будучи не в состоянии проследить сети?

**ДАЖЕ
ДЛИННАЯ СЕТЬ
ОСТАЕТСЯ
ЛОКАЛЬНОЙ
ВО ВСЕХ ТОЧКАХ**

Чтобы точно измерить наши отличия, не редуцируя их, как это еще недавно делал релятивизм, и не преувеличивая их, как это делают модернизаторы, давайте скажем, что нововременные *просто изобрели*

длинные сети путем вовлечения определенного типа нечеловеков. До этого удлинение сетей прерывалось и не приводило к изменению территорий (Deleuze, Guattari, 1972). Но с увеличением числа гибридов, которые являются наполовину объектами, наполовину — субъектами и которых мы называем машинами и фактами, коллективы изменили свою топографию. Поскольку такое привлечение новых существ имело огромные следствия для установления размеров, создавая разброс отношений от локальных до глобальных, и поскольку мы продолжаем думать о них при помощи старых категорий всеобщего и частного, мы склонны преобразовывать удлинённые сети, созданные западными людьми, в систематические и глобальные целостности. Чтобы развеять эту таинственность, достаточно проследить те необычные маршруты, которые делают возможным подобное изменение масштаба, и посмотреть на сети, образованные фактами и законами, хотя бы отчасти теми же глазами, которыми мы смотрим на сети трубопроводов и систему канализации.

Профанное объяснение следствий, имеющих отношение к размерам и присущих Западу, легко получить, если обратиться к техническим сетям. Если бы релятивизм сначала был применен именно там, понять ту относительную всеобщность, которая является его главной гордостью, не составило бы никакого труда. Является ли железная дорога локальной или глобальной? Ни то и ни другое. Она локальна во всех точках, вы всегда обнаруживаете шпалы, железнодорожников, иногда вокзалы и автоматы для продажи билетов. Однако она является и всеобщей, поскольку перевозит вас из Мадрида в Берлин или из Бреста во Владивосток. Однако она не является

достаточно универсальной для того, чтобы доставить вас в любое место, куда вы только пожелаете. Невозможно прибыть на поезде в Мальпи, маленькую овернскую деревушку, или в Маркет Драйтон, маленький городок в Стэффордшире. Непрерывные пути, ведущие от локального к глобальному, от обусловленного обстоятельствами к универсальному, от случайного к необходимому, существуют лишь при условии, что их подключение будет оплачено.

Модель железной дороги может быть распространена на все технические сети, существующие в нашей повседневной практике. Телефон может быть распространен повсеместно, но мы знаем, что ни за что не сможем воспользоваться телефонной линией, если не подключены к ней через разъем и не связаны с ней через телефонную трубку. Сколь бы всеохватывающей ни была система сбора мусора, ничто не дает мне гарантии, что оберточка от жевательной резинки, которую я роняю на пол в своей комнате, отправится туда сама. Электромагнитные волны, возможно, распространены повсюду, но, несмотря на это, антенна, абонентская плата и декодер по-прежнему необходимы, чтобы я мог продолжать смотреть *Canal Plus*. Таким образом, если говорить о технических сетях, мы без труда примиряем их локальный аспект и, одновременно, глобальное измерение. Они состоят из отдельных мест, организованных в последовательность подключений, которые пересекают иные места и которые нуждаются в новых подключениях, чтобы получить распространение. Между линиями сети, строго говоря, нет ничего — ни поезда, ни телефона, ни водопровода, ни телевидения. Технические сети, как сами слова говорят об этом, являются сетями, наброшенными на пространство, удерживающими только некоторые разрозненные элементы этого пространства. Они являются соединенными линиями, а не поверхностями. В них нет ничего тотального, глобального, систематического, даже если они охватывают поверхности, не покрывая их, и распространяются достаточно далеко.

Работа по установлению относительно всеобщего остается такой категорией, которую легко уловить и которую реляционизм может проследить на всем протяжении сети. Всякое подключение, всякое выстраивание и соединение может быть документировано и обладает одновременно собственными разметчиками пути и определенной ценой. Это может быть распространено почти на все, может проявляться как во времени, так и в пространстве, не заполняя, однако, ни того ни другого (Stengers, 1983). Когда же речь

идет об идеях, знаниях, законах и компетенциях, модель технической сети кажется неадекватной тем, кто находится под впечатлением эффектов диффузии, кто верит в то, что эпистемология говорит о науке. Работу разметчиков пути становится труднее проследить, затраты на нее уже не так хорошо документируются, и возникает риск упустить из виду ту извилистую дорогу, которая ведет от локального к глобальному (Callon, 1991). Поэтому к ним применяется старая философская категория всеобщего, радикально отличающаяся от частного или каких-то случайных обстоятельств.

Тогда начинает казаться, что идеи и знания могут распространяться везде даром. Некоторые идеи кажутся локальными, другие — глобальными. Универсальная гравитация — мы в этом убеждены — кажется вроде бы активно действующей и присутствующей повсюду. Законы Бойля или **Мариотта**, постоянная Планка действуют повсюду и постоянно. Что касается теоремы Пифагора и бесконечных чисел, они кажутся настолько всеобщими, что могут даже ускользнуть от этого низменного мира, чтобы присоединиться к трудам божественного Архимеда. Именно тогда бывший релятивизм и враждующий с ним его родной брат рационализм начинают высовывать нос, поскольку именно по отношению к этим всеобщностям, и только к ним, скромные **ашуары**, или бедные арапеша, или несчастные **бургундцы** оказываются чем-то безнадежно случайным и произвольным, навсегда заключенным в узкие границы своей региональной специфики и своих локальных знаний (Geertz, 1986). Если бы мы имели только экономики-миры венецианских или генуэзских купцов, американских торговцев, если бы мы имели только телефоны и телевидение, железные дороги и канализационные системы, то западное господство никогда бы не показалось чем-то большим, нежели временным и непрочным распространением нескольких хрупких и разреженных сетей. Но существует наука, которая всегда обновляет, обобщает и заполняет зияющие провалы, оставленные сетями, чтобы превратить их в гладкие, цельные и абсолютно универсальные поверхности. Только представление, вплоть до настоящего времени имевшееся у нас о науке, делало абсолютным господство, которое в противном случае оказалось бы относительным. Все тонкие пути, которые устанавливали непрерывные связи между случайными обстоятельствами и всеобщностями, были отсечены эпистемологами, и мы оказались перед жалкими случайными обстоятельствами, с одной стороны, и необходимыми Законами — с другой, будучи, конечно, не в состоянии осмыслить их отношения.

Итак, локальное и глобальное представляют собой понятия, хорошо приспособленные к поверхностям и геометрии, но очень плохо — к сетям и топологии. Вера в рационализацию является простой категориальной ошибкой. Одна отрасль математики берется вместо другой. Движение идей, знаний или фактов было бы без труда понято, если бы мы рассматривали их по аналогии с техническими сетями (Shapin, Schaffer, 1985, гл. VI; Schaffer, 1988; Warwick, 1992). К счастью, эта ассимиляция становится более легкой не только благодаря концу эпистемологии, но также благодаря окончанию действия Конституции и техническим трансформациям, которые она допускала, не осмысляя. Пути продвижения фактов могут быть так же легко прослежены, как пути железных дорог или телефонные линии, благодаря той материализации духа, которую допускают мыслящие машины и компьютеры. Когда информация измеряется в байтах и бодах, когда мы становимся подписчиками банка данных, когда можно подключить или отключить раскинутую в пространстве умную компьютерную сеть, то становится все сложнее по-прежнему представлять универсальное мышление в виде духа, носящегося над водами (Lévy, 1990). Разум сегодня имеет больше общего с сетью кабельного телевидения, чем с платоническими идеями. Следовательно, становится гораздо легче, чем раньше, увидеть в наших законах и наших константах, наших доказательствах и наших теоремах стабилизированные объекты, охватывающие, разумеется, все более широкую территорию, но продолжающие оставаться внутри хорошо устроенных метрологических сетей, за пределы которых они не способны выйти, кроме как посредством подключения, подписки и расшифровки.

Если говорить на понятном языке о предмете, поднятом на недостижимую высоту, то можно сравнить научные факты с замороженной рыбой: функционирование сети предприятий по производству, транспортировке и продаже замороженных продуктов не должно прерываться ни на минуту. Всеобщее в рамках сети производит те же самые следствия, что и абсолютное, универсальное, но уже не имеет тех фантастических причин. Можно обнаружить гравитацию «везде», но ценой относительного распространения сетей для измерения и интерпретации. Соппротивление воздуха может быть подтверждено везде, но при условии подключения воздушного насоса, который постепенно распространяется по Европе благодаря множеству изменений, которые к нему добавляются экспериментаторами. Попробуйте проверить мельчайший факт, самый ничтожный закон, самую

скромную постоянную, не подписавшись на множество метрологических сетей, на лаборатории и оборудование. Теорема Пифагора или постоянная Планка проникают в учебные заведения и ракеты, в машины и оборудование, но они не выходят из своих миров подобно тому, как ашuary не выходят из своих деревень (Latour, 1989a, гл. VI). Первые образуют протяженные сети, вторые — территории или витки спирали: это различие является важным, оно требует внимания, но давайте тем не менее не будем превращать первых в универсальное, а вторых в местное знание. Разумеется, Запад может верить в то, что всемирное тяготение является универсальным даже при отсутствии каких-либо инструментов, подсчетов, расшифровки, лаборатории, точно так же, как племя Бимин-Кускумин из Новой Гвинеи может верить в то, что оно представляет собой все человечество, но именно эти достойные внимания верования уже не должны разделять сравнительная антропология.

ЛЕВИАФАН - ЭТО КЛУБОК СЕТЕЙ

Точно так же, как нововременные не могли не преувеличивать универсальность своих наук — вытягивая тонкую сеть практик, инструментов и институций, сеть, которая прокладывала путь, ведущий от случайности к необходимости, — они, действуя симметричным образом, не могли не преувеличивать размер и устойчивость своих собственных обществ. Они считали себя революционными потому, что изобрели универсальность наук, навсегда оторванных от локальной специфики, и потому, что изобрели гигантские и рационализированные организации, которые порывали со всеми прошлыми локальными формами подчинения. Осуществляя это, они дважды прошли мимо оригинальности своих собственных изобретений — новой топологии, позволяющей двигаться почти что во всех направлениях, оккупируя при этом, однако, лишь узкие силовые линии. Они возносили себе хвалу за добродетели, которыми не способны обладать, — за рационализацию, но также они бичевали себя за грехи, которые не способны совершить, — все за ту же рационализацию! В обоих случаях они принимали длину сети или размах соединения за различие в уровнях. Они считали, что на самом деле существуют люди, идеи, ситуации, которые являются локальными, и организации, законы, правила, которые являются глобальными. Они верили, что существуют контексты и другие ситуации, которые обладают мистическим свойством быть «деконтекстуализированными» или «делокализованными».

И действительно, если посредничающая сеть квазиобъектов не восстановлена, то постичь общество оказывается столь же трудно, как и научную истину, — и по тем же самым причинам. Посредники, которые были сделаны невидимыми, содержали в себе все, в то время как крайние точки, будучи изолированными друг от друга, больше уже ничем не являются.

Без бесчисленных объектов, которые обеспечивают их длительное существование, в той же мере, что и их устойчивость, традиционные объекты социальной теории — власть, классы, профессии, организации, государства — становятся множеством загадок (Law, 1986a, 1986b; Law, Fyfe, 1988). Каков, например, подлинный размер IBM или Красной Армии, французского министерства образования или мирового рынка? Конечно, это все акторы огромного размера, поскольку они мобилизуют сотни тысяч или даже миллионы агентов. Их размах должен поэтому вытекать из причин, абсолютно превосходящих малые коллективы прошлого. Однако если мы совершим прогулку по корпорации IBM, если мы проследим командные структуры Красной Армии, если мы исследуем все закутки министерства образования, если мы изучим процесс покупки и продажи куска мыла, мы никогда не покинем уровня локального. Мы всегда находимся во взаимодействии с четырьмя или пятью лицами; территория, где властвует консьерж, всегда четко очерчена; разговоры директоров удивительным образом напоминают разговоры служащих; что касается продавцов, то они постоянно выдают сдачу и заполняют свои ведомости. Могут ли макроакторы быть произведены из микроакторов (Garfinkel, 1967)? Может ли IBM быть составлена из локальных интеракций? Красная Армия — из совокупности разговоров в офицерской столовой? Министерство — из горы бумаг? Мировой рынок — из множества локальных обменов и соглашений?

Мы заново открываем ту же самую проблему, что и в случае с поездками, телефонами или универсальными константами. Как можно подключиться к соединению, не будучи одновременно ни локальным, ни глобальным? Нововременные социологи-экономисты, напрягая все свои силы, пытаются сформулировать эту проблему. Они остаются либо на «микро»-уровне и уровне межличностных контекстов, либо резко переходят на «макро»-уровень и, как им кажется, имеют дело уже с деконтекстуализированными и деперсонализированными рациональностями. Миф о бездушной бюрократии, не имеющей агента, как и миф о чистом и совершенном рынке,

представляет собой симметричное отражение мифа об универсальных научных законах. Вместо непрерывного продвижения исследования нововременные люди навязывают онтологическое различие, столь же радикальное, как и существовавшее в XVI веке различие между подлунным миром, страдающим от порчи или отсутствия точности, и мирами надлунными, которым неведомы ни изменения, ни неопределенности. (Впрочем, те же самые физики вместе с Галилеем отчаянно хохотали над этим онтологическим различием, которое они, однако, тут же **восстановили**, чтобы защитить законы физики от всякой социальной порчи...)

Однако существует нить Ариадны, которая позволила бы нам, сохраняя непрерывность, перейти от локального к глобальному, от человеческого к нечеловеческому. Это нить сетей практик, инструментов, документов и переводов. ~~Организация, рынок, институция не являются объектами надлунного мира и созданными из какого-то другого вещества, нежели наши жалкие подлунные отношения.~~ Единственное различие происходит из того факта, что они созданы из гибридов и должны мобилизовать большое количество объектов для своего описания. Капитализм Фернана Броделя или Маркса не является тотальным капитализмом марксистов (Braudel, 1979). Это клубок слишком растянувшихся сетей, которые довольно плохо охватывают мир, беря в качестве основания точки, которые становятся центрами получения прибыли и подсчетов. Распутывая этот клубок, вы никогда не столкнетесь с загадочными *межевыми знаками*, которые отделяли бы локальное от глобального. Организация большого американского предприятия, описанная Альфредом Чендлером, не является Организацией в кафкианском духе (Chandler, 1989, 1990). Это — **сплетение сетей**, материализованное в заказах и схемах управления, в локальных процедурах и особых способах регулирования, позволяющих распространить его на весь континент, при условии, что они не будут [охватывать его полностью. Можно целиком проследить рост организации, **никогда не меняя уровня** и не открывая «деконтекстуализованной» рациональности. Сам размер всеохватывающего государства формируется только путем создания сети статистик и подсчетов, учреждений и исследований, которые совершенно не соответствуют фантастической топографии тотального государства (Desrosières, 1984). Научно-техническая империя лорда Кельвина, описанная Нортон Уайзом (Smith, Wise, 1989), или рынок электроэнергии, описанный Томом Хьюзом (Hughes, 1983b), никогда не

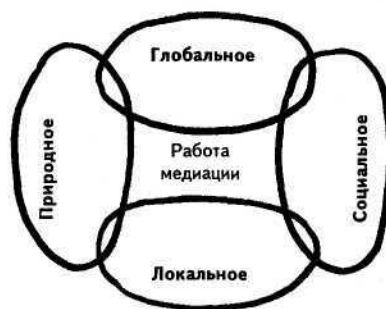
заставят нас выйти за пределы того, что составляет характерные особенности лаборатории, зала заседаний или центра управлений. И тем не менее эти «сети власти» и эти «линии силы» действительно распространяются на весь мир. Рынки, описываемые экономической конвенцией, действительно являются регулируемыми и глобальными, хотя ни одна из причин этого регулирования и этого накопления сама по себе не является ни глобальной, ни тотальной. Накопления создаются из той самой субстанции, которую они накапливают (Thévenot, 1989, 1990). Никакая видимая или невидимая рука не спускается неожиданно с неба, чтобы внести порядок в рассеянные и хаотически движущиеся индивидуальные атомы. Два полюса, локальный и глобальный, гораздо менее интересны, чем посреднические механизмы, которые мы именуем здесь сетями.

ТЯГА К ОКРАИНАМ

Так же как прилагательные «естественный» и «социальный» обозначают представления коллектива,

который сам по себе не является ни естественным, ни социальным, так и слова «**локальный**» и «**глобальный**» представляют собой точки зрения на сети, которые по своей природе не являются ни локальными, ни глобальными, но которые являются более или менее **протяженными** и более или менее подключенными. То, что я назвал нововременным экзотизмом, состоит в том, что эти две пары оппозиций принимаются за нечто, определяющее наш мир и отделяющее нас от всех остальных. Таким образом, создаются четыре различных региона. Природное и социальное состоят из различных ингредиентов; глобальное и локальное содержат в себе внутреннее отличие. Однако мы не знаем о социальном ничего, что не было бы определено тем, что, с нашей точки зрения, мы знаем о природном, и наоборот. Точно так же мы определяем локальное только через те свойства, которые, как мы считаем, должны согласовываться с глобальным, и наоборот. Понятна тогда сила ошибки, которую нововременной мир совершает в отношении себя, составляя две пары из двух противопоставленных друг другу пар: посередине нет ничего мыслимого — ни коллективов, ни сети, ни медиаций; все концептуальные ресурсы скапливаются на четырех крайних точках. Мы, несчастные субъекты-объекты, скромные общества-природы, маленькие локальные-глобальные, мы в буквальном смысле слова расчленены на **четыре онтологических региона**, которые **взаимоопределяют друг друга**, но уже ничем не напоминают наши практики.

Схема 13



Такое четвертование позволяет развернуть трагедию человека Нового Времени, абсолютно и необратимо отличающегося от всего остального человечества и от всего остального природного мира. Но такая трагедия не является неизбежной, если вспомнить, что эти четыре термина представляют собой репрезентации, не имеющие прямого отношения к коллективам и сетям, которые придают им смысл. Посередине, где, предположительно, ничего не происходит, находится почти все. В то время как в крайних точках, где, как считают нововременные, находится исток всех сил, природы и общества, универсального и локального, — нет ничего, кроме очищенных инстанций, которые служат конституционными гарантиями для всего остального целого.

Ситуация становится еще более трагичной, когда антинововременные, искренне верящие в то, что нововременные говорят о самих себе, хотят спасти хоть что-нибудь от того, что они рассматривают как неизбежное кораблекрушение. Антинововременные твердо верят, что Запад рационализировал и расколдовал мир, что он действительно населил социальное холодными и рациональными монстрами, которые заполняют все пространство, что он окончательно трансформировал доновременный космос в механическое взаимодействие чистых материй. Но вместо того, чтобы, подобно модернизаторам, видеть здесь славный, хотя и болезненно идущий процесс завоеваний, антинововременные видят в нем не имеющую себе равных катастрофу. Нововременные и антинововременные разделяют одни и те же убеждения, за исключением самих знаков плюс или минус. Вечно перверсивные, вечно все выворачивающие наизнанку, постмодернисты соглашаются с тем, что речь действительно идет о

катастрофе, но утверждают, что ей надо радоваться, вместо того чтобы сетовать на нее! Они провозглашают слабость высшей добродетелью наподобие того, как один из них утверждает в своей неподражаемой манере: «*Verminung* метафизики осуществляется как *Verminung* Постава» (Vatimo, 1987, p. 184).

Что же делают антинововременные, оказавшись под угрозой кораблекрушения? Они мужественно возлагают на себя задачу спасти то, что еще можно спасти: душу, разум, эмоции, межличностные отношения, символическое измерение, человеческую теплоту, местную специфику, герменевтику, окраины и периферию. Восхитительная миссия, но она могла бы быть еще более восхитительной, если бы все эти священные сосуды действительно находились под угрозой. Ибо откуда происходит угроза? Конечно, не от коллективов, неспособных выйти за пределы своих хрупких и узких сетей, населенных душами и объектами. Конечно, не от науки, чья относительная всеобщность день за днем должна оплачиваться подключением к сети и подгонкой, инструментами и связыванием воедино. Конечно, не от обществ, размер которых меняется только при условии, что умножаются материальные сущности, обладающие переменными онтологиями. Откуда же она приходит? Частично от антинововременных и от их сообщников — нововременных, которые пугают друг друга и находят преувеличенные ужасные причины для следствий, имеющих отношение к размерам коллективов. «Вы расколдовываете мир, а я буду бороться за права духа». «Вы хотите охранять дух? Тогда мы его материализуем!» «Редукционисты!» «Спиритуалисты!» Чем больше антиредукционисты, романтики, спиритуалисты стремятся спасти субъектов, тем больше редукционисты, сциентисты, материалисты считают, что они обладают объектами. Чем больше вторые хвастаются, тем больше они этим пугают первых; чем больше напуганы первые, тем более страшными считают себя вторые.

Защита маргинальности предполагает существование тоталитарного центра. Но если этот центр и его целостность — иллюзии, то похвальное слово окраинам выглядит довольно смешно. Это прекрасное желание — защищать требования страдающего тела и человеческого тепло от холодной всеобщности научных законов. Но если эта всеобщность есть результат привязки и увязки серии мест, где каждой своей клеткой страдают теплые, состоящие из плоти и крови тела, то не выглядит ли нелепо сама эта защита? Защищать человека от господства машин и технократов — заня-

тие, достойное всяческих похвал, но если машины наполнены людьми, которые находят там свое спасение, такая защита попросту абсурдна (Ellul, 1977). Прекрасная цель — доказать, что сила духа превосходит законы механической материи, но эта программа выглядит как проявление крайнего слабоумия, если материя вовсе не является материальной, а машины — механическими. Прекрасно желание с отчаянным криком бросаться на спасение Бытия именно тогда, когда технологический Постав (**Ge-Stell**) как будто господствует над всем, поскольку «где опасность, там вырастает и спасительное».¹ Но достаточно извращенно выглядит желание так бесцеремонно пользоваться плодами кризиса, который еще не начался!

Ищите источники нововременных мифов, и почти всегда ваши поиски приведут вас к тем, кто намеревается противопоставить нововременной мысли непреодолимый барьер духа, эмоций, субъекта или окраин. Стремясь предложить нововременному миру в качестве дополнения душу, у него забирают то, что у него есть, то, что у него было, и то, что он был совершенно не способен потерять. Это вычитание и это прибавление — две операции, которые позволяют нововременным и **антинововременным** пугать друг друга, соглашаясь в главном: мы абсолютно отличаемся от Других и мы радикально порвали с нашим собственным прошлым. Таким образом, наука и техника, организации и бюрократия являются единственными доказательствами этой не имеющей аналогов катастрофы, но именно с их помощью мы можем лучше всего и наиболее непосредственным образом доказать неизменность старой антропологической матрицы. Конечно, введение расширенных сетей важно, но не надо поднимать из-за этого столько шума.

**НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ
НОВЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
К ТЕМ, КОТОРЫЕ
УЖЕ СОВЕРШИЛИ**

Довольно трудно, однако, смягчить нововременное чувство покинутости, поскольку оно происходит из ощущения, которое само по себе заслуживает уважения: сознания того, что были совершены непоправимые злодеяния против остальных природных и культурных миров и преступления против самих себя, размах и мотивы которых, оче-

видно, не имеют себе равных. Как сделать возможным возвращение нововременных к обычному человечеству и обычному нечеловечеству, не простив с излишней поспешностью совершенные ими преступления, которые они совершенно правильно стремятся искупить? И как мы можем с полным правом настаивать на том, что наши преступления ужасны, но что они при этом остаются самыми обычными; что наши добродетели велики, но что и они тоже при этом совершенно обычные добродетели?

Дело в том, что наши злодеяния можно сравнить с нашим доступом к природе: не надо преувеличивать их причины, даже если мы пытаемся измерить их следствия, ибо само это преувеличение стало бы причиной еще больших преступлений. Всякое стремление к тотальности, даже если оно является критическим, помогает тоталитаризму. Мы не должны прибавлять к реальному господству господство тотальное. Давайте не будем добавлять власть к силе (Latour, 1984, II ч.). Мы не должны предоставлять в распоряжение реального империализма империализм тотальный. Мы не должны приписывать абсолютную детерриториализацию капитализму, который вполне реален (Deleuze, Guattari, 1972). Подобным образом, мы не должны наделять научную истину и технологическую эффективность опять же тотальной трансцендентностью и опять же абсолютной рациональностью. Когда речь идет о преступлениях и господстве, капитализме и науках, мы должны понять нечто совершенно обычное — малые причины и их великие следствия (Arendt, 1963; Mayer, 1990).

Разумеется, демонизация выглядит для нас более предпочтительной, потому что, даже коснея во зле, мы по-прежнему остаемся исключительными, отрезанными от всех остальных и от нашего собственного прошлого, нововременными, пусть это, в крайнем случае, даже обернется злом, хотя раньше мы думали, что это обернется благом. Но, двигаясь окольными путями, тотализация становится соучастником того, что намеревается уничтожить. Она лишает сил перед лицом врага, которого наделяет фантастическими свойствами. Тотальная и гладкая система не поддается сортировке. Трансцендентная и гомогенная природа не поддается рекомбинации. Тотально систематическая техническая система не может быть никем перераспределена. Никто не сможет возобновить переговоры о переделке кафкианского общества. Детерриториализующий и абсолютно шизофреничный капиталист никогда не будет переделан. Запад, радикально отрезанный от других культур—природ, не

¹ См.: Мартин Хайдеггер, *Время и бытие*, с. 234; см. также с. 238.

может стать объектом обсуждения. Культуры, заключенные в произвольные, полные и устойчивые репрезентации, не могут быть оценены. Мир, который полностью забыл Бытие, никто не может спасти. Прошное, от которого мы навсегда отделены радикальными и эпистемологическими разрывами, никто не сможет заново пересортировать.

Все эти приписывания тотального характера чему бы то ни было прилагаются их критиками к существам, которые никого об этом не просили. Возьмите руководителя предприятия, озабоченного поиском свободных ниш на рынке, какого-нибудь охваченного волнением завоевателя, бедного ученого, мастерающего что-то в своей лаборатории, скромного инженера, отыскивающего шаг за шагом сколько-нибудь благоприятное соотношение сил, заикающегося и напуганного политика, напустите на них критиков, и что вы получаете взамен? Капитализм, империализм, науку, технику, господство — все в равной мере абсолютные, систематические, тоталитарные. В первом случае актеры дрожали от ужаса. Во втором уже нет. В первом случае актеров можно было переделать. Во втором это невозможно. В первом случае актеры были еще близки к скромной работе хрупких и изменчивых медиаций. Во втором случае они, будучи очищены, все стали одинаково громадными.

Что же тогда делать с такими гладкими и заполненными поверхностями, с такими абсолютными тотальностями? А взять и разом их перевернуть. Полностью их ниспровергнуть, революционизировать их. О восхитительный парадокс! Посредством критического духа нововременные одновременно изобрели тотальную систему, тотальную революцию, чтобы положить ей конец, и столь же тотальный провал при попытке осуществления этой революции, провал, который приводит их в полное отчаяние! Не в этом ли причина многих преступлений, в которых мы себя упрекаем? Рассматривая Конституцию, вместо того чтобы рассматривать работу перевода, критики воображали, что мы на самом деле являемся неспособными к компромиссу, бриколажу, смешению и сортировке. На основе хрупких гетерогенных сетей, которые всегда образуют коллективы, критики разработали гомогенные тотальности, к которым можно прикоснуться, только полностью их революционизировав. И поскольку такая революционизирующая деятельность была невозможна, а нововременные, несмотря ни на что, пытались ею заниматься, то они двигались от преступления к преступлению. Как могло бы это «*Не прикасаться!*» гомогенных нововременных

тотальностей по-прежнему приниматься за доказательство нравственности? Возможно, эта вера в радикальное и тотальное Новое Время и вела к аморальности?

Вероятно, было бы более справедливо говорить об эффекте поколения, хотя нас еще слишком мало, чтобы его ощутить. Мы появились на свет после войны, имея позади себя сначала черные, а затем красные лагеря, внизу — голод, над нашими головами — ядерный апокалипсис, а впереди — глобальное разрушение планеты. Нам действительно трудно отрицать эффекты масштаба, но еще труднее непоколебимо верить в несомненные добродетели политических, медицинских, научных или экономических революций. И тем не менее мы рождены среди наук, мы знали только мир и процветание и мы любим — надо ли в этом признаться? — технику и объекты потребления, к которым философы и моралисты предыдущих поколений рекомендовали относиться с презрением. Для нас техника не является новой, она не является нововременной в банальном смысле этого слова, но она всегда составляет наш мир. Наше поколение усвоило, интегрировало, гуманизировало ее в большей степени, чем предыдущие поколения. Поскольку мы первые, кто больше не верит ни в добродетели, ни в опасности, которые несут с собой наука и техника, кто разделяет их пороки и добродетели, не видя в них ни неба, ни ада, — нам, вероятно, легче искать их основания, не апеллируя ни к бремени белого человека, ни к фатальности капитализма, ни к судьбе Европы, ни к истории Бытия, ни к универсальной рациональности. Возможно, сегодня легче отказаться от веры в нашу собственную инаковость. Мы являемся не экзотичными, но самыми обычными. Следовательно, и другие тоже не являются экзотичными. Они подобны нам, они никогда не переставали быть нашими братьями. Не будем добавлять к нашим уже совершенным преступлениям еще и веру в то, что мы радикально отличаемся от всех остальных.

ИЗОБИЛИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ

Если мы больше не являемся полностью нововременными, если мы также не являемся доновременными, то на каком основании мы собираемся осуществить сопоставление коллективов? Как мы теперь знаем, нам необходимо дополнить официальную Конституцию официальным признанием медиации. Когда мы сравнивали Конституцию с культурами, описанными асимметричными антропологиями прошлого, мы приходи-

ли только к релятивизму и невозможной модернизации. Если, напротив, мы сопоставим работу коллективов по переводу, то сделаем возможной симметричную антропологию и устраним ложные проблемы абсолютного релятивизма. Но мы также лишим себя ресурсов, разработанных нововременными: социальное, природа, дискурс, не говоря уже об отграниченном Боге. Это последняя трудность релятивизма: теперь, когда сравнение стало возможным, в какое общее пространство окажутся равно погруженными все коллективы, производители природы и обществ?

Располагаются ли они в природе? Нет, конечно, поскольку это внешняя, гладкая, трансцендентная природа является относительным и запоздалым следствием коллективного производства. Находятся ли они в обществе? Тоже нет, поскольку они являются всего лишь артефактом, симметричным природе, тем, что остается, когда изымаются все объекты и когда производится таинственная трансцендентность Левиафана. Может быть, тогда они находятся в языке? Это невозможно, поскольку дискурс — это еще один артефакт, обладающий смыслом лишь тогда, когда внешняя реальность референта и социальный контекст выносятся за скобки. Находятся ли они в Боге? Это маловероятно, поскольку метафизическая сущность, которая носит это имя, всего лишь занимает место далекого судьи, так, чтобы удерживать на как можно большем расстоянии две симметричные инстанции — природу и общество. Находятся ли они в Бытии? Это еще менее возможно, поскольку в силу удивительного парадокса мысль о Бытии сама стала тем, что остается, когда любая наука, любая техника, любое общество, любая история, любой язык, любая теология отданы на откуп простой метафизике, чистому экспансионизму сущего. Натурализация, социализация, дискурсивизация, дивинизация, онтологизация — все эти «-изации» являются в равной степени невозможными. Ни одна из них не образует общего основания, на котором полагались бы коллективы, ставшие сопоставимыми. Нет, мы не впадаем из одной крайности в другую — из природы в социальное, из социального в дискурс, из дискурса в Бога, из Бога в Бытие. Эти инстанции имеют конституционную функцию лишь при условии сохранения своего различия. Ни одна из них не может покрыть, наполнить, включить в себя другие, ни одна из них не может служить для описания работы медиации или перевода.

Так где же мы тогда? Где мы приземлимся? До тех пор пока мы продолжаем задавать этот вопрос, мы совершенно точно нахо-

димся в нововременном мире, одержимые конструированием имманентности (*immanere*: пребывать в) или деконструированием другого. Мы все еще остаемся, если прибегнуть к старому слову, в метафизике. Но теперь, проходя через сети, мы не останавливаемся ни на чем, что было бы особенно гомогенным. Мы пребываем скорее в инфрафизике. Являемся ли мы тогда имманентными, будучи силой среди других сил, текстами среди других текстов, обществом среди других обществ, сущим среди других сущих?

Тоже нет, ибо вместо присоединения жалких феноменов к надежным креплениям природы и общества теперь мы позволяем медиаторам производить природы и общества, мы переворачиваем направление модернизирующих трансценденций. Природы и общества становятся относительными продуктами истории. Однако мы не впадаем только лишь в одну имманентность, поскольку сети оказываются погружены в ничто. Мы не нуждаемся в мистическом эфире, для того чтобы сети могли распространяться. Нам не надо заполнять пробелы. Концепция понятий «трансцендентность» и «имманентность» оказывается модифицированной за счет возвращения нововременных к **ненововременным**. Кто нам сказал, что трансцендентность должна иметь нечто себе противоположное? Мы есть, мы остаемся, мы никогда не покидали трансцендентности, то есть удерживания в настоящем через посредничество перехода.

Другие культуры поражали нововременных диффузностью своих материальных или духовных сил. Нигде они не пускали в ход чистые материи, чистые механические силы. Духи и агенты, боги и предки смешивались в каждой точке. Напротив, с точки зрения нововременных, мир Нового Времени представал расколованным, лишенным своих тайн, управляемым гладкими силами чистой имманентности, которым мы, люди, одни только и навязывали некоторое символическое измерение и за которыми существует, возможно, трансцендентность отграниченного Бога. Теперь же, если нет имманентности, если существуют только сети, агенты, актанты, у нас больше не получится быть разочарованными. Это не мы произвольно добавляем «символическое измерение» к чистым материальным силам. Эти силы столь же трансцендентны, активны, полны движения, духовны, как и мы сами. Природа является не более непосредственно доступной, чем общество или отграниченный Бог. Вместо тонкой игры, которую нововременные вели с тремя различными сущностями, каждая из которых была одновременно транс-

цендентной и имманентной, мы получаем только умножение трансцендентностей. Полемический термин, изобретенный, чтобы противостоять предполагаемому вторжению имманентности, слово «трансцендентность» должно изменить свой смысл, если оно не имеет больше ничего противоположного себе.

Эту трансцендентность, не имеющую ничего противоположного себе, я называю делегированием. Высказывание, или делегирование, или отправка сообщения или посланника, позволяет оставаться в настоящем, то есть **существовать**. Когда мы покидаем нововременной мир, мы не падаем на кого-то или на что-то, мы опускаемся не на сущности, а на процесс, на движение, на переход, на пас — в том буквальном смысле этого слова, которое оно имеет в играх с мячом. Мы исходим не из сущности, а из непрерывного и рискованного существования — непрерывного, поскольку рискованного; мы исходим из утверждения присутствия, а не перманентности. Мы исходим из самого *vinculum*¹, из переходов и отношений, не принимая в качестве точки отсчета никакое бытие, которое не возникает из этого отношения, одновременно коллективного, реального и дискурсивного. Мы исходим не из людей, тех, кто пришел поздно, и не из языка, еще более запоздавшего. Мир смысла и мир бытия — это один и тот же мир, мир перевода, субституции, делегирования, перехода. О всяком ином определении сущности мы скажем, что оно «лишено смысла»; в самом деле, оно лишено средств удерживаться в настоящем, длиться. Всякая длительность, всякая устойчивость, всякая перманентность должна быть оплачена ее медиаторами. Исследование трансцендентности, лежащей вне противоположности чему-либо, и делает наш мир — со всеми этими послами, медиаторами, делегатами, фетишами, машинами, статуэтками, инструментами, репрезентантами, ангелами, заместителями, официальными представителями и херувимами — столь **ненововременным**. Что это за мир, который обязывает нас одновременно, на одном дыхании, объяснять природу вещей, технику, науку, вымышленные существа, малые и большие религии, политику, юрисдикции, экономику и бессознательное? Конечно, наш соб-

ственный. Он перестал быть нововременным с того момента, как мы заменили все сущности делегированными, опосредующими, переводящими — тем, что придает этим сущностям смысл. Именно поэтому мы его еще не узнаем. Он выглядит по-старому вместе со всеми этими делегатами, ангелами и заместителями. И тем не менее он также не похож на культуры, изученные этнологами, ибо этнология никогда не производила симметричной работы, которая состояла бы в том, чтобы созвать делегированных, опосредующих, переводящих в их собственный дом, к себе, в их собственный коллектив. Антропология создавалась или на основании науки, или на основании общества, или на основании языка, она всегда балансировала между универсализмом и культурным релятивизмом, и в конце концов она столь же мало сообщила нам о «Них», как и о «Нас».

¹ Дословно «связь», «связка», но также и «обязанность» — термин Бл. Августина, ставший предметом диссертации Ханны Арендт и обозначающий связь между ближними в христианстве; термин имеет коннотации и «привязи», и «привязанности». — *Примеч. науч. ред.*

5. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

НЕВОЗМОЖНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

После того как мы создали первый набросок нововременной Конституции и обозначили причины, сделавшие ее непобедимой; после того как было показано, почему критическая революция была завершена и каким образом вторжение квазиобъектов вынудило нас во имя придания смысла Конституции перейти от одного нововременного измерения к измерению ненововременному, всегда на самом деле присутствовавшему; после того как мы восстановили симметрию между коллективами и измерили таким образом их различия в размере, разрешив в то же самое время вопрос о релятивизме, я могу теперь завершить это эссе, приступив к самому трудному вопросу — вопросу о ненововременном мире, в который, как я утверждаю, мы теперь входим и который в действительности мы так никогда и не покидали.

У модернизации, даже если она предала огню и мечу квазитotalность культур и природ, существовала ясная цель. Модернизирование позволяло наконец-то провести четкое различие между законами внешней природы и конвенциями общества. Завоеватели проводили подобное различие повсюду, относя гибриды либо к объектам, либо к обществу. Такое различие влекло за собой появление устойчивого и непрерывного фронта радикальных революций, происходящих в науке, технике, управлении, экономике, религии, и действовало как настоящий бульдозерный щит, после которого прошлое исчезало навсегда, но перед которым, по крайней мере, открывалось будущее. Прошлое — это варварская смесь; будущее — это цивилизующее различие. Конечно, люди Нового Времени всегда признавали то, что в прошлом они также смешивали объекты и общества, космологии и социологии. Но это происходило тогда, когда они были еще только донововременными. Из этого прошлого они сумели вырваться благодаря революциям, которые раз за разом принимали все более ужасающий характер. Поскольку другие культуры все еще смешивают ограничения, накладываемые наукой, и потребности своего общества, необходимо помочь им вырваться из этого смешения, отменяя их прошлое. Модернизаторы,

на самом деле, хорошо знают, что островки варварства остаются там, где в слишком больших пропорциях смешиваются техническая эффективность и социальный произвол. Но скоро мы закончим модернизацию, ликвидируем все эти уцелевшие островки и все окажемся на одной и той же планете, все одинаково нововременные, одинаково способные извлекать выгоду из того, что одно лишь и ускользает всегда от общества с его интересами — экономической рациональности, научной истины, технической эффективности.

Некоторые модернизаторы все еще рассуждают так, словно подобная судьба была бы возможна и желательна. Однако достаточно заговорить об этом, чтобы увидеть ее абсурдность. Как бы нам удалось добиться очищения науки и обществ, если модернизаторы сами заставляют умножаться гибриды, умножаться благодаря той самой Конституции, которая отрицает их существование? Это противоречие долгое время скрывалось ростом количества нововременных. Постоянные революции, происходящие в государстве, постоянные научные и технические революции должны были закончиться абсорбированием, очищением, приобщением к цивилизации этих гибридов за счет их включения либо в общество, либо в природу. Но двойное поражение, с которого я начал, поражение социализма — правая сторона сцены — и банкротство натурализма — левая сторона! — сделали еще более невозможной работу очищения и более заметным это противоречие. Больше уже не осталось в запасе никаких революций, чтобы можно было продолжать этот бег вперед. Гибриды стали настолько многочисленными, что больше никто не знает, как принять их всех в старой Земле Обетованной — в мире Нового Времени. Отсюда эта внезапная нерешительность постмодернистов.

Модернизация была безжалостна к донововременным, но что сказать о постмодернизации? Империалистическое насилие, по крайней мере, предлагало будущее, но внезапная слабость, проявленная завоевателями, оказалась намного хуже, поскольку постмодернизация, оказываясь навсегда отрезанной от прошлого, теперь точно так же отрезана и от будущего. Столкнувшись на всем ходу с нововременной реальностью, бедные народы теперь должны испытать на себе постмодернистскую гиперреальность. Ничто не имеет цены, все — отражение, все — симулякр, все — плавающее означаемое, и сама эта слабость, как считают постмодернисты, должна спасти от вторжения техники, наук, рациональности. Стоило ли все разрушать до основания, чтобы в итоге нанести еще и этот последний

удар? Опустошенный мир, где существуют постмодернисты, — это мир, опустошенный ими и никем другим, поскольку именно они поверили нововременным на слово. Постмодернизм — это симптом противоречия, присущего нововременности, но он не способен диагностировать это противоречие, поскольку использует ту же самую Конституцию — положение о том, что наука и техника являются сверхчеловеческими, — но уже не прибегает к тому, что лежало в основании ее силы и ее величия, — распространению квазиобъектов и увеличению посредников между людьми и нечеловеками.

Теперь, однако, когда мы обязаны рассматривать работу очищения и работу посредничества симметричным образом, диагноз поставить совсем нетрудно. Даже в самые тяжелые моменты западного *imperium'a* никогда не возникал вопрос о том, чтобы наконец-то четко разделить законы природы и социальные конвенции. Речь всегда шла о том, чтобы конструировать коллективы, смешивая, в постоянно увеличивающемся масштабе, определенный тип нечеловеков и определенный тип людей, объекты Бойля и субъекты Гоббса (не говоря уже об отграниченном Боге). Введение более длинных сетей — примечательный момент, но этого недостаточно для того, чтобы сделать нас радикально отличными от других или навсегда отделить нас от нашего прошлого. Нам нет необходимости продолжать модернизацию, собирая все наши силы в один кулак, игнорируя постмодернистов, стискивая зубы и продолжая, несмотря ни на что, верить в обещания натурализма и социализма, поскольку эта самая модернизация так никогда и не начиналась. Она всегда была только официальной репрезентацией другой, намного более скрытой и глубокой, работы, которая сегодня продолжается во все более и более значительном масштабе. Нам также нет необходимости бороться против модернизации — на воинственный манер антинововременных или на разочарованный манер постмодернистов, — потому что тогда мы бы направляли все свои атаки только на Конституцию, тем самым лишь способствуя ее укреплению и не осознавая того, что всегда являлось источником ее энергии.

Но предполагает ли такой диагноз лекарство от невозможной модернизации? Если, как я все время говорил об этом, Конституция допускает умножение гибридов, поскольку отказывается осмысливать их как таковые, тогда она остается эффективной только при условии, что отрицает их существование. Не потеряет ли Конституция свою эффективность в том случае, если плодотворное противоречие, существующее между двумя частями, — официальной работой очище-

ния и неофициальной работой медиации — окажется столь очевидным? Не окажется ли модернизация невозможной? Может быть, мы станем или снова окажемся доновременными? Надо ли нам смириться с тем, что мы станем антинововременными? Не должны ли мы, за неимением лучшего, продолжать быть нововременными, но, в духе сумеречного умонастроения постмодернистов, полностью утратив веру?

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПЕРЕХОДА

Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны вначале отсортировать различные позиции, которые я наметил в ходе этого эссе, чтобы согласовать неновременное со всем тем, что нам представляется лучшим в каждой из них. Что мы оставим от нововременных? *Все, кроме их исключительного доверия к их собственной Конституции, которую потребует несколько улучшить.* Их величие происходит только из того, что они способствовали распространению гибридов, удлинители определенный тип сетей, ускорили производство следов, умножили количество делегатов и, двигаясь на ощупь, создали относительные всеобщности. Их отвага, их поиски, их инновации, их бриколаж, их юношеское безрассудство, все увеличивающийся масштаб их деяний, создание независимых от общества стабилизированных объектов, свобода общества, освобожденного от объектов, — вот то, что мы хотим сохранить. И напротив, мы не можем сохранить иллюзию (позитивную или негативную), которая у них имеется по поводу самих себя и которую они хотят распространить на всех остальных: атеистов, материалистов, спиритуалистов, теистов, а также рациональных, эффективных, объективных, универсальных, критических, радикально отличающихся от других коллективов. Эти нововременные отделены не только от своего прошлого, искусственное существование которого поддерживается одним только историцизмом, но и от природы, которой произвольно навязывают свои формы субъекты или общество. Нововременные — это разоблачители, которые всегда ведут войну против самих себя.

Мы оказались далеки от людей доновременности из-за внешнего Великого Разлома и, как я уже говорил, простого экспорта внутреннего Великого Разлома. Когда второй разлом уничтожается, исчезает и первый, на смену которому приходят различия в размерах сети. Теперь, когда мы уже не настолько удалены от доновременных, необходимо задаться вопросом, как их тоже под-

вергнуть сортировке. Давайте сохраним прежде всего то, что у них есть лучшего, — их способность совершенно особым образом размышлять над производством гибридов природы и общества, вещи и знака, их уверенность в том, что трансцендентности присутствуют в изобилии, их способность воспринимать прошлое и будущее как повторение и возобновление, а также распространение других типов нечеловеков, нежели те, которые нам были предоставлены нововременными. Взамен мы должны будем отказаться от того набора ограничений, которые они навязывают, когда дело касается установления размеров коллективов, территориальной локализации, виктимизации, этноцентризма и, наконец, стойкого отсутствия дифференциации между природой и обществом.

Но сортировка представляется невозможной и даже заключающей в себе противоречия, поскольку установление размеров коллективов зависит от соблюдения молчания в отношении квазиобъектов. Как сохранять размер, поиск, распространение, эксплицируя при этом существование гибридов? Однако это и есть та амальгама, которую я ищу: необходимо сохранить производство природы и производство общества, которые делают возможным изменение размеров за счет создания внешней истины и субъекта права, но при этом не игнорируя непрерывной работы по одновременному конструированию науки и общества. Необходимо использовать доновременных для того, чтобы осмыслять гибриды, и сохранить доставшийся нам от нововременных конечный результат работы очищения, то есть черный ящик внешней природы, очевидным образом отличающейся от субъектов. Постоянно следовать за тем градиентом, который ведет от неустойчивых существований к стабилизированным сущностям, и наоборот. Получать работу очищения, но как частный случай работы медиации. Сохранять все преимущества, которые несет дуализм нововременных, но без подпольного существования квазиобъектов, сохранять все преимущества доновременных, не испытывая неудобства от их ограничений — ограничений размеров за счет постоянного смещения знаний и власти.

Постмодернисты чувствовали кризис Нового Времени и, следовательно, тоже заслуживают экзамена и сортировки. Невозможно **сохранить** их иронию, их отчаяние, их уныние, их нигилизм, их самокритику, поскольку все эти прекрасные качества находятся в зависимости от концепции Нового Времени, которую в действительности модернизм никогда не применял на практике. Зато мы можем спасти деконструкцию — но поскольку последняя не имеет ничего,

что было бы ей противоположно, она становится конструктивизмом и больше не несет в себе части, связанной с саморазрушением; мы можем сохранить их отказ от натурализации — но так как природа сама по себе больше не является естественной, этот отказ больше уже не уводит нас в сторону от полностью сконструированных наук, но, напротив, приближает к наукам в действии; мы можем сохранить их столь очевидную тягу к рефлексивности — но поскольку это свойство является общим для всех акторов, оно теряет свой пародийный характер, чтобы обрести позитивность; наконец, мы можем вместе с ними отбросить идею непрерывного и гомогенного времени, которое маршем движется вперед, — но отказаться от их любви к цитированию и анахронизмам, поддерживающим веру в действительное превзойденное прошлое. Отберите у постмодернистов идеи, которые они плодят в отношении Нового Времени, и их пороки сразу же окажутся добродетелями — **неновременными добродетелями**.

Схема 14

От постново-временных	От нововременных	От нововременных
	От доновременных	От доновременных
	От постново-временных	От постново-временных
	<p>То, что мы оставим</p> <p>длинные сети размер экспериментирование относительные всеобщности разделение между объективной природой и свободным обществом</p>	<p>То, что мы отказываемся взять</p> <p>разделение между природой и обществом подпольный характер практик медиации внешний Великий Разлом критическое разоблачение всеобщность рациональности</p>
	<p>неразделяемость вещей и знаков трансцендентность без ее противоположности умножение нечеловеков темпоральность через интенсивность</p>	<p>обязанность всегда связывать социальный и естественный порядок механизм виктимизации этноцентризм территория ограничения масштаба</p>
	<p>множественное время деконструкция рефлексивность денатурализация</p>	<p>вера в идеологию Нового Времени бессилие критическая деконструкция ироническая рефлексивность анахронизм</p>

К сожалению, у **антинововременных** я не вижу ничего такого, что стоило бы спасать. Вечно обороняющиеся, они постоянно верили тому, что нововременные говорили о самих себе, чтобы страстно менять знаки на противоположные. Являясь антиреволюционерами, они создавали столь же нелепые идеи о прошлом и традиции, что и нововременные. Ценности, которые они защищают, достались им от их же собственных врагов, но **антинововременные** так никогда и не понимали, что на практике величие нововременных происходило из гораздо более радикального переворачивания ценностей. Даже в своих арьергардных битвах они не сумели совершить никаких инноваций, заняв то второстепенное место, которое им было уготовано. В их пользу даже невозможно сказать то, что они обуздали неистовство нововременных, для которых они, по существу, всегда были наилучшими исполнителями вторых ролей.

Итог нашего экзамена оказался не так уж плох. Мы можем сохранить Просвещение без Нового Времени при условии, что реинтегрируем в Конституцию объекты науки и техники в качестве квазиобъектов, существующих среди множества других объектов, генезис которых не должен больше быть тайным, но должен прослеживаться полностью, начиная с тех горячих событий, которые их порождают, и вплоть до того усиливающегося охлаждения, которое превращает их в сущности природы или общества.

Можно ли создать такую Конституцию, которая позволила бы официально признать эту работу? Мы должны это сделать, поскольку модернизация, осуществляющаяся на старый лад, не сможет больше вместить в себя ни другие народы, ни природу, — таким, по крайней мере, является убеждение, из которого я исходил в этом эссе. Во имя своего же собственного блага нововременной мир не может больше расширяться, не становясь опять тем, чем на самом деле никогда не переставал быть, — **ненововременным** миром, подобным всем остальным мирам. Это братство принципиально для абсорбирования двух совокупностей, которые оставила после себя революционная модернизация: масс природных объектов, хозяевами которых мы больше не являемся, и человеческих множеств, над которыми больше никто не властвует. Нововременная темпоральность создавала впечатление непрерывного ускорения, отбрасывая в небытие прошлого постоянно возрастающие человеческие массы и смешанных с ними нечеловеков. Теперь необратимость перешла в другой лагерь. Если и существует какая-то вещь, от которой мы больше уже не можем

освободиться, так это природы и человеческие массы: и те и другие в равной мере глобальны. Политическая задача вновь обретает актуальность. Потребовалось полностью изменить структуру наших коллективов, чтобы вместить гражданина XVIII века и рабочего XIX века. Нам потребуется точно так же полностью изменить самих себя, чтобы сегодня создать место для порожденных наукой и техникой нечеловеков.

ГУМАНИЗМ, СОЗДАННЫЙ ЗАНОВО

Прежде чем у нас появится возможность улучшить Конституцию, мы должны сначала изменить место-положение человека, которому гуманизм так и не воздал должного в той мере, в какой он этого заслуживал. Субъект права, гражданин-актор Левиафана, волнующий образ человеческой личности, некто, с кем устанавливаются отношения, сознание, *cog/ito*, человек **слова**, который ищет свои слова, **герменевт**, глубокое внутреннее «я», «ты» и «тебя» коммуникации, присутствие в самости, интересубъективность — столько чудесных фигур, которые люди Нового Времени оказались в состоянии изобразить и спасти. Но все эти фигуры остаются асимметричными, ибо они соответствуют объекту наук, который, словно сирота, отдан в руки тех, кого эпистемологи, как и социологи, считают редукционистами, объективистами, рационалистами. Где Мунье машин, где **Левинасы** зверей и **Рикеры** фактов? Дело в том, что человек, как мы теперь это понимаем, не может быть осмыслен и спасен, если ему не возвращена другая половина **его** самого — то есть вещи. До тех пор пока гуманизм конструируется по контрасту с объектом, оставленным на откуп эпистемологии, мы не понимаем ни человека, ни нечеловека.

Где же нам расположить человека? Мы знаем уже давно, что историческую последовательность квазиобъектов и квазисубъектов невозможно определить через их сущность. История и антропология человека слишком различны, чтобы четко определить его раз и навсегда. Однако, по всей видимости, нам запрещено повторять ловкий ход **Сартра**, который определяет человека через свободное существование, вырывающееся из природы, лишенной каких бы то ни было значений, поскольку мы наделили все квазиобъекты действием, волей, значением и даже речью. Не существует уже больше ничего, что было бы **практико-инертным**, чтобы приладить к нему чистую свободу человеческого существования. Противопоставление человека ограниченному Богу (или, наобо-

рот, примирение с Ним) в равной мере оказывается невозможным, поскольку именно в силу общей противопоставленности природе нововременная Конституция определяет все эти три части. Надо ли тогда поместить человека в природу? Но, пытаясь добиться определенных результатов в определенных научных дисциплинах, которые позволили бы нам облечь этого одушевленного робота нейронами, импульсами, эгоистичными генами, элементарными потребностями и экономическими расчетами, мы так и останемся в мире монстров и масок. Науки умножают формы, не будучи при этом в состоянии ни переместить их, ни редуцировать, ни унифицировать. Они осуществляют прибавление к реальности, а не вычитание из нее. Гибриды, которых они изобретают в лаборатории, еще более экзотичны, чем те, которых они, с их точки зрения, редуцируют. Надо ли торжественно возвестить смерть человека и растворить его в языковых играх, как исчезающее отражение нечеловеческих структур, которые ускользают от любого понимания? Нет, поскольку мы находимся в дискурсе не больше, чем находимся в природе. Во всяком случае, ничто не является достаточно нечеловеческим, чтобы растворить там человека и возвестить его смерть. Его воля, действия, речь присутствуют в исключительном изобилии. Надо ли пытаться избежать этого вопроса, делая человека чем-то трансцендентальным, что отдалило бы нас навсегда от простой природы? Это значило бы приземлиться только на какой-то один из полюсов нововременной Конституции. Надо ли насильно распространить какое-либо предварительное и частное определение, записанное в раздел о правах человека или содержащееся в преамбуле к нашей Конституции? Это значило бы заново прочертить два Великих Разлома и при этом продолжать верить в модернизацию.

Если человек не обладает устойчивой формой, то он тем не менее не является чем-то бесформенным. Если, вместо того чтобы связывать его с каким-либо одним из полюсов Конституции, мы передвинем его ближе к середине, то он станет медиатором и даже самой точкой смешивания. Человек не является одним из полюсов Конституции, противопоставленным нечеловекам. Два выражения — «люди» и «нечеловеки» — это лишь запоздалые следствия, уже недостаточные для обозначения другого измерения. Шкала ценностей определяется не смещением определения человека по горизонтальной линии, которая соединяет полюс объекта с полюсом субъекта, но смещением его вдоль вертикального измерения, определяющего неновременной мир. Откройте работу медиации,

и она примет человеческий облик. Скройте ее, и надо будет говорить о нечеловечестве, даже если речь идет о сознании или морально ответственном индивиде. Выражение «антропоморфический» в значительной степени недооценивает нашу человеческую сторону. Нам следовало бы говорить о морфизме. В этом понятии скрещиваются **техноморфизмы, зооморфизмы, физиоморфизмы, идеоморфизмы, теоморфизмы, социоморфизмы, психоморфизмы**. Взятые вместе, союзы морфизмов и их взаимообмены определяют *anthropos'a*. Перекресток или смеситель морфизмов — вот что является достаточно точным его определением. Чем больше *anthropos* приближается к такому переопределению, тем больше он становится человеческим. Чем больше *anthropos* от него удаляется, тем больше он принимает те множественные формы, в которых его человечность очень быстро оказывается неразличимой, даже если эти образы есть образы личности, индивида или самости. Стремясь отделить его форму от тех, кого он смешивает, мы не сохраняем человека, а теряем его.

Как могли бы машины угрожать *anthropos'y*? Он создал их, он вложил в них самого себя, он наделил их составные части подобием со своими собственными членами, свое собственное тело он конструирует вместе с ними. Каким образом могли бы ему угрожать объекты? Все они представляли собой квазисубъекты, циркулирующие внутри коллектива, который они тем самым очерчивали. Он точно так же сделан из них, как они сделаны из него. Именно умножая вещи, *anthropos* получил свое определение. Каким образом его могла бы обмануть политика? Она является его собственным созданием, рекомбинируя коллектив за счет постоянных споров о представительстве, позволяющих ему в каждый момент сказать о том, что он есть и чего он хочет. Каким образом его могла бы помрачить религия? Именно за счет религии он соединяется со всеми подобными себе, именно благодаря религии он опознает себя в качестве присутствующего в высказываниях. Каким образом им могла бы манипулировать экономика? Его временная форма неопределима без циркуляции товаров и обязательств, без непрерывного пересоздания социальных связей, которые мы сплетаем благодаря существованию вещей. И вот он — делегированный, опосредованный, пересозданный, передавший себя, высказавший себя, неустранимый — *се человек*. Откуда же исходит угроза? Частично от тех, кто хочет редуцировать его до какой-то одной сущности, и кто, презирая вещи, объекты, машины, социальное, отре-

зая все делегирование и всех посланников, конструируя его через заполнение гладких и полных поверхностей, смешивая все возможные направления, — делает из гуманизма хрупкую и драгоценную вещь, которую готовы раздавить природа, общество или Бог.

Нововременные гуманисты являются редуccionистами, поскольку они пытаются приписать действие только определенному количеству властных инстанций, закрепляя за всем остальным миром лишь функции простых посредников или простых бессловесных сил. Перераспределяя это действие между всеми медиаторами, мы — и это действительно так — теряем редуцированную форму человека, но получаем вместо нее другую, которую следовало бы назвать нередуцируемой. Человек находится в самом делегировании, в переходе, в передаче, в непрерывном обмене форм. Конечно, он не является вещью, но вещи также не являются вещами. Конечно, он не является товаром, но товар это также не товар. Конечно, он не является машиной, но тот, кто видел машины, знает, насколько немашиноально они действуют. Конечно, он не от мира сего, но и этот мир тоже не от мира сего. Конечно он не в Боге, но какое отношение существует между горним Богом и тем, который, как следовало бы сказать, находится внизу? Гуманизм может сохраниться только в том случае, если будет разделен между всеми своими посланниками. Человеческая природа — это совокупность ее делегатов и представителей, фигур и посланников. Это симметричная всеобщность, которая ценна не меньше, чем дважды асимметричная всеобщность нововременных. Эта новая позиция, смещенная относительно позиции субъекта/общества, теперь должна быть гарантирована улучшенной Конституцией.

НЕНОВОВРЕМЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ

На протяжении всей этой книги я просто восстанавливал симметрию между двумя ветвями правления — правлением вещей, которое я назвал «наукой» и «техникой», и правлением людей. Я показал также, почему разделение властей между двумя ветвями не могло больше, после того как оно допустило распространение гибридов, достойным образом представлять это новое третье сословие. Суждение о Конституции может быть вынесено на основании тех гарантий, которые она предоставляет. Как мы помним, Конституция Нового Времени включала четыре гарантии, обретающие смысл только в том случае, если мы берем их все вместе, но при условии, что они будут

оставаться строго отделенными друг от друга. Первая гарантия обеспечивала природе ее трансцендентальное измерение, делая ее отличной от структуры общества, — в противоположность той непрерывной связи между естественным порядком и социальным строем, которая существовала у доновременных. Вторая обеспечивала обществу его имманентное измерение, делая его граждан абсолютно свободными в том, что касается его искусственной реконструкции, — в противоположность непрерывной связи, существующей между социальным строем и естественным порядком, которая не давала доновременным возможности изменить одно, не изменяя при этом другого. Но поскольку это двойное разделение на практике позволяло как мобилизовать и сконструировать природу, — ставшую имманентной посредством мобилизации и конструирования, — так и, наоборот, сделать устойчивым и стабильным общество, которое стало трансцендентным благодаря вовлечению все более многочисленных нечеловеков, — третья гарантия делала возможной разведение этих двух ветвей правления: даже будучи мобилизуемой и сконструированной, природа будет оставаться лишенной связи с обществом, которое, в свою очередь, будучи трансцендентным и поддерживаемым вещами, уже не будет иметь никакой связи с природой. Иначе говоря, квазиобъекты окажутся официально исключены — можем ли мы сказать, что на их существование будет наложен запрет? — а сети перевода уйдут в подполье, создавая для работы очищения противовес, который, однако, будет по-прежнему мыслиться и прослеживаться, — пока постмодернисты совершенно его не уничтожат. Четвертая гарантия — гарантия отграниченного Бога — позволила стабилизировать этот дуалистический и асимметричный механизм, сделав Бога арбитром, правда, отсутствующим и лишенным власти.

Для того чтобы создать набросок неноввременной Конституции, достаточно принять в расчет то, что нововременная Конституция оставила в стороне, и отсортировать гарантии, которые мы хотели бы сохранить. Мы взяли на себя обязательство дать представительство квазиобъектам. Таким образом, именно третью гарантию современной Конституции надо отменить, поскольку именно она препятствует осуществлению их непрерывного анализа. Природа и общество являются не двумя различными полюсами, а единым производством обществ-природ, коллективов. Таким образом, первой гарантией становится неразделимость квазиобъек-

тов, квазисубъектов. Любое понятие, любая институция, любая практика, которая мешает непрерывному разворачиванию коллективов и их экспериментированию с гибридами, будут признаны нами опасными, вредными и, если уж говорить начистоту, аморальными. Работа медиации становится центром двойной власти — природной и социальной. Сети выходят из подполья. Срединная Империя получает свое представительство. Третье сословие, которое было ничем, стало всем.

Однако, как я уже говорил, мы не желаем снова стать до-нововременными. Неразделимость природ и обществ имела тот недостаток, что было невозможным осуществлять экспериментирование в большом масштабе, поскольку любая трансформация природы во всех аспектах должна была согласовываться с социальными трансформациями, и наоборот. Итак, мы хотим сохранить главное изобретение Нового Времени: отделимость природы, которую никто не конституировал, — то есть трансцендентность, и свободу маневра для общества, которое является нашим собственным созданием, — то есть имманентность. Тем не менее мы не хотим унаследовать подпольный характер существования обратного механизма, который позволяет конструировать природу — имманентность — и твердо стабилизировать общество — трансцендентность.

Итак, мы можем сохранить две первые гарантии прежней Конституции, не сохраняя столь заметную сегодня двойственность ее третьей гарантии. Трансцендентность природы, ее объективность, или имманентность общества, его субъективность, *в противоположность тому, что утверждает Конституция Нового Времени, происходят из работы медиации независимо от их разделения между природой и обществом*. Работа по производству природы или производству общества происходит из длительного и необратимого исполнения общей работы делегирования и перевода. В конечном счете действительно существует природа, которую мы не создавали, и общество, которое мы можем изменить; действительно существуют бесспорные научные факты и субъекты права, но они становятся двумя следствиями практики, теперь видимой в своей непрерывности, вместо того чтобы быть далекими и противостоящими друг другу причинами невидимой практики Нового Времени (медиации), которая их отрицает. Наша вторая гарантия позволяет, таким образом, заново использовать две первые гарантии нововременной Конституции, но уже не раз-

деляя их. Любые понятия, любые институции, любые практики, которые будут затруднять постепенную объективизацию природы — превращение ее в черный ящик — и вместе с тем субъективизацию общества — свободу маневра, — мы признаем вредными, опасными и, попросту говоря, аморальными. Без этой второй гарантии сети, высвобожденные первой гарантией, сохранили бы свой дикий и подпольный характер. Люди Нового Времени не ошибались, стремясь к объективным нечеловекам и свободным обществам. Единственно, в чем они были неправы, так это в своей уверенности, что такое двойное производство требовало абсолютного различия между двумя результатами и постоянного сокрытия работы медиации, осуществляющейся между ними.

Историчность не находила себе места в нововременной Конституции, поскольку была вписана в порядок трех отдельных типов бытия, существование которых она признавала. История с ее случайностями существовала только у людей, а революция, как я **показал** это выше, оказывалась для нововременных единственным средством понять свое прошлое, абсолютно порывая с ним. **Но** время не является однородным и ровным потоком. Если оно зависит от сетей, то сети не зависят от него. Мы не должны больше допускать идею времени, которое проходит навсегда и которое перегруппировывало бы в устойчивую совокупность элементов то, что принадлежит всем временам и всем онтологиям. Если мы хотим заново обрести возможность выбирать — ведь это кажется существенным для нашей морали и определяет человека, — необходимо, чтобы никакой связный поток времени не ограничивал нашу свободу выбора. **Третья** гарантия, такая же важная, как и две предыдущие, состоит в возможности **свободного** комбинирования сетей, притом, что у нас никогда нет выбора между архаизацией и модернизацией, локальным и глобальным, культурным и всеобщим, природным и социальным. Свобода, располагавшаяся прежде на одном только социальном полюсе, сместилась с него для того, чтобы занять середину и пространство внизу, чтобы превратиться в возможность производить сортировку и повторное комбинирование социотехнических запутанностей. Всякий новый призыв к революции, всякий эпистемологический разрыв, всякий коперниковский переворот, всякое утверждение, что некоторые практики навсегда вышли из употребления, будут признаны опасными или, что еще хуже в глазах нововременных, устаревшими!

Схема 15

Нововременная Конституция

1-я гарантия: природа трансцендентна, но может быть мобилизована (имманентна).

2-я гарантия: общество имманентно, но бесконечно нас превосходит (трансцендентно).

3-я гарантия: природа и общество полностью различны и работа очищения не связана с работой медиации.

4-я гарантия: отграниченный Бог полностью отсутствует, но выполняет арбитражную функцию между двумя ветвями правления.

Неноввременная Конституция

1-я гарантия: неразделимость совместного производства обществ и природ.

2-я гарантия: постоянное следование за производством природы, являющейся объективной, и производством общества, которое свободно. В конечном счете действительно существует трансцендентность природы и имманентность общества, но и то и другое не отделены друг от друга.

3-я гарантия: свобода переопределяется как способность сортировки комбинаций гибридов, которая не зависит больше от однородного временного потока.

4-я гарантия: производство гибридов, становясь эксплицитным и коллективным, оказывается целью расширенной демократии, регулирующей или замедляющей его темп.

Но если я прав в своей интерпретации нововременной Конституции, если она действительно допускала развитие коллективов, официально запрещая то, что, на самом деле, позволяла, как бы мы могли продолжить развивать квазиобъекты теперь, когда сделали эту практику видимой и официальной? Предлагая эти гарантии, чтобы заместить предшествующие, не делаем ли мы невозможными и этот двойной язык, и рост коллективов? Именно это мы и хотим сделать. От нашей морали мы ждем именно этого замедления, этой умеренности, этого регулирования. Четвертая гарантия, возможно наиболее важная, состоит в том, чтобы заменить безумное умножение гибридов их урегулированным и согласованным производством. Возможно, теперь самое время вновь заговорить о демократии, но о демократии, распространенной на сами вещи. Мы не должны больше постоянно повторять архимедов **переворот**.

Надо ли добавить здесь, что в этой новой Конституции отграниченный Бог оказался освобожденным от недостойного положе-

ния, которое ему было отведено? Вопрос о Боге открывается заново, и **неноввременные** больше не должны пытаться генерализовать неправдоподобную метафизику Нового Времени, которая заставляла верить в саму веру.

ПАРЛАМЕНТ ВЕЩЕЙ

Мы хотим, чтобы тщательная сортировка квазиобъектов стала возможной уже не тайно и неофициально, а официально и публично. В этом желании вывести их на свет, облечь в слово и сделать публичными мы продолжаем отождествлять себя с интуитивным стремлением Просвещения. Но у этого стремления никогда не было антропологии, которая соответствовала бы его притязаниям. Оно разделило человека и нечеловеков и исходило из того, что другие не делали ничего подобного. Это разделение, возможно, необходимое для того, чтобы увеличить масштаб мобилизации, уже стало излишним, аморальным и, давайте скажем это теперь, антиконституционным. Мы были нововременными. Очень хорошо. Мы больше не можем быть нововременными так, как это было раньше. Совершенствуя Конституцию, мы продолжаем верить в науки, но вместо того, чтобы принимать их в их объективности, истине, холодности, их экстратерриториальности — качества, которыми они всегда обладали лишь в неправомерных абстракциях эпистемологии, — мы принимаем их в том, что всегда было в них наиболее интересного: в их отваге, их экспериментаторстве, их сомнениях, их теплоте, их нелепых смесях гибридов, их безумной способности пересоздавать социальные связи. Мы отнимаем у них только тайну их рождения и опасность, которую представляло собой для демократии их подполье.

Да, мы — действительно наследники Просвещения, чей асимметричный рационализм недостаточно просторен для нас. Последователи Бойля определили парламент бессловесных, **лабораторию**, где ученые, простые посредники, сами говорили от имени вещей. Что говорили эти представители? Ничего, кроме того, что сказали бы о себе сами **вещи**, если бы только могли говорить. Последователи Гоббса за пределами лаборатории дали определение тому государству, где простые граждане, не обладающие возможностью говорить все разом, позволяли представлять себя одному из них — суверену, простому посреднику и официальному представителю их намерений. Что же говорил этот представитель? Ничего, кроме того, что сказали бы сами граждане, если бы могли говорить

все одновременно. Но относительно качества этого двойного перевода тотчас же закрадывалось сомнение. А что если ученые говорят о самих себе, вместо того чтобы говорить о вещах? А что если суверен преследует свои собственные интересы, вместо того чтобы следовать сценарию, написанному для него его доверителями? В первом случае мы потеряли бы природу и погрузились бы в споры, которые люди ведут между собой, во втором — мы погрузились бы в природное состояние и в войну всех против всех. С введением тотального разграничения между механизмами научной и политической репрезентации становится возможным двойной перевод: передача и предательство. Мы так никогда и не узнаем, передают ли ученые или предают. Мы никогда не узнаем, предают или передают наши уполномоченные.

На протяжении всего периода Нового Времени критики всегда будут кормиться за счет этого двойного **сомнения** и невозможности когда-нибудь положить этому конец. Однако суть Нового Времени и состояла в выборе такого механизма, хотя оно постоянно испытывало недоверие к двум типам своих представителей, но не объединяло их в одну общую проблему. Эпистемологи задаются вопросом о научном реализме и о верности научных репрезентаций вещей; политологи ставят вопрос о системе представительства и об относительной верности избранников и официальных представителей. И тех и других объединяло то, что они ненавидели посредников и хотели, чтобы мир существовал непосредственно, мир, который бы избавился от своих медиаторов. Все думали, что такова была цена верности репрезентации, никогда при этом не отдавая себе отчета в том, что решение их проблемы находилось в ведении другой ветви правления.

По мере продвижения работы над этим эссе я отказался от такого разделения задач, поскольку оно больше не давало возможности возвести тот общий дом, который дал бы прибежище в своих стенах **обществам—природам**, доставшимся нам в наследство от Нового Времени. Не существует двух различных проблем, связанных с репрезентацией, существует только одна проблема. Не существует двух ветвей правления, существует только одна ветвь, результаты деятельности которой разделяются только впоследствии и после общего **рассмотрения**. Похоже, что ученые предают внешнюю реальность только потому, что они одновременно конституируют и свои собственные общества, и свои природы. Похоже, что суверен предает своих доверителей только потому, что смешивает

граждан и огромную массу нечеловеков, которые позволяют поддерживать Левиафана в форме. Недоверие к научной репрезентации происходило только из убеждения в том, что, не будь социального загрязнения, природа незамедлительно стала бы доступна. Недоверие к политической репрезентации происходило из убеждения, что, не будь порчи, идущей от вещей, социальная связь стала бы прозрачной. «Устраните социальное — и у вас будет, наконец-то, верная репрезентация», — говорили одни. «Устраните объекты — и вы наконец-то получите верную репрезентацию», — утверждали другие. Все их споры проистекали из разделения, определенного нововременной Конституцией.

Давайте заново обратимся к этим двум представлениям и двойному сомнению в верности наших представителей, и вот — Парламент вещей определен. Непрерывность коллектива оказывается пересозданной в рамках этого Парламента. Не существует больше голых истин, но также не существует больше голых граждан. Все пространство заняли медиаторы. У Просвещения наконец появилось свое пристанище. Природы присутствуют, но со своими представителями — учеными, которые говорят от их имени. Общества присутствуют, но с объектами, которые с незапамятных времен служат им балластом. Пусть один из уполномоченных говорит об озоновой дыре, другой — представляет химическую промышленность региона Рона-Альпы, третий — рабочих, занятых в той же самой химической промышленности, четвертый — избирателей Лионского округа, пятый — метеорологию полярных регионов, пусть еще один говорит от имени государства — какая нам разница, если только все они говорят об одном и том же, об этом квазиобъекте, который все они создают, об этом **объекте—дискурсе—природе—обществе**, новые свойства которого нас всех удивляют и сеть которого тянется от моего холодильника до Антарктики, через химию, право, государство, экономику и спутники. Запутанности и сети, у которых не было места, теперь заняли всё место. Именно они должны быть представлены, именно вокруг них собирается отныне Парламент вещей. «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла».¹

Мы не должны создавать этот Парламент, пересоздавая все вокруг, призывая еще к одной революции. Мы должны просто ут-

¹ Евангелие от Марка, XII, 10. — *Примеч. науч. ред.*

вердить то, что делали всегда, при условии, что пересмотрим наше прошлое, что ретроспективно поймем, до какой степени никогда не были нововременными, и что мы, признавая это, воссоединим две половины символа, расколотого Гоббсом и Бойлем. Половина нашей политики создается в науке и технике. Половина нашей природы создается в обществе. Скрепим то и другое — и политика может начаться снова. Не будет ли этого слишком мало — публично утвердить то, что уже и так делается? Как мы поняли по ходу этого эссе, официальная репрезентация эффективна, именно она в прежней Конституции позволила исследовать гибриды. Если бы мы смогли создать новую Конституцию, мы существенным образом изменили бы направление движения квазиобъектов. Не покажется ли, что мы слишком много ожидаем от этого изменения в репрезентации, которое, как можно подумать, зависит только от клочка бумаги, каким является Конституция? Возможно, но я сделал мою работу философа и составителя, собрав воедино разрозненные темы сравнительной антропологии. Создать этот Парламент смогут другие.

У нас почти нет выбора. Если мы не изменим наш общий дом, нам не удастся вместить в него другие культуры, над которыми мы больше не можем господствовать, и мы уже никогда не сможем принять в нем ту окружающую среду, которую больше не можем подчинить себе. Ни природа, ни Другие не станут нововременными. От нас зависит изменить нашу манеру меняться. Или напрасно пала берлинская стена в чудесном году двухсотлетия Французской революции, преподавая этот уникальный урок современному краху социализма и натурализма.

БИБЛИОГРАФИЯ

- ARENDE H. (1963), *Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil*, New York, The Viking Press.
- AUGÉ M. (1975), *Théorie des pouvoirs et idéologie*, Paris, Hermann.
- AUGÉ M. (1986), *Un ethnologue dans le métro*, Paris, Hachette.
- AUTHIER M. (1989), «Archimède, le canon du savant», in M. SERRES (sous la direction de), *Elements d'histoire des sciences*, Paris, Bordas, p. 101–128.
- BARTHÉS R. (1985), *L'Aventure sémiotique*, Paris, Le Seuil.
- BENSAUDE-VINCENT B. (1989), «Lavoisier: une révolution scientifique», in M. SERRES (sous la direction de), *Elements d'histoire des sciences*, op. cit., p. 363–386.
- BLOOR D. (1982), *Sociologie de la logique ou les limites de l'épistémologie*, Paris, Editions Pandore.
- BLOOR D. (1983), *Wittgenstein and the Social Theory of Knowledge*, Londres, Macmillan.
- BOLTANSKI L. (1990), *L'Amour et la Justice comme compétences*, Paris, A.-M. Métailié.
- BOLTANSKI L. et THÉVENOT L. (1991), *De la justification. Les économies de la grandeur*, Paris, Gallimard.
- BONTE P. et IZARD M. (sous la direction de) (1991), *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, Paris, PUR.
- BOWKER G. and LATOUR B. (1987), «A Booming Discipline Short of Discipline. Social Studies of Science in France», *Social Studies of Science*, vol. 17, p. 715–748.
- BRAUDEL F. (1979), *Civilisation matérielle, économie et capitalisme*, Paris, Armand Colin.
- BROWN R. (1976), «Référence. In Memorial Tribute to Eric Lenneberg», *Cognition*, vol. 4, p. 125–153.
- CALLON M. (1986), «Elements pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs en baie de Saint-Brieuc», *L'Année sociologique*, vol. 36, p. 169–208.
- CALLON M. (1991), «Réseaux technico-économiques et irréversibilités», in R. BOYER, B. CHAVANCE et O. GODARD (sous la direction de), *Les Figures de l'irréversibilité en économie*, Paris, Editions de l'EHESS, p. 195–230.
- CALLON M. (sous la direction de) (1989), *La Science et ses réseaux. Genèse et circulation des faits scientifiques*, *Anthropologie des sciences et des techniques*, Paris, La Découverte.
- CALLON M. and LATOUR B. (1981), «Unscrewing the Big Leviathans. How Do Actors Macrostructure Reality», in K. KNORR and CICOURELA. (eds), *Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro and Macro Sociologies*, Londres, Routledge, p. 277–303.
- CALLON M. et LATOUR B. (sous la direction de) (1991), *La science telle qu'elle se fait. Anthropologie de la sociologie des sciences de langue anglaise (nouvelle édition amplifiée et remaniée)*, Paris, La Découverte.

- CALLON M. and LATOUR B. (1992), «Do not Throw out the Baby with the Bath's School», in A. PICKERING (ed), *Science as Practice and Culture*, Chicago, Chicago University Press.
- CALLON M., LAW J. et RIP A. (eds) (1986), *Mapping the Dynamics of Science and Technology*, Londres, Macmillan.
- CANGUILHEM G. (1968), *Etudes d'histoire et de philosophie des sciences*, Paris, Vrin.
- CHANDLER A. D. (1989), *La Main visible des managers: une analyse historique*, Paris, Economica.
- CHANDLER A. D. (1990), *Scale and Scope. The Dynamics of industrial Capitalism*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- CHATEAURAYNAUD F. (1991), *La Faute professionnelle*, A.-M. Métailié, Paris.
- CLAVERIE E. (1990), «La Vierge, le désordre, la critique», *Terrain*, vol. 14, p. 60-75.
- COHEN I. B. (1985), *Revolution in Science*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- COLLINS H. (1985), *Changing Order. Replication and Induction*, Londres, Sage.
- COLLINS H. (1990), «Les sept sexes. Etude sociologique de la detection des ondes gravitationnelles», in M. CALLON et B. LATOUR (sous la direction de), *La science telle qu'elle se fait*, op. cit., p. 262-297.
- COLLINS H. et PINCH T. (1991), «En parapsychologie, rien ne se passe qui ne soit scientifique», in M. CALLON et B. LATOUR (sous la direction de), *La science telle qu'elle se fait*, op. cit., p. 297-343.
- COLLINS H. et YEARLEYS. (1992), «Epistemological Chicken», in A. PICKERING (sous la direction de), *Science as Practice and Culture*, op. cit.
- COPANS J. et JAMIN J. (1978), *Aux origines de l'anthropologie française*, Paris, Le Sycomore.
- DEBRAY R. (1991), *Cours de médiologie générale*, Paris, Gallimard.
- DELEUZE G. (1968), *Différence et répétition*, Paris, PUF.
- DELEUZE G. et GUATTARI F. (1972), *L'Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie*, Paris, Minuit.
- DESCOLA P. (1986), *La Nature domestique. Symbolisme et praxis dans l'écologie des Achuar*, Paris, Maison des sciences de l'homme.
- DESROSIÈRES. (1984), «Histoires de formes: statistiques et sciences sociales avant 1940», *Revue française de sociologie*, vol. 26, p. 277-310.
- DURKHEIM E. (1903), «De quelques formes primitives de classification», *Année sociologique*, vol. 6.
- ECO U. (1985), *Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs*, Paris, Grasset.
- EISENSTEIN E. (1991), *La Revolution de l'imprimé dans l'Europe des premiers temps modernes*, Paris, La Découverte.
- ELLUL J. (1977), *Le Système technicien*, Paris, Calmann-Lévy.
- FABIAN J. (1983), *Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object*, New York, Columbia University Press.
- FAVRET-SAADA J. (1977), *Un Mots, la Mort, le Sort*, Paris, Gallimard.
- FUNKENSTEIN A. (1986), *Theology and the Scientific Imagination from the Middle Ages*, Princeton, Princeton University Press.

- FURET F. (1978), *Penser la révolution française*, Paris, Gallimard.
- GARFINKEL H. (1967), *Studies in Ethnomethodology*, New Jersey, Prentice Hall.
- GEERTZ C. (1986), *Savoir local, savoir global*, Paris, PUF.
- GIRARD R. (1978), *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Grasset.
- GIRARD R. (1983), «LadansedeSalomé», in P. DUMOUCHEL et J.-P. DUPUY (sous la direction de), *L'Auto-organisation de la physique au politique*, Paris, Le Seuil, p. 336-352.
- GOODY J. (1979), *La Raison graphique*, Paris, Editions de Minuit.
- GREIMAS A. J. et COURTÈS J. (1979), *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette.
- GUILLE-ESCURET G. (1989), *Les Sociétés et leurs natures*, Paris, Armand Colin.
- HABERMAS J. (1987), *Theorie de l'agir communicationnel, 2: Pour une critique de la raison fonctionnaliste*, Paris, Fayard.
- HABERMAS J. (1988), *Le Discours philosophique de la modernité*, Paris, Gallimard.
- HACKING I. (1989), *Concevoir et expérimenter. Thèmes introductifs à la philosophie des sciences expérimentales*, Paris, Christian Bourgois.
- HEIDEGGER M. (1964), *Lettre sur l'humanisme*, Paris, Aubier.
- HENNION A. (1991), *La Médiation musicale, these de doctorat*, EHESS, Paris.
- HOBBS T. (1971), *Leviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile*, Paris, Sirey.
- HOBSBAWM E. (ed.) (1983), *The Invention of Tradition*, Cambridge, Cambridge University Press.
- HOLLIS M. and LUKES S. (eds) (1982), *Rationality and Relativism*, Oxford, Blackwell.
- HORTON R. (1990a), «La pensée traditionnelle africaine et la science occidentale», in *La Pensée métisse. Croyances africaines et rationalité occidentale en questions*, Genève et Paris, Cahiers de l'UED et PUF, p. 45-68.
- HORTON R. (1990b), «Tradition et modernité revisitées», in *La Pensée métisse. Croyances africaines et rationalité occidentale en questions*, op. cit., p. 69-126.
- HUGHES T. P. (1983a), «L'électrification de l'Amérique», *Culture technique*, vol. 13, p. 21-42.
- HUGHES T. P. (1983b), *Networks of Power. Electric Supply Systems In the US, England and Germany, 1880-1930*, Baltimore, The John Hopkins University Press.
- HUTCHEON L. (1989), *The Politics of Postmodernism*, Londres, Routledge.
- HUTCHINS E. (1983), «Understanding Micronesian Navigation», in GETNER and STEVENS (eds), *Mental Models*, p. 191-225.
- LAGRANGE P. (1990), «Enquête sur les soucoupes volantes», *Terrain*, vol. 14, p. 76-91.
- LATOUR B. (1977), «La répétition de Charles Péguy», in *Péguy écrivain. Colloque du centenaire (collectif)*, Paris, Klincksieck, p. 75-100.
- LATOUR B. (1984), *Les Microbes, guerre et paix, suivi de Irréductions*, Paris, A.-M. Métailié.
- LATOUR B. (1985), «Les "vues" de l'esprit. Une introduction à l'anthropologie des sciences et des techniques», *Culture technique*, vol. 14, p. 4-30.
- LATOUR B. (1988a), *La Vie de laboratoire*, Paris, La Découverte.
- LATOUR B. (1988b), «Comment redistribuer le Grand Partage», *La Revue du Mauss*, n° 1, p. 27-65.

- LATOUR B. (1988c), «A Relativist Account of Einstein's Relativity», *Social Studies of Science*, vol. 18, p. 3-44.
- LATOUR B. (1989a), *La Science en action*, Paris, La Découverte.
- LATOUR B. (1989b), «Pasteur et Pouchet: hétérogénéité de l'histoire des sciences», in M. SERRES (sous la direction de), *Éléments d'histoire des sciences*, op. cit., p. 423-445.
- LATOUR B. (1990a), «The Force and Reason of Experiment», in H. LE GRAND (ed.), *Experimental Inquiries, Historical, Philosophical and Social Studies of Experimentation in Science*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, p. 49-80.
- LATOUR B. (1990b), «Le Prince: machines et machinations», *Futur antérieur*, n° 3, p. 35-62.
- LATOUR B. (1990c), «Sommes-nous postmodernes? Non, amodernes. Étapes vers l'anthropologie des sciences», in *La Pensée métisse. Croyances africaines et rationalité occidentale en questions*, op. cit., p. 127-155.
- LATOUR B. (1991), «One More Turn after the Social Turn. Easing Science Studies into the Non-Modern World», in E. McMULLIN (ed.), *The Social Dimensions of Science*, Notre Dame, Notre Dame University Press.
- LATOUR B. et DE NOBLET J. (sous la direction de) (1985), «Les Vues» de l'esprit. Visualisation et connaissance scientifique, Paris, Culture technique, n° 14.
- LAW J. (1986a), «On the Methods of Long-Distance Control. Vessels Navigation and the Portuguese Route to India», in J. LAW (ed.), *Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge? Keele*, Sociological Review Monograph, p. 234-263.
- LAW J. (ed.) (1986b), *Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge? Keele*, Sociological Review Monograph.
- LAW J. et FYFE G. (eds) (1988), *Picturing Power. Visual Depictions and Social Relations*, Keele.
- LE WITTA B. (1988), *Ni vue ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise*, Paris, EHSS.
- LÉVI-STRAUSS C. (1952, rééd. 1987), *Race et histoire*, Paris, Denoel.
- LÉVI-STRAUSS C. (1962), *La Pensée sauvage*, Paris, Pion.
- LÉVY P. (1990), *Les Technologies de l'intelligence. L'avenir de la pensée à l'ère informatique*, Paris, La Découverte.
- LYNCH M. (1985), *Art and Artifact in Laboratory Science*, Londres, Routledge.
- LYNCH M. and WOOLGAR S. (eds) (1990), *Representation in Scientific Practice*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- LYOTARD J.-F. (1979), *La Condition postmoderne*, Paris, Minuit.
- LYOTARD J.-F. (1988), «Dialogue pour un temps de crise», (interview collective). *Le Monde*, vendredi 15 avril.
- MACKENZIE D. (1990), *Inventing Accuracy. A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance System*, Cambridge, Mass., MIT Press.
- MAYER A. (1983), *La Persistance de l'Ancien Régime. L'Europe de 1848 à la Grande Guerre*, Paris, Flammarion.
- MAYER A. (1990), *La «Solution finale» dans l'histoire*, Paris, La Découverte.
- NEEDHAM J. (1991), *Dialogues des civilisations. Chine-Occident*, Paris, La Découverte.
- PAVELT. (1986), *Univers de la fiction*, Paris, Le Seuil.

- PAVELT. (1988), *Le Mirage linguistique. Essai sur la modernisation intellectuelle*, Paris, Le Seuil.
- PÉGUY C. (1961), «Clio. Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne», in *Œuvres en prose*, Paris, La Pléiade, Gallimard.
- PICKERING A. (1980), «The Role Of Interests In High-Energy Physics. The Choice Between Charm And Colour», *Sociology of the Sciences, A Yearbook*, vol. 4, p. 107-138.
- PICKERING A. (ed.) (1992), *Science as Practice and Culture*, Chicago, Chicago University Press.
- PINCH T. (1986), *Confronting Nature. The Sociology of Neutrino Detection*, Dordrecht, Reidel.
- ROGOFF B. and LAVE J. (eds) (1984), *Everyday Cognition: Its Development in Social Context*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- SCHAFER S. (in print), «A Manufactory of OHMS: The Integrity of Victorian Values», *Science in Context*.
- SERRES M. (1974), *La Traduction* (Hermès III), Paris, Minuit.
- SERRES M. (1987), *Statues*, Paris, François Bourin.
- SERRES M. (sous la direction de) (1989a), *Éléments d'histoire des sciences*, Paris, Bordas.
- SERRES M. (1989b), «Gnomon: les débuts de la géométrie en Grèce», in M. SERRES (sous la direction de), *Éléments d'histoire des sciences*, op. cit., p. 63-100.
- SERRES M. (1992), *Éclaircissements*, Paris, F. Bourin.
- SHAPIN S. (1991a), «Une pompe de circonstance. La technologie littéraire de Boyle», in M. CALLON et B. LATOUR (sous la direction de), *La science telle qu'elle se fait*, Paris, La Découverte, p. 37-86.
- SHAPIN S. (1991b), «Le technicien invisible», *La Recherche*, vol. 230, p. 324-334.
- SHAPIN S. et SCHAFER S. (1985), *Leviathan and the Air-Pump*, Princeton, Princeton University Press.
- SMITH C. and WISE N. (1989), *Energy and Empire. A Biographical Study of Lord Kelvin*, Cambridge, Cambridge University Press.
- STENGERS I. (1983), *États et processus*, Université libre de Bruxelles, thèse de doctorat.
- STOCKING G. W. (ed.) (1986), *Objects and Others. Essays on Museums and Material Cultures*.
- STRUM S. and LATOUR B. (1987), «The Meanings of Social: from Baboons to Humans», *Information sur les sciences sociales*, vol. 26, p. 783-802.
- THÉVENOT L. (1989), «Équilibre et rationalité dans un univers complexe», *Revue économique*, vol. 2, p. 147-197.
- THEVENOT L. (1990), «L'action qui convient. Les formes de l'action», *Raison pratique*, vol. 1, p. 39-69.
- TRAWEK S. (1988), *Beam Times and Life Times. The World of High Energy Physicists*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- TUZIN D. F. (1980), *The Voice of the Tambaran. Truth and Illusion in the Iharita Arapesh Religion*, Berkeley, University of California Press.
- VATIMO G. (1987), *La Fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture postmoderne*, Paris, Le Seuil.

БИБЛИОГРАФИЯ

WARWICK A. (in print), «Cambridge Mathematics and Cavendish Physics: Cunningham Campbell and Einstein's Relativity 1905-1911», Science in Context.

WILSON B. R. (1970), Rationality, Oxford, **Blackwell**.

ZONABEND F. (1989), U Presqu'île au nucléaire, Paris, Odile Jacob.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора (<i>О. Хархордин</i>)	5
1. Кризис	59
2. Конституция	74
3. Революция	117
4. Релятивизм	164
5. Перераспределение	212
Библиография	231

Научное издание

Бруно Латур

Нового Времени не было

Эссе по симметричной антропологии

Серия Прагматический поворот, вып. 1

Переводчик *Д. Я. Калугин*

Научный редактор *О. В. Хархордин*

Редактор *Н. С. Мовнина*

Корректор *Е. И. Васьковская*

Дизайн *А. Ю. Ходот*

Верстка *М. Ю. Кондратьева*

Издательство

Европейского университета

в Санкт-Петербурге

191187, Санкт-Петербург

ул. Гагаринская, 3

www.eu.spb.ru/press

e-mail: books@eu.spb.ru

Лицензия ИД № 03435 от **05.12.2000**

Усл. печ. л. **15**. Уч.-изд. л. **14**

Тираж 2000 экз.

Отпечатано в типографии

000 «Борей-Принт»

194100, С.-Петербург, ул. Смольякова, 6